



Главный редактор –
Иван ГОЛУБНИЧИЙ

Шеф-редактор –
Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Зав. редакцией –
Галина МАМОНТОВА
galina-mamontova@mail.ru

Ответственный секретарь –
Николай ГОЛОВКИН
nikgolovkin@yandex.ru

Специальный редактор –
Георгий КАЮРОВ

Художник-верстальщик –
Рита ВОДЕНИНА

Редактор-корректор –
Николай АЛЕКСЕЕВ

Адрес:

141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Крупской,
д. 12-а, оф. 3

Телефон:

8 (916) 717-38-09

Рукописи и отзывы
принимаются по e-mail:
nikgolovkin@yandex.ru

Электронная версия:
www.velykoross.ru

В номере:

Слово главного редактора3

 **ПРОЗА**

Юрий ЛОЩИЦ
Торжество и смерть в Риме. Глава
из книги о Кирилле и Мефодии4

Светлана ЗАМЛЕЛОВА
Берендеево царство73

Владимир ГЛАЗКОВ
Исток.....109

Гурген БАРЕНЦ
Русское ружьё. Отрывок из киноповести..120

Наталья ГРУНИНА
Песня реки. Отрывок из повести.....139

Юлия АЛЕКСАНДРОВА
Дневник. Рассказ156

 **ПОЭЗИЯ**

Валентин СОРОКИН
Мне в России жить...16

Магомед АХМЕДОВ
Мне снится Родина...64

Юрий БОГДАНОВ
Плелись венки для многих в бранном
поле...79

Юрий КОЛОДНИЙ
И живу я, пока ты, Россия, со мной...100

Мара ЛЕВИНА
...В жизни увидеть толк.....107

Вера СОКОЛОВА
Закончится даже дорога. Дорога домой....117

Николай ТИМОХИН
Новый взгляд на сонеты Шекспира123

Сергей ЛЕБЕДЕВ
Неизвестный солдат. Триптих132

Пётр ГУЛДЕДАВА
Строку к строке, зерно к зерну.....136

Анатолий ПЯТОВ
Вечные огни.....143

Некоммерческое издание
Литературно-исторический
журнал **ВЕЛИКОРОССЪ**
№2(2) 2011
Выходит четыре раза в год

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
06.07.10.

Свидетельство о регистрации:
ПИ №ФС77-40753.

Учредитель:
Макеева С.Г.

Издатель:
ООО «Издательский дом
ВЕЛИКОРОССЪ»

Подписано в печать 25.11.11.

Формат 70x108/16.
Усл. печ. л. 16,8.
Тираж 1000 экз.
Заказ 1395L

Отпечатано
в цифровой типографии
«Буки Веди» на оборудовании
KonicaMinolta
ООО «Ваш полиграфический
партнер», 127238, г. Москва,
Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6.
Тел.: (495) 926-63-96,
www.bukivedi.com,
info@bukivedi.com

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением автора. Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты. Редакция в переписку не вступает. Рукописи не рецензируются. Принятые рукописи могут быть отредактированы. Любое воспроизведение материалов или их фрагментов на любом языке возможно только с письменного разрешения правообладателя.

© Литературно-исторический журнал «Великороссъ», 2011
© Авторы, 2011

<i>Александр ГАНИН</i> За Россию, за Русь, за русскую волю... ..151
<i>Александра БИРЮКОВА</i> Вновь по России пойдём босиком... ..153
<i>Геннадий ЖАРОВ</i> Святой князь. Отрывок из исторической поэмы..... 159
<i>Владимир ПУСТОВИТОВСКИЙ</i> Я у судьбы прошу немного163
<i>Лариса НАЗАРЕНКО</i> У неба одолжить ещё немного света.....165
<i>Крикор МАЗЛУМЯН</i> Говорите на русском - он понятен и прост..... 189



ПАМЯТЬ

<i>Николай БУРЛЯЕВ</i> «Я помолюсь за Вас, чтоб Вас Всевышний спас». Отрывок из книги41
<i>Татьяна ВАВИЛОВА</i> Пианино.....147



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

<i>Юрий МИНЕРАЛОВ</i> Бородино – 194190
<i>Владимир СКРЫНЧЕНКО</i> Ценность жизни между прошлым и будущим104
<i>Кира ГАВРИЛОВА</i> Рассказы о художниках.....134
<i>Николай ГОЛОВКИН</i> Русский Гомер167



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<i>Надежда СТУПИНА</i> Россия в «певучем наречии» Виктора Бокова и Николая Тряпкина.....125



Слово главного редактора



Уважаемый читатель, дорогой соотечественник!

Одним из главных, судьбоносных признаков современной эпохи является нестроение во всех сферах человеческой жизни – в культуре, религии, политике, идеологии, семье, морали, нравственности и т.д. Сегодня уже очевидно, что это явление затронуло не одну только современную Россию: весь мир словно бьётся в конвульсиях, подобно организму, охваченному неведомой болезнью, которая изо дня в день прогрессирует. В сфере международных отношений окончательно утвердилось «кулачное право». Культ «золотого тельца» стал универсальной идеологией «новейшего времени», и всякий, кто смеет оспорить его власть, автоматически оказывается за пределами официального «мэйнстрима». Самые естественные понятия – бескорыстное служение своему народу, любовь к Отечеству, социальная справедливость – оказались осмеянными и подвергнутыми глумлению. В этих условиях каждый человек ежедневно вынужден делать выбор между добром и злом...

В сфере нашей общественно-политической мысли уже давно стало модным проводить параллели со «Смутным временем». Насколько правомерно это сопоставление? И не является ли путь выхода из очередной смуты отработанным историческим опытом, ясным и неоспоримым? Жизнь покажет. А пока необходимо оставаться собой, сохранять веру в светлое духовное начало человеческой души и укрепляться перед грядущими испытаниями. Происходящая на мировой арене война «всех против всех» убедительно свидетельствует о том, что эта война беспощадна. Роль нашего Отечества в этой войне пока ещё не определилась окончательно...

Журнал «Великороссъ» продолжает линию, направленную на решение тех задач, которые ставит перед нами время. Укрепление духовного единства многонациональной России и славянских народов. Преодоление преступного раскола триединого русского суперэтноса. Противостояние экспансии космополитизма. Оздоровление морально-нравственной атмосферы в российском обществе. Восстановление и укрепление добрососедских отношений с народами, традиционно дружественными нашему государству.

Журнал «Великороссъ» поздравляет всех россиян с грядущим 2012 годом!

Иван ГОЛУБНИЧИЙ

Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Заслуженный работник культуры Чеченской Республики
Действительный член Петровской Академии наук и искусств



Торжество и смерть в Риме

Глава из книги о Кирилле и Мефодии

В Риме, в папской курии, похоже, были уже достаточно осведомлены о громкой полемике, затеянной в Венеции Константином. Его противники, которых он только что во всеуслышание обличал в ереси и обзывал «триязычниками», как раз и могли первыми проявить рвение, отослав в канцелярию Ватикана свою жалобу на строптивца да, заодно, и на всю моравскую публику, его окружающую. Пришлецы эти, слышно, нацелились пойти и до святого града. А не отправить ли их, вместе с несуразными славянскими буквицами, туда, откуда и заявились, – в паннонские болота?

Братья со своей малой дружиной терпеливо ждали в Венеции приход хмурых и сырых осенних недель. Свет идёт на убыль, дни всё короче, ночи длинней. Но должно же, наконец, поступить из Рима подтверждение гостевой грамоты, полученной от папы Николая! Вызывает он их или передумал? Если вызывает, то в какие всё же сроки?

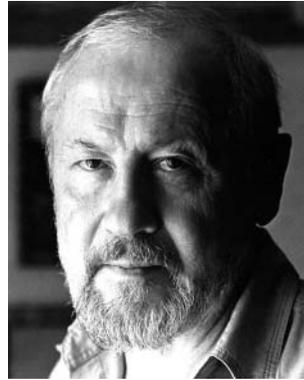
Зима почти подступила, когда узнали: встречи с папой Римским Николаем у них не будет. Да что там! Никогда уже не будет. Просто потому что 13 ноября апостолик скончался.

Это звучало для них почти как приговор. И во все месяцы ожидания они не очень-то надеялись на благоприятное жёсткого, волевого Николая, чья анафема патриарху Фотию побудила константинопольского первоиерарха, как недавно стало известно в Венеции, на ответную анафему. С нею, ответной, получается, папа и ушёл в могилу?

Вот какие свирепые задули ветра между двумя столицами! И наступит ли затишье?

Кто сменит на престоле усопшего? Как долго продлится междувластие? Будет ли преемник так же неуступчив в своём отношении к Константинополю? Захочет ли принять миссию из Моравии в удобообозримые сроки? Или отложит встречу на неопределённое время, сославшись на чрезвычайную теперь занятость?

Решили, что лучше всё-таки ждать здесь, в малоприветливой Венеции, зато при коротком переходе к Риму. Потому что возвратиться теперь в Велеград либо в Блатноград означало бы признать своё полное поражение, – перед Ростиславом и Святополком, перед тем же Коцелом.



Юрий Михайлович Лоциц – родился 21 декабря 1938 года в селе Вале-гоцулове (ныне Долинское) Одесской области в семье известного советского военного журналиста, генерал-майора М.Ф. Лоцица. В 1962 году окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Один из видных современных историков и биографов. Автор публицистических книг «Земля-имениница» (1979), «Слушание земли» (1988), сборников стихов «Столица полей» (1990), «Больше, чем всё» (2002), «Величие забытых» (2007). Исследователь славянской культуры и переводчик с сербского. Секретарь правления Союза писателей России. Имеет государственные и общественные награды. Лауреат многих литературных премий.

Живёт в Москве.



И уж совсем непредвиденным по своим последствиям могло представляться возвращение братьев в Константинополь. Разве император Василий отправлял их в Моравию, – а не убиенный этим Василием Михаил? Разве патриарх Игнатий благословил их на труд просвещения славян, – а не Фотий, которого новый василевс, как сообщают, совсем недавно отправил в ссылку – за отказ признать его царское достоинство? И на место Фотия вновь поставлен Игнатий.

Можно догадываться, что братья, как в обычае у них, не сидели и в Венеции сложа руки, в безвольном оцепенении. Им надлежало незамедлительно отправить в папскую курию соболезнование по случаю кончины Николая. Да присовокупить, что с благодарностью вспоминают они заботу почившего о задуманной достойной встрече святых мощей первого папы Римского. Что надеются также на милосердное внимание будущего высшего избранника западной церкви к просветительским трудам их миссии у славян.

Трудов же этих они и теперь не прерывали ни на день. Да поспособит им и святой Климент исполнить всё задуманное до конца.

Каждые сутки творили службы, – в своём жилище или в каком-то из греческих храмов города, – утешая слух звучанием славянской речи. И ловя себя исподволь на том, что звучит она от месяца к месяцу, от недели к неделе всё уверенней, возвышенней, мелодичней и, при этом, достоверней, будто славили на ней Господа от самого Христова века.

Минувал месяц после кончины Николая. А ещё через несколько дней из папской канцелярии пришла весть, что его преемником 15 декабря 867 года избран семидесятипятилетний Адриан II.

Со стремительностью, необычной для его возраста, новый апостолик почти тут же подтвердил Мефодию и Константину вызов своего предшественника. Да, в Риме их ждут.

Был самый канун Рождества Христова, праздника, который христиане Рима привыкли встречать с особой торжественностью. Часть этого великолепия вдруг досталась и нашим пришельцам.

Старенькому папе Адриану не вдвойне ли приятно и трогательно, что его восхождение на апостольский престол знаменуется не только урочным ликованием Рождества, но и неурочным шествием гостей, которые спешат доставить святому городу его величайшую святыню! Как-никак, они тоже грядут с Востока. То есть уподобляются теперь евангельским магам, несущим в ночи, на свет звезды Вифлеемской, свои особые дары.

Потому её, чаемую святыню, и приветствовать вышли заблаговременно, встречаемым ходом, ночью, со свечами и факелами, с благовонными кадильницами, с пением и трезвонами, с плачем умиления и воплями калек. Тысячные толпы растроганных римлян, будто волны, качались в бликах, дымах и заревах. Женщины, да и мужчины тоже, простирали руки, силясь дотянуться, когда ярко освещённые носилки с заветным ковчегом проплывали, как во сне, мимо них. Гуцу народа пронзали слухи о последовавших в эти самые часы чудесных исцелениях, об открытых дверях темниц, откуда – не иначе как по заступничеству самого святого Климента – выходили в эту ночь на волю славящие небесного покровителя узники...

Пожоже, безмянный художник, изобразивший на одной из внутренних стен базилики святого Климента сцену встречи мощей и препровождения их на вечное упокоение (именно в эту базилику), сам был очевидцем триумфального шествия. Очень уж правдоподобны в его исполнении эти огни и зарева под иссиня-чёрным пологом рождественского неба, эти парящие над головами кресты и хоругви; тут же и Адриан в праздничном пурпурном облачении, а по левую и правую сторону от него – два главных виновника события, Константин и Мефодий. Впрочем, почему два, если их трое? Разве он сам, новый апостолик, не сделал всё, от него зависящее, чтобы событие состоялось, несмотря на недавнюю громкую распрю, случившуюся в венецианском синоде?

То, что ему об этом происшествии уже известно, выяснилось вскоре же. К немалой радости прибывших, мудрый старец подтвердил правоту доводов Константина. И пожурил иных из аквилейских клириков за их досадное буквоедство.

Кажется, и сами клички «пилатники», они же «триязычники», показались ему настолько удачными и уместными, что он их произносил даже с удовольствием, как изделия собственного остроумия. Право же, как могут не знать эти тугоухие «триязычники», что уже многие народы христианской ойкумены славят Господа на своих природных речениях, составляют книги на языках своей паствы.

После такого благоприятного для братьев зачина вдруг, как нечто само собой разумеющееся, счастливо разрешился и вопрос, который больше всего их беспокоил: пожелает ли римский первоиерарх благословить дорогое для них детище – службу на славянских книгах для славян?

Разумеется, он готов благословить. Конечно же, он благословит. Но он, дело понятное, и сам первым хочет увидеть эти книги, освятить их, услышать, как по ним читают и поют. А если гости, оказывается, уже в состоянии и весь мессал – то есть всю литургию – спеть на славянском, то не найти в целом Риме лучшего места для такой службы, чем базилика святой Марии. Да, Санта Мария Маджоре! Ведь этот храм римляне почитают совершенно особо, называя его греческим словом Фатие, что, как им ведомо, значит ясли, потому что в Санта Мария Маджоре хранится такая трогательная, достойная умиления святыня – доподлинные ясли Богомладенца Христа, чудесным образом доставленные некогда из маленького Вифлеема. И не символично ли, что при нынешнем Рождестве Христове гости принесут свой славянский литургический дар прямо сюда – к маленьким яслицам Господним, уподобившись евангельским волхвам-звездочётам.

Ecce magi ab oriente venerunt Hierosolimam...

Не так ли и по-гречески?

Ἰδοὺ μάγοι ἀπο ανατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱερουσόλυμα...

А по-славянски как звучит?

Се волсви от восток приидоша во Иерусалим...

Ну что же, благолепно звучит и у славян!

«Приим же папезь книги словенския, положи я в цркви святыа Мариа – читаем в *Житии Кирилла*, – пеша же с ними литургию». (Тем самым агиограф подчёркивает: папа Адриан не только из рук в руки принял привезённые ему во свидетельство книги, не только возложил их для освящения на алтаре Богородичного храма, но и участвовал в той поистине судьбоносной для гостей службе).

В наши дни базилика Санта Мария Маджоре, о которой идёт речь в житии, по-прежнему остаётся одним из самых почитаемых храмов Рима. Говорят, к базилике этой время оказалось милостиво, как мало к какому иному из зданий раннего средневековья. Её первоначальные величественные пропорции, настенные мозаики, приалтарное углубление, в котором почивает вифлеемская святыня, – всё и сегодня предстаёт почти в том облике, каким застали его солунские братья в рождественские дни 867 года. Но, конечно, почти никто уже теперь не вспомнит, что когда-то, – единожды за всю их более чем тысячелетнюю историю – эти своды, парящие над двумя шеренгами мраморных колонн, оглашены были звуками славянского богослужения.

Что ни день, Рим от щедрот своих одаривал братьев новыми высокими переживаниями.

Узнав, что моравская миссия нуждается для укрепления своей паствы в рукоположении новых священников и что в Рим вместе с братьями прибыли вполне достойные такой чести кандидаты, папа Адриан тут же отдаёт распоряжение посвятить избранных. Рукоположение поручено сразу двум епископам – Формозе и Гаудериху. Первый из них ценится в Ватикане как искушённый советник по славянским делам. При покойном папе Николае выполнял поручения, связанные с укреплением в

Болгарии римской церковной юрисдикции. Он, слышно, как и венецианские «пилатники», вовсе не поклонник славянских книг. Но куда ж ему, Формозе, теперь деться, служба есть служба.

Второй, Гаудерих, хорошо запомнился братьям в самую ночь их прибытия в Рим. Оказывается, он – епископ города Веллетри, где кафедральный собор посвящён как раз святому Клименту, потому что папа-мученик и родом был оттуда. Даже самого краткого общения с Гаудерихом оказалось им достаточно, чтобы почувствовать исключительность переживаний, обьявивших теперь душу этого владыки. Он очень надеется узнать от братьев-солунян как можно больше подробностей об обретении драгоценных мощей, отъятых ими в Херсонесе у мрачного Понта. И уповает на то, что хотя бы часть мощей будет милостиво вручена ему апостоликом для препровождения в велетрийский алтарь.

Об этом епископе здесь рассказывают, что сразу же после своего избрания Адриан II обратился с просьбой к королю Людовиду Немецкому, умоляя помиловать невинно томлящихся по затворам христиан, которые пострадали при недавнем несправедливом нападении на Рим, учинённом неким воеводой Ламбертом из подвластного королю Сплита. И самым первым среди невольников апостолик назвал достопочтенного Гаудериха. Король не промедлил с ответом. Как и принято по случаю великих перемен в духовной либо мирской власти, тут же последовала амнистия.

Вот, значит, почему, входя в ночной, озарённый свечами, факелами и кострами город, братья тотчас расслышали восклицания растроганных римлян о чудесном избавлении узников из тюрем. И вот почему так выразительно поглядывал в их сторону – в те минуты и во все эти дни, – сам не свой веллетрийский епископ.

В «*Житии Мефодия*» по поводу рукоположения первых моравских священников из среды славян читаем краткое, но важное уточнение: «... и святы от ученик словенск три попы и два аногности». У агиографа не было ещё под рукой подходящего славянского слова для обозначения греческого понятия *аногност*, то есть чтец.

Поставление сразу трёх священников, имеющих право самостоятельно служить литургию, и трёх чтецов, обученных выразительно, громко и нараспев читать Апостол, Псалтырь, часы и литии, придавало свежую силу, новую уверенность малой греко-славянской дружине. Это их настроение, готовность ещё и ещё потрудиться и постараться здесь, великолепно, будто по наитию, почувствовал их мудрый и ласковый покровитель. У Адриана в замысле, оказывается, была уже и следующая славянская литургия. И не где-нибудь на отшибе, а в самом сердце – во святой святых Ватикана.

Да-да, он благословляет отслужить её в кафедральном соборе святого апостола Петра! Необходимо лишь, чтобы она прозвучала здесь достойно, как просят сами эти алтари, стены, своды, иконы и фрески, раки и саркофаги, мощевики и реликварии – свидетели и соучастники великих и бесчётных славословий Господу и святым Его. Вот для чего и пригодятся им три новых священника и резво-голосистые чтецы.

В тот век заглавный храм Рима ещё не был таким пышно-помпезным архитектурным дивом, ежегодным вместилищем миллионов любопытствующих туристов и затёртых между ними истовых паломников, каким мир знает его сегодня. Тот собор, по свидетельствам старинных рисовальщиков и гравёров, выглядел всё же скромней. Тропы пилигримов к нему едва-едва в девятом веке намечались. Но Мефодию с Константином, а особенно их ученикам после маленьких храмов велеградских и блатноградских, и даже после здешней Богородичной базилики Фатие, эта – Петрова базилика – представилась поистине необозримой. Можно лишь догадываться, какой внутренний трепет испытали в ответственнойшие часы литургии два наставника и горстка их учеников под каменными кручами и сводами апостола Кифы. Это ведь его, Петра, однажды нарёк Христос «скалой» или «камнем», то есть Кифой.

Хотя обедня и здесь благословлена славянская, как и предыдущая, но, можно догадываться, не дословно, не сполна вышла она славянской. Такое предположение вытекает из текста «*Жития Мефодия*», где приведено письмо папы Адриана князьям Ростиславу, Святополку и Коцелу. В нём апостолик настоятельно просит, чтобы местные моравские клирики во время храмовых служб Апостол и Евангелие читали

сначала на латыни, а затем уже на славянском: «... पहले чтут Апостол и Евангелие римски, таче (потом) словенски...» Вряд ли в кафедральном соборе Рима в столь памятный для моравской миссии день порядок чтений был иным.

А назавтра – ещё им труд и, одновременно, поощрение: нужно обедню свою отпеть в храме святой Петрониллы.

А сутками позже – в церкви апостола Андрея! Но как же им и тут было не постараться! Как не прославить великого христианского первопроходца в земли скифов – славян Эвксинского понта! Ведь это по Андреевым стопам пробирались братья восемь лет назад от Малого Олимпа к таврам и херсонитам, в южные славянские приграничья.

Вот как раскатилась их жизнь в латинской столице! Что ни день, то новая литургия, в ином храме! Будто старец Адриан дотошно испытывает их на верность церковному послушанию, на знание ежедневного чина служб. Не пропускают ли песнопений, положенных по календарю разным святым? Блюдут ли уставные тонкости, благолепие, мерность и величавость? Но разве Мефодий, воин и игумен, не знает цены строгому, неукоснительному монашескому послушанию? И разве Константин не способен за считанные часы до новой службы перевести с греческого песнопение празднуемому сегодня святому?

Пятую по счёту славянскую литургию папа Адриан благоволил братьям отслужить – ещё одна неожиданная награда! – в загородном храме апостола Павла. Но и какое волнение сердечное! В этих стенах, над алой лампадой, знаменующей место казни великого «учителя языков», предстояло им доказать, насколько верно усвоили они его заветы. Здесь они огласят из Апостола его, Павлово, послание. Здесь уместно будет напомнить в проповеди, что, по старому византийскому преданию, Павел ходил со словом о Христе и к иллирам, значит, в Иллирию, где соседствовали тогда, живут и ныне славянские племена сербов и хорватов. Не только Андрей ходил к славянам, но и Павел.

Служба была ночная, братья «имели себе в помощь» епископа Арсения, одного их семи наиболее приближённых к папе иерархов, и его племянника Анастасия, библиотекаря Ватикана.

Упомянутый в «Житии Кирилла» Анастасий заслуживает здесь особого – и даже пристального – внимания. Его звание библиотекаря означало, ни много ни мало, что он руководит всей папской канцелярией и заведует архивом курии. Вряд ли такому всячески осведомлённому человеку не было ведомо, что и Константин в своё время при патриархе Игнатии исполнял, пусть и недолго, сходную должность. В отличие от большинства нынешних насельников Ватикана Анастасий отлично знал греческий язык, постоянно упражнялся в переводах с греческого на латынь житий святых и самых разных документов византийской церковной канцелярии. Подобное «родство душ» вроде бы располагало к взаимной открытости, к живому, увлечённому обмену мнениями по самым разным, подчас неожиданным вопросам.

Один из таких вопросов не заставил себя долго ждать. Однажды Анастасий вдруг открыл для себя, что, оказывается, Философ знаком с трудами самого святого Дионисия Ареопагита! Причём, знаком не понаслышке. Он не только наперечёт знает названия ареопагитских трактатов-посланий. Он их ревностно, ещё со студенческой скамьи, изучал, он ими восхищён, он их готов цитировать целыми страницами, чуть ли не главами. И он их считает подлинно принадлежащими сокровенному – до недавних пор – богослову апостольского века, прямому ученику и последователю божественно-го Павла.

Да, в «Деяниях апостолов», где Дионисий Ареопагит упомянут в эпизоде выступления Павла перед членами афинского ареопага, о нём сказано лишь самая малость. Да, этот молодой и богатый завсегда судейских собраний вдруг, под впечатлением дерзкой и вдохновенной речи чужеземца, покинул своё почётное седалище и ушёл вослед за ним, чтобы вскоре стать верным последователем апостола. Но «Деяния...»

ни слова не говорят о Дионисии, как о выдающемся, единственном в своём роде богослове.

По энергичным, цепким расспросам Анастасия Философ мог понять, что Рим всё-таки по отношению к Константинополю остаётся в некотором духовном полузапустении. Но мог также заметить, что у его собеседника имеется к этой теме какая-то своя особая привязанность или даже корысть. Мы не знаем, насколько Анастасий был откровенен в их беседах, сообщил ли Философу, что в папской библиотеке уже есть один, «свой» кодекс Ареопагита, что этот латинский перевод был не так давно исполнен ирландским богословом Эриугеной, но что он, Анастасий, считает переложение Эриугены слишком буквалистским и потому очень надеется на возможность создания нового, более совершенного перевода.

Сообщил Анастасий всё это или нет, но, в любом случае, он не скрывал, что незнание большинством обитателей Ватикана греческого языка поневоле обрекает нынешних римлян на провинциальность. Хотя здесь и горят ревностью всячески навёрстывать свои отставания. Очень бы надо им в этом как-то помочь. Здесь лишь краем уха слышали и о жарких спорах, вспыхнувших в Византии после того, как труды Дионисия два столетия тому назад вдруг, после долгого забвения, будто заново народились и тотчас же привлекли самое пристальное внимание богословствующих умов всего христианского Востока.

Да, суть этих споров, как понимал их Константин, к сожалению, больше всего вращалась вокруг подлинности трудов автора «Небесной иерархии», «Божественных имён», «Церковной иерархии» и «Мистического богословия». Точно ли этот автор был афинянином, первым епископом города, свидетелем необыкновенного солнечного затмения – в час распятия на Голгофе, – последователем апостола Павла, собеседником евангелиста Иоанна, наставником Тимофея, того самого, которому и Павел направил два послания? Или же всё это – и афинское гражданство сочинителя, и епископство его, и поразительный своими подробностями рассказ о затмении – лишь присвоение чужой славы? Но тогда мыслимо ли, чтобы истиннейший христианин, каким он предстаёт в своих удивительных по отважности богословских созерцаниях, оказался при этом изощрённым мистификатором, а проще сказать, лгуном?

Сторона, сомневающаяся в принадлежности «Ареопагитик» Ареопагиту, исходила из того, что столь сложные по своему богословскому содержанию, по своему утончённому слогу трактаты и послания никак не могли быть сочинены ещё на заре христианского дня. Не была-де на ту пору ещё почва подготовлена, чтобы на ней возросли такие чудесные семена.

У сомневающихся были и другие доводы. Константин знал их в подробностях, не считая нужным что-либо укрывать. Ему было бы достаточно сослаться на комментарии к Дионисию проницательнейшего богослова-полемиста Максима Исповедника, жившего уже в седьмом веке. Но, увы, в Риме его труд тоже неизвестен. Толкования Максима, по необходимости, так подробны, что вся эта ареопагитская тема в устном пересказе для латинского слуха – не окажется ли пробежкой ветра по воде?

Но разве и порыв ветра не даёт надежду для застоявшейся воды? Анастасий Библиотекарь горел желанием заполучить драгоценного собеседника на куда больший срок. Где же, как не здесь, в святом граде, где почивают мощи святых апостолов Петра и Павла, найдутся и достаточное время, и достаточный круг умеющих внимать и усваивать. Лишь бы гость милостиво согласился раскрыть в лекции (а лучше в лекциях) доводы в пользу подлинности трудов знаменитого Дионисия. И сами высокие смыслы этих трудов.

Похвальная любознательность! Если б касалась она прежде всего самих трудов! Но почему так часто бывает, что людей занимают не сами труды, а накопившиеся вокруг них кривотолки, слухи, рассказы? И плодятся они, похоже, лишь для того, чтобы забыть напрочь сами труды.

Видимо, посоветовавшись со старшим братом, Константин решил, что отнекиваться и уклоняться всё же неучтиво. До сих пор к ним здесь, паче всех ожиданий, относятся без венецианского брезгливого высокомерия. Принимают так уважительно, с такой непритворной лаской, что грех не отвечать взаимностью.

Что ж, он рад будет встретиться, а то и многократно встречаться, с теми друзьями почтенного Анастасия, чья любознательность устремлена к «Ареопагитикам», к их вдохновенным свыше смыслам.

Каждый христианин, если ещё не знает, то должен знать: Бог, сотворший вся и всех, заpredелен и непредставим – как для воображения, так и для ума людского. Потому церковь и возбраняет в храмах иконные изображения Бога в отеческой ипостаси. От имени Отца здесь нас встречает Сын и все предстоящие и служащие Сыну. Но человек в своём любовном порывании к Творцу всё равно пытается хоть как-то представить непредставимого, приблизить к себе заpredельного. И потому награждает его множеством высоких имён: Создатель, Господь, Единый, Троица, троичная Единица, Добро, Прекрасное, Премудрость, Истина, Вера, Любовь, Жизнь, Благой, Совершенный, Сверхсущий, Причина причин, Царь царствующих, Бог богов, Покой, Движение, Непостижимый...

Но сколько их ещё ни приводи, ни одно из имён не может насытить нашу жажду – приблизить к себе и постичь Непостижимого. Всякое молитвенное обращение к Богу, всякое чистое размышление о Творце уже есть богословие, доступное каждому из смертных. Но в стремлении приблизить Господа к себе есть опасность кумирствования. Поэтому опытный богослов никогда не посмеет усаживать Заpredельного за один стол с собою, превращать его, как делали и делают язычники, в домашнего божка. Истинный богослов призван восходить к Нему через отрицание своих чувственных, вообразительных, фантастических или рассудочных представлений о сверхпостижимой Причине всего сущего.

«Мы утверждаем, – пишет как раз об этом Архопагит Тимофею в послании-трактате «О таинственном богословии», – что превосходящая всё Причина всего не лишена ни сущности, ни жизни, ни разума, ни ума, не существует как тело, не имеет ни образа, ни качества или количества, ни массы, не находится в пространстве, невидима и неосязаема, не чувствует и не чувствена, не допускает беспорядка, не возбуждается материальными страстями, не немощна и не подвержена чувственным падениям, не нуждается в свете, не подвергается ни изнеможению, ни разрушению, ни течению, – не есть и не имеет ничего из того, что существует... Ибо она совершенна совершенством превыше всякого определения и есть единственная Причина всего, и превосходство её, совершенно от всего отрешённое и по ту сторону от всего сущее, – выше всякого отрицания».

Как проходили архопагитские лекции Константина? Цитировал ли он Дионисия по памяти, или в походном кожаном мешке Философа были какие-то конспекты или даже весь корпус сочинений афинского епископа? На возможность такого предположения указывает сам инициатор лекций Анастасий, говоря в одном из своих писем, что Константин «вверил памяти» римских слушателей «весь кодекс» Дионисия. Но что это значит: «вверил памяти»? Просто пересказал? Пересказы, как мы неоднократно убеждались, вовсе не были в правилах Константина, который по возможности предпочитал всякому устному изложению письменное. Можно ли пересказать, надеясь только на свою память и без неминуемого ущерба для памяти слушателей, главу Евангелия или самое краткое из апостольских посланий? Возможна ли в пересказе страница из «Ареопагитик»?

Упомянутое письмо Анастасия, к счастью, известно нам не в пересказе. Через шесть лет после кончины Философа ватиканский библиотекарь отправил это письмо персоне высшего в пределах Европы ранга – французскому императору Карлу Лысому. Пышная корреспонденция в дар сочинения Архопагита в недавнем (не собственном ли?) переводе на латинский язык, Анастасий с пиететом упоминает покойного своего собеседника-византийца как «великого мужа и учителя апостольской жизни», который, в бытность в Риме, много потрудился, чтобы приохотить римлян к чтению трудов афинского епископа-богослова: «... Константин Философ, который при священной памяти папе Адриане II прибыл в Рим и возвратил тело святого Климента на своё место, вверил памяти весь кодекс часто упоминаемого и заслуживающего упоминания отца и указывал слушателям, сколь полезно его содержание; он обыкновенно говорил, что если бы святые, а именно первые наши наставники, которые с трудом и как бы дубиной

обезглавливали еретиков, располагали написанным Дионисием, то, без сомнения, они рубили бы их острым мечом».

Трудно определить, насколько здесь Анастасий точен в своём пересказе ответственного суждения Константина о значении Архопагитик для последующей эпохи. Но, впрочем, по одной подробности мы, похоже, узнаём особый склад речи Философа. «Обезглавливать дубиной еретиков» – это его, Константина, образ, его притчевый ход мысли! Вооружась книгами Дионисия, борцы с еретиками стали бы куда искусней, «рубил бы их острым мечом».

Константин тем самым будто хочет сказать и всем нам: да, афинянин Дионисий прямо со скамьи архопага ушёл за Павлом. Но он не просто пошёл как ученик. Он и дальше учителя прошёл. И вдохновенному свыше Павлу оказался ещё недоступны такие глубины боговедения, какие постиг и отважно описал Архопагит. Пойдя за христианином-иудеем, он стал первым великим христианином греческого рода. Иными словами, любуясь Дионисием, Философ не в последнюю очередь восхищён в его богословии красотой и мощью греческого гения. Разве для того греческие мыслители языческой, дохристианской поры возносились и изнемогали в исканиях истины, чтобы она навсегда оставила их в сумерках недоумений, ложных распутий? Архопагит приходит как живое оправдание предшествующих поисков и прозрений. Греческий философский гений искал не зря. После Дионисия так же будут осознавать своё преемство великие отцы церкви – тот же любимый Философом Григорий Богослов, тот же Василий Великий.

Но катафатическое, оно же «отрицательное» богословие Дионисия – суровый упрёк языческому пантеизму. Да и любому пантеизму более поздних времён, упорно стремящемуся растворить Бога в сотворённом мире. Дионисий говорит своё твёрдое «нет» всяческому обожествлению тварной природы. Его возмущает, когда хотят ощупать Бога, как ощупывают тыкву или бирюльку в лавке ювелира. Ни в коей мере Бог не измерим человеческой меркой. Пора же когда-то устыдиться своих детских шалостей, – увещевает он снова и снова...

Так, в подражание Архопагиту, и сам Философ терпеливо предлагал своим римским слушателям, по словам агиографа, «и двойное, и тройное объяснение», когда видел, что не сразу всё понимают. А приходили-то к нему, подтверждает житие, непременно.

Но лекции Константина вдруг иссякли. Нежданная-негаданная подступила острада. Сколько раз замечает за собой каждый поживший на свете человек, что нельзя слишком доверчиво поддаваться прибывающей в душе радости. Если плещет она уже через край, жди подвоха.

Дело не в том, что отошла в Риме череда славянских литургий. Не были же они так самонадеянны, чтобы всех латинян, от епископов до брадобреев и конюхов, разом влюбить в славянскую речь.

И ясно, что не мог же Константин до бесконечности произносить свои речи о сокровенном Архопагите, как ни подбадривали его заворожённым вниманием слушатели и сам неутомимый, тонкий в распросах Анастасий.

Нежданное-негаданное неистошимо на выдумки. Вы-то, приезжие, не знали, но иногда мостовые римские, поры домов, крыши, стволы и хвоя пиний, обломки мраморных стел с их громадными, с голову младенца, римскими буквами, верхние одежды и обувь горожан вдруг покрываются лёгким жёлто-серым налётом. И тогда здешние бывальцы говорят со знанием дела: Африка... Или уточняют: Карфаген... Это как же нужно разогнаться африканскому ветру, чтобы поперёк моря пригнать сюда, на италийский дамский сапожок столько песчаного праха! В такие дни, наверное, даже соль в отцовской солонке древнего поэта Горация приобретала болезненно-лимонный оттенок.

Никуда не деться – стихия!..

Вот и с ними случилось. Вдруг стали никому в Риме не надобны.

Где Анастасий? Никто не ведает, где он. Где его дядя – епископ Арсений? И о нём молчат. Где сам старец Адриан? Но разве апостолик обязан докладывать всем и каждому, где он сейчас. Римский папа принадлежит всей Западной империи, а она – ему.

А что, если не от Африки вовсе, а от Константинопольского холма подул острый ветер? Обычно насельники греческих монастырей Рима быстро узнают вести с Босфора. Слышно, что Игнатий, возвращённый в патриархи, на каждом шагу мстит низложенному и сосланному Фотию. Уже издал указ, отменяющий фотиеву анафему покойному папе Николаю, и письмо с радостным сообщением о своём решении прислал сюда, Адриану. Что ж, если доложено Игнатию о том, что византийцы Мефодий и Константин сейчас находятся в Риме и рьяно обивают пороги ватиканские, то не мог ли он вдобавок известить апостолика: сии братцы – прямые выученики волка Фотия, стерегись их... Библиотекарь же первым прочитывает греческие послания, адресованные папе, прежде чем нести на доклад: ... стерегись их!..

Но не лучше ли им самим сейчас остеречься от предположений, хватких как зелёная плесень. Что бы и кто о них ни говорил, громко или на ушко, они чисты – и перед патриархией своей, и перед здешней курией. Они не искали тут своей выгоды и не ищут. Они исполняли и исполняют свой труд, за который если и стыдно, то лишь потому, что он – при самом начале.

Исчезновение Анастасия и епископа Арсения вдруг обозначилось разом, и оно, как стало тотчас очевидно, с пребыванием моравской миссии в Риме совсем никак не соотносилось.

Стихия людской худой славы если вдруг прорвётся, то какой же ветер-африканец с нею поспорит!

Рим загалдел: ай, да Арсений!.. ну, и Анастасий!.. Бедняжка Адриан, как он на старости лет оскорблён, что пережил!..

Не успел в марте месяце епископ Арсений получить от апостолика поздравительную буллу, расписанную многими похвалами, как епископский сынок по имени Елевтерий взял да и выкрал по-разбойничьи дочь папы Адриана. И не одну, а вместе с её матерью. Спасаясь от папского гнева и позора, Арсений спешно покинул Рим.

Но почему за дядей своим почти тут же исчез и Анастасий?.. Его бегство ещё пуще развязало языки у горожан, как правдолюбов, так и правдобрехов. Никакой он, Анастасий, не племянник? Он тоже сын Арсения!.. И в библиотекари-то попал совсем недавно, лишь с избранием Адриана. А до этого кем только ни был, где только ни подвизался! И в кардиналы его поставляли, и аббатом монастыря, и отлучали, и предавали анафеме... И в бега не раз пускался, как жалкий шарлатан. Против двух пап интриговал, да так рьяно, что однажды и сам целых три дня посидел на папском седалище да тут же и был спроважен...

На слух свежего человека всё это могло показаться дикими сказками, в которых правды ни на малую лепту. Ведь до тех дней Константин видел совсем иного Анастасия. Но, впрочем, многознающий, желающий знать всё больше и больше о своём собеседнике-византийце глава папской канцелярии так ли уж спешил побольше рассказывать Константину о себе самом? Нет, вовсе не спешил.

Вот ещё новость: как бы ни чернили Анастасия римские всезнайки за его предыдущую дурную славу, а у покойного Николая I он, оказывается, был на хорошем счету. Рьяно помогал предыдущему папе в намерении подчинить болгарскую церковь римской юрисдикции, а, тем самым, – в противодействии Константинополю. Значит, Анастасий или ничего не знал о фотиевской «родословной» солунских братьев, или очень искусно скрывал до поры своё знание их подноготной, видя, что перед ним не наивные простаки, а борцы опытные, заслуживающие более искусного с ними обхождения.

Неизвестно, где же он сейчас со своим родственником-епископом и что думает о гостях-славянолюбках на самом деле, и скоро ли объявится здесь. Или не объявится вовсе? В любом случае, им и теперь, при разразившемся посреди Ватикана скандале, нужно, как прежде, оставаться самими собой, как глубь морская остаётся неколебимой при всех страстях, гуляющих на поверхности вод.

Их младенческое детище – славянское письмо – ещё не в состоянии стоять за себя без их ежедневных родительских забот. Значит, из Рима им никак нельзя впопыхах

сниматься. Как из Венеции, так и отсюда негоже уйти ни с чем. Надо дожидаться, когда апостолик, оправившись от домашней смуты, вспомнит о них и о своём обещании благословить – не только устно, но и на письме – их дальнейшие труды в Моравской земле.

В знойном изнурении Рим трудно дышал на своих холмах, и казалось, чах от памяти о невозвратной имперской славе. В какую сторону ни ступи гость, на каждом шагу, как сборища попрошаек, поджидают его скулящие обломки колонн, искалеченных саркофагов, пустые оконные глазницы. Посреди разора и каменного хлама новенькие базилики, похоже, стесняются своей нарядности. И серым колоссам триумфальных арок неуютно торчат здесь в своём безадресном величии. Да, они угодили напоследок совсем не в ту страну. Скелетообразный Колизей будто предупреждает тебя: зевака, поди прочь, живым отсюда не выпарапашешься. В его каменных подвальных лабиринтах по ночам, говорят, воют самые настоящие волки.

А потому мимо Колизея к маленькой тихой базилике святого Климента, где теперь упокоены мощи, обретенные братьями под Херсоном Таврическим, лучше им идти в сопровождении опытных бывальцев.

Если же подберётся для гостей надёжная охрана, можно, отъехав за римские околицы, спуститься в катакомбы первых христиан. Они хоть и жили три века в нищете, в постоянном страхе облав, но в этих подземных улочках и закутках различаешь – при свечах и факелах – какую-то поистине идеальную заботу о скромных могильных нишах для почивших братьев и сестёр. И радуешься первым попыткам иконного и мозаичного письма в крошечных здешних молельнях и храмах. Сколь же силён был в этих людях внутренний свет веры! Чего-чего, а уж тщеславия, желания покрасоваться на виду посреди Рима и мира эти не ведали.

... «Житие» Философа упоминает, что постучал однажды к братьям в их римское жилище некий жидовин, пожелавший что-то необычное сообщить о Христе. Константин не отказался выслушать. «По числу лет, – заявил гость, – Христос, о коем пишут книги и пророки, что родиться ему от девы, ещё и не пришёл». Велика новость! Такое от его собратий уже тысячу раз слышано. Хотя пророков иудейских отцы их камнями забрасывали, они и пророков приплетут в строку. «Ещё не пришёл» и всё тут. Они ведь ждали и ждут совсем другого. Ждут вожда, который покорит для них весь мир, подчинит им все народы. Так и ждите, спорить незачем.

Но раз уж спорщик выставил какой-то свой временной счёт, Константин распахнул перед иудеем евангельскую главу с Матвеевым порядком поколений – от Адама до Христа. Зри, человеце, и слышь. Говорят ли что-нибудь твоей памяти древние родословия, ведомые твоим предкам имена: кто кого породил, кто от какого был колена? Так зри же и разумей: пришёл Христос! И зри, сколько лет уже минуло с той поры, как пришёл – «оттоле и доселе». Убедил – не убедил, но собеседник спорить больше не стал, и даже благодарил, и расстались мирно.

А между тем, новая гостья, нежданная-негаданная, толкнула без звука дверь, прошла без спроса. И не куда-то мимо прошла, а напрямик – во внутреннее естество Константина.

Самоуправной хозяйкой вошла, без слов объявила: «Мой, весь теперь мой». Неумолимая язвила его мука, такой никогда ещё, кажется, не терпел. Разве лишь Багдад пришёл на память, где он страдал внутренностями, и все свои подозревали, что отравлен.

Но не так в Багдаде было. Там подержала-подержала боль и отпустила. А эта лютовала в нём изо дня в день, так что от изнеможения и счёт дней начал для него размываться.

Но однажды пробрезжило освобождающее дуновение, и он пропел слабыми губами, едва внятным голосом: «О рекших мне «Внидем во двory Господни» возвесели мя дух мой и сердце обрадовася». Значит, решили, кто-то в видении посетил его и призвал.

Назавтра он самостоятельно поднялся с кровати, облачился во всё чистое. Захотел пробыть с братом и учениками целый день, и тихая радость смягчала черты осунувшегося лица. Радость освобождения слышна была и в голосе, когда выговорил: «Отсе-ле я ни царю слуга, ни кому другому на земли, но только Богу Вседержителю... Аминь».

Так он сказал – обликом своим, облачением, словами, – что желает принять иноческий постриг. На следующий же день состоялось таинство его посвящения в монашеский чин.

Был Константин.

Стал инок Кирилл.

Как и положено, ему строгий устав предписывал остаться на срок совсем одному – в ночном безмолвии, наедине с молитвами, которые обращал к Творцу своему.

То были молитвы особые, для вхождения души в строй иноческого бытия. Но были и молитвы, впитанные им ещё с родительских уст. И первая из них, самая малая, самая прескромная и самая, как теперь отсюда видит, великая, бесконечная в своей всегдашней настойчивости: **Κύριε ἐλέησον!** – **Господи, помилуй!**.. А рядом и молитва-благодарение, так часто людьми на радостях забываемая: **Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι!** – **Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!**

Так, через молитву он издавна возлюбил язык, считавшийся в его кругу чужим. А теперь не может и дня прожить без него, молится и думает на нём...

Господи, Боже мой, иже вся ангельские силы и бесплотные чины составил и небо распростер, и землю основал, и вся сущая от небытия в бытие привел, иже всегда и везде слушал творящих волю Твою, боящихся Тебе и хранящих заповеди Твоя, послушай и моей молитвы и верное Твое стадо словенское сохрани, к коему меня приставил, ленивого и недостойного раба Твоего. Избавляя вся от всякой безбожной и поганской злобы и от всякого многоречивого и хульного еретического языка, глаголющего на Тя хулы, погуби триязычную ересь и возрасти церковь Твою множеством, и вся в единокровии совокупив, сотвори изрядны люди, единомыслящие о истинной вере Твоей и правом исповедании, вдохни же в сердца их слово Твоего учения, ибо они Твой дар. Если нас приял, недостойных на проповедание им евангелия Христа Твоего и наострившихся на добрые дела и творящих угодное Тебе, и если мне дал, то Твои есть и Тебе их возвращаю. Устрой же их сильною Твоею десницею, покрой их кровом крыл Твоих, да все они хвалят и славят имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Так, в молитвенном сосредоточении прошло пятьдесят дней после пострига. Не раз, наверное, вспоминалась ему в эти недели тишина Малого Олимпа, где провели они с Мефодием, может быть, самые радостные годы совместных трудов, потому что тогда ещё невозможно было вообразить, сколько же злоключений ждёт их именно из-за этих трудов, когда спустятся со своей Горы.

Может быть, поэтому однажды, попросив Мефодия остаться с ним наедине, он вспомнил и Гору: «Были мы, брат, как два вола в одной упряжи, одну бразду тянули... И вот я на пахоте падаю, свой день скончав... А ты, знаю, так любишь Гору. Но не позволь себе ради нашей Горы оставить научение своё. Чем иным ещё спасёмся?»

Это было уже совсем незадолго до кончины монаха Кирилла. Житие повествует, что перед самым своим исходом он, собрав последние силы, облобызал брата, всех единомышленников своих и ещё раз напомнил молитвенно об их общем труде: «Благословен Бог наш, иже не даст нас в ловитву зубам невидимых враг наших, но сеть их сокрушится, и избавил нас от истления...»

14 февраля 869 года, Мефодий напомнил стоящим перед гробом, что брат его, оставивший для них всех такой великий дар и такой небывалый образ бескорыстия, прожил совсем ведь немного, – всего сорок два года.

Но как же это столь малое уместило в себе столь неисчислимое?

Прощание с Философом вдруг напомнило времена более чем годовой давности, когда Рим торжественно встречал братьев. Напомнило просто-таки исключительным вниманием, которое вновь проявлял Адриан II, – но теперь уже к проводам младшего из гостей-византийцев.

Всё устройство отпевания апостолик взял на себя. Потребовал участвовать в прощании с новопреставленным не только подопечное ему духовенство, но и всех-всех римлян. Просьба прибыть касалась также священников и монахов греческого обряда, что немалым числом жили в городе. Агиограф Кирилла приводит важную подробность события: Адриан повелел «со свещами спешдесея пети над ним (Кириллом – Ю.Л.) и сотворити провождение ему, якоже и самому папежу». Отпеть монаха-чужеземца, к тому же совсем недавно постриженного, отдав ему почести, достойные римских пап – это что-то да значило!

Мефодий и его спутники снова оказались на виду у всего города.

Будто и не было перед тем нескольких месяцев тягостной остуды по отношению к ним со стороны Ватиканского холма. Оставалось лишь гадать, что именно стояло за такими особыми знаками сочувственного внимания.

Улучив минуты для доверительного разговора, старший брат попросил у апостолика благословения на неблизкий путь в Вифинию:

– Мать наша взяла с нас клятвенное обещание: кто бы первым из двоих ни отправился на Господний суд, пусть второй брат перенесёт его прах в наш монастырь и там предаст земле.

С участием выслушав Мефодия, папа отдал распоряжение своим гробовщикам: опустить тело усопшего в раку, приколотить её крышку железными гвоздями и так держать неделю, нужную для сборов в путь.

Но тут у епископов римских возник свой довод:

– По скольким бы землям ни ходил сей честной муж, но ведь Господь его к нам привёл. И у нас принял его душу. Значит, достойно ему у нас лежать, а не где-то ещё.

На это расчувствовавшийся старец Андроник изрёк:

– А если так, то за святость его и любовь повелеваю нарушить римский обычай и погresti его в гробу, что для меня самого вытесан, – в соборе святого апостола Петра!

Видимо, этот жест апостолика показался всем окружающим даже слишком решительным.

– Если уж вы меня не послушали, не отдали мне его, – ещё раз заговорил Мефодий, – и если вам моё предложение будет любо, то пусть положат его в церкви святого Климента, с мощами которого он и пришёл сюда.

Мнение вифинского игумена своей мерностью как-то разом устроило всех.

И вот настал день, когда в скромную базилику, алтарь которой год назад принял Климентовы мощи, притекло шествие с ещё одной ракой. Её уместили в тесанный из камня гроб – по правую руку от алтаря.

«Житие Кирилла» заканчивается словами о том, что в церкви «начаша тогда многа чудеса бывати», и римляне, видя их или слыша о них, с ещё большим почитанием и трепетом приходили сюда и вскоре же написали икону с его изображением и возжгли над нею лампаду, светившую днём и в ночи.

Так в стенах малой римской базилики началось местное почитание, и самые первые славянские молитвословия, обращённые к Кириллу, Мефодий и его спутники пропели именно здесь, хваля за всё Бога, «Тому бо есть слава и честь в веки. Аминь»...





ПОЭЗИЯ

Валентин СОРОКИН

Валентин Васильевич Сорокин – русский поэт. Родился в 1936 году в Башкирии, на хуторе Ивашила. Около 10 лет проработал в 1-м мартене Челябинского металлургического завода. Член Союза писателей СССР с 1962 года. Автор многих поэтических книг. Лауреат Государственной премии России, Международной премии им. М.А.Шолохова и др. Проректор Литературного института имени А.М. Горького, руководит Высшими литературными курсами. Живёт в Москве.



Мне в России жить...

Мне в России жить, словно с милой быть,
А о счастье петь, как по Волге плыть.

Не топчись, беда, вокруг да около,
Испытай меня, смела сокола!

Я швырял грома-стрелы в лешего,
Змей Горыныча бил воскресшего.

Сбор трубил в ночи, в небе стражничал,
На Москве-реке с братом бражничал...

Пусть-ко враг лют под берёзою
Проклянёт судьбу да тверёзую!

Мне в России жить, словно с милой быть,
А о счастье петь, как по Волге плыть.

Край ты мой

Вырос я на Урале,
Где огнистые дали.

Где, по-воински, горы
Зорко смотрят в просторы.

Край ты мой необъятный,
Богатырь непопятный.



Светлы твои волосы, тёмны глаза.
Ну кто ты, русалка, а может, лиса?

Лягушка-царевна, колдунья села,
Какая тропинка с тобою свела?

Ты русская очень, родная с лица,
Под стать тебе надо бы и молодца.

Пускай он закружит, завееет тебя,
Ревнуя, страдая; кляня и любя.

А я, за туманами сказок и грёз,
Вздохну и примолкну, как чёрный утес.

Ты идёшь

Сколько неправд, сколько обид, сколько боли –
Со дня
Рождения
До часа
Креста,
А я-то хотел, чтобы, как белоснежное поле,
Судьба моя
Была бы
Чиста.

А я-то хотел нараспашку, весь, весь нараспашку:
– Здравствуй,
Брат,
Садись,
Я рад! –
Но маками огненными брызнули на рубашку
Жизни горе
И раны
Утрат.

Зачем говоришь: «Ты дерзкий невыносимый!»
Зачем, когда
В груди
Давно у меня чернее, чем на пустыре Хиросимы,
Прошу
Тебя,
Угли
Не бери.

Закрою глаза я, кричащий и непокорный,
И вижу –
Сквозь мрак
И дождь
По улицам чёрным, в одежде, печальной и чёрной,

Ко мне
Из грядущего
Ты
Идёшь.

Ты идёшь, совесть, заплаканная от боли,
Идёшь,
Заперев
Уста.
А я-то хотел, чтобы, как белое снежное поле,
Судьба
Моя
Была бы
Чиста.

Вновь

Вновь со мной, седым и молодым,
Ты прошла по листьям золотым,

Где кружились весело над нами
Стаи, стаи золотыми снами.

И казалось – на тропинке той
Ты была багряно-золотой...

И в ладони наши не простое
Солнце падало, а золотое.

Словно в даях колокольных лета
Нас встречал с тобою ангел света.

Только жаль – ему не превозмочь
В этот мир вползающую ночь.

* * *

Снова дали сквозистые, синие,
Звёзды, речка на белом лугу.
И осыпан светящимся инеем
Березняк на крутом берегу.

А за ним то дома, то околицы,
И такая вокруг тишина,
Даже слышно, как надвое колетса
В колоужине звонкой луна.

Где-то вьюга вздохнёт и уляжется.
И осыплется под ноги снег.
И таким удивительным кажется
Твой негромкий вчерашний успех.

Год нелёгкий с былыми заботами
Не маячит из розовой тьмы...
Он замолк навсегда за воротами
Нашей доброй славянской зимы.

Я не помню те вёрсты, что пройдены, –
У кого и за что я в долгу?
Я стою перед утренней Родиной
И ни слова сказать не могу...

Земля отцов

Не представить белый снег
Без саней крылатых.
Не увидеть тройки бег
Да без грив косматых.

О земля моих отцов,
Вздыбленная круто!
Ветром, звоном бубенцов
Ты насквозь продута.

От стрелы и до курка
Через все туманы
По тебе прошли века,
Будто атаманы.

Над тобою круг вершат
Звёзды-хороводы.
В глубине твоей лежат
Разные народы.

Как безумец в гололедь
Направляет снасти, –
Я пришел запечатлеть
Грозные их страсти.

Не указами царя,
Волею поэта
Плещут реки и моря, –
Движется планета.

О земля, земля моя!
Цезарь и Атилла
Не заполнили края –
Духу не хватило!..

Никуда тебя не деть,
Я-то знаю это:
Из конца в конец лететь
Устаёт комета.

Плачу, голову клоня,
Счастья ль, Бога ль милость:
Ты под сердцем у меня
Нежно уместилась.

Осмысление

Какую б ни выпил я чашу
Из маетных рек и морей,
Не вспыхнет на Родину нашу
И капли обиды моей.

Чем сердцу больней и печальней,
Тем праведней чувствуешь ты:
Отчизна, ну что величальней
И громче её высоты?

Спокойствием осени веет,
Сады на заре ледяней.
И кто же подняться посмеет
До бурь, что клубились над ней?

За нежность языческой сини
Кровавый ордынец не раз
На гордых курганах России
Топтал и расстреливал нас.

Могилами считаны вёрсты.
Легендами полны леса.
И светятся горько не звёзды,
А их, убиенных, глаза.
Гудящих просторов безмерность

Крылато я вновь обрету.
Да,
 только
 бессмертье
 и верность
Восходят на ту высоту.

Надежда она и основа,
И предков недремный завет.
Предавшее слово – не слово,
Предавший поэт –
 не поэт!

Я свободен

Я свободен, как сильная
Дикая птица, как ветер,
Я, кружась над землёю,
Ни разу границы не встретил!
Не боюсь я дождей,
Не боюсь ураганов могучих,
Закалённым крылом
Разбиваю тяжёлые тучи.

Мне Отчизна дала
Эту вольную гордость и смелость,
Чтобы сердцу тревожней
Дышалось,
 стучалось
 и пелось!
Жить нельзя без высот,
Без просторов для мысли и ока,
Много чувствую, слышу
И вижу далёко-далёко!

Со свинцом и песком,
Чернозёмом и солью планета
В руки нам отдана,
И давно понимаю я это.
Не скрывая лица,
Я порой заменяю свой ранец,
Средь арабов араб,
Средь храбрейших вьетнамцев
 вьетнамец!

Но люблю я родимую музыку,
Песни и говор
До безумья, до слёз
И вовек не желаю другого!
Пусть тунисцу Тунис,
Англичанину Англия будет,
А Россия моя
Не обидит меня,
 не забудет.

Пахарь и космонавт,
Рудознатец и первопроходец,
Не мутите чужой
Родниковый и светлый колодец!
Понимать, принимать
И хранить к себе верность – искусство,
Ведь на поле едином
Цветёт разнотравие густо...

* * *

И потрескивает огонь,
И постанывает огонь.
У закрытых ворот угрюмых
Не храпит, ожидая, конь.

Будут ливни по стёклам бить
И морозы по стёклам бить,
Будет буря метель тугую
За деревню теребить.

Я ли дорог ещё кому?
Я ли нужен ещё кому?
С высоты онемелой звёзды
Одиноко глядят во тьму.

Ты скажи для меня одна,
Ты ответь для меня одна:
Ну зачем на заре осенней
Нам с тобою любовь дана?

Появилась во мраке ты,
И пропала во мраке ты.
На курганах, как пёс голодный
Лижет ветер твои следы...

В защиту судьбы

Ни леса, ни горы не спросили,
Ни равнин мерцающую синь,
Почему же рекам из России
Надо течь в чадающий ад пустынь?

О, земля, славянская, родная,
Час пробьёт, и средь небесных врат,
Крепь времён мечами разрубая,
Встанет Невский или Коловрат:

«Это кто измял и обесплодил
Край
и кто живой его народ
Обездеревенил, обезводил,
Идол мести, прихотей урод?

Не звенит гармонь в закатной шири,
Тишина кладбищенская крыш.
Для того ль погиб Ермак в Сибири,
Чтобы немо пересох Иртыш?

Мы рождались тут и воевали,
Под копыта клали вражью тьму,
На продажу весей не давали
Проклятого права никому!..»

Крест взлетит, и обелиск взорвётся,
И над головой временщика
Черной скорбью солнышко прольётся,
Мать-Отчизна вскинется, жутка:

«Грудь мою сосал ты, кровью жгучей
Я тебя поила, сукин кот,
Ты падёшь от кары неминуемой,
Будто вор,
голодный и ползучий,
Ты, предавший долю и народ!»

Свет памяти

Мусе Джалилю

Сколько слезло, слетело с трибун
Низколобых пророков эпохи,
И звенит человеческий бунт
В песне, в ругани, даже во вздохе.

И когда всполошатся леса,
Даль трепещет, от молний багряна, –
Над Россией восходят глаза,
Пугачёвские, жутко и пьяно.

Государева горбится тень.
В самых верных полках беспокойно.
И свистит на дорогах кистень,
Поднимаются вилы разбойно.

Вам, Булавины, вам, храбрецы, –
От Рылеева до Салавата,
Подвожу я коня под уздцы,
Он оседлан умно и богато.

Он и шагом, и рысью, и вскачь,
И ему нипочем непогода.
Ни один не упрячет палач
Головы от возмездья народа.

Свет Освенцима – камеры свет,
Словно крик
над крошечным туманом.
Преступленьям забвения нет,
Нет прощенья тайным обманам.

Присягаю свободе, и вновь
Солнце слышу я в сабельных звонах.
И шумит справедливая кровь
В наших вечных и грозных знамёнах.



ПАМЯТЬ

«Я помолюсь за Вас, чтоб Вас Всевышний спас»

Отрывок из книги

В октябре 2011 г. вышла в свет книга Президента Международного форума «Золотой Витязь», народного артиста России Николая Бурляева «Жизнь в трёх томах». В издание, приуроченное к 65-летию юбилею актёра и к 20-летию «Золотого Витязя», войдут произведения: «Мой Лермонтов», «Славянский венец» и «Фрагменты Божьего искусства». Издание стало возможным благодаря партнёру Форума – ЗАО «Экспоцентр».

Великий учитель

Николай Дмитриевич Мордвинов

В начале 1961 года судьба свела меня с Николаем Дмитриевичем Мордвиновым. Я – московский школьник, приглашённый на роль в театр Моссовета. Он – народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, центральная фигура в театре Ю. А. Завадского, любимый мною Котовский, Богдан Хмельницкий, Арбенин... Каждый из этих фильмов я видел по нескольку раз. И вот – он становится моим партнёром по спектаклю «Ленинградский проспект».

На репетициях мы сблизились очень быстро, подружился настолько, что спустя всего несколько репетиционных месяцев, в день торжественной премьеры Николай Дмитриевич преподнёс мне подарок, созданный его же руками. Мои современники помнят, в каких железных коробочках продавались конфеты монпансье. Мордвинов срезал стенки до половины, сделал внутри перегородочки, заполнил их гримом, вложил маленькие кисточки и, позвав перед началом спектакля в свою гримуборную, находившуюся напротив моей, вручил мне свой подарок. Я прожил с этой реликвией всю свою недолгую театральную жизнь с 1961 по 1968 год.

При первой встрече великий Мордвинов не потряс меня своим фундаментальным величием. Лысоватый, неторопливый, спокойный, не старающийся выделяться повадками премьера среди остальных артистов, выглядевший на их фоне, пожалуй, даже наиболее скромно. Началось моё постижение Мордвинова – живого человека. В спектакле мы играли роли любящих друг

Николай БУРЛЯЕВ



Николай Петрович Бурляев – родился 3 августа 1946 г. в Москве. Народный артист России, Член Патриаршего Совета по культуре. В 1968 году окончил актёрский факультет театрального училища им. Б. Щукина. В 1975 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М. И. Ромма, Л. А. Кулиджанова). Снимался в фильмах: «Иваново детство», «Андрей Рублёв», «Игрок», «Мама вышла замуж», «Военно-полевой роман», «Мастер и Маргарита» (всего более 60-ти ролей). Режиссёр фильмов «Ванька-Каин», «Лермонтов», «Всё впереди». С 1992 года – генеральный директор киноцентра «Русский фильм». Президент МКФ славянских и православных народов «Золотой Витязь». Отец пятерых детей. Живёт в Москве.



НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ



друга деда и внука, и эти отношения закрепились и в нашей жизни. Я ощущал, что Николай Дмитриевич относится ко мне не только с теплотой, но и большим уважением, как к своему партнеру. Я чувствовал это и не верил себе: кто – я, и кто – он! Я – пятнадцатилетний мальчишка, он – великий артист, увенчанный высшими наградами страны, любимый и почитаемый народом.

Мордвинов в «Маскараде» потряс меня. Я действительно ничего подобного не видел в жизни. На сцене блистал великий классик, романтик театра Николай Дмитриевич Мордвинов. Аристократизм пластического рисунка, непередаваемый мелодичный, напевный, иногда раскатистый до надрыва голос. Возможно, в такой манере играли в прошлом, XIX веке. Не странно ли выглядит такая актерская манера во второй половине XX века? О нет, у Мордвинова не странно. И сегодня, спустя тридцать пять лет, я слышу, словно наяву, его неповторимые интонации: «По-о-слу-у-шай, Ни-и-на, я-я-я ро-о-жде-ен с ду-у-шо-ой ки-пу-че-ю, как ла-а-ва...» И последние слова монолога, произносимые голосом, восходящим до напевного вопля: «Две на-а-ши жи-и-зни ра-а-а-зо-о-рву-у-у!» Холод пробегал по коже, волосы становились дыбом. Я поражался, как это возможно, играя в подобной классической манере, в каждом спектакле плакать настоящими слезами и быть настолько естественным и заразительным, что и зрители плакали вместе с Мордвиновым.

На всю жизнь я остался благодарен моему Учителю Николаю Дмитриевичу Мордвинову за уроки, преподаанные мне.

Именно он открыл мне Лермонтова, которого любил самозабвенно. Много рассказывал мне о пламенной, нежной, бесстрашной душе поэта, развенчивая сплетни о его якобы дурном характере. Он брал меня на свои чтецкие концерты, где я мог наслаждаться его «Мцыри» или «Песней о купце Калашникове». Эти уроки Мордвинова о Лермонтове помогли мне спустя двадцать лет, когда я решился на постановку фильма.

Мордвинов научил меня отношению к театру как к храму искусства. Этот урок усваивался сам собою в наблюдениях за отношением к искусству самого Мордвинова. Как Николай Дмитриевич приходил в театр – театр подтягивался и преображался. Мордвинов не торопясь, величественно шёл, словно плыл по коридорам. Всегда спокойный, доброжелательный, тихий, но за этим покоем и тишиной тайно кипела внутри неудержимая лава, которую он готовился, не расплескав по коридорам, через некоторое время обрушить на зрительный зал. В день спектакля с участием Мордвинова все сотрудники театра становились лучше, возвышеннее, внимательнее к окружающим. Осветители и рабочие сцены воздерживались от громкой речи, актёры от анекдотов (однажды Мордвинов поведал мне слова, сказанные великим русским актером Михаилом Щепкиным: «Театр – это храм. Священнодействуй или убирайся вон!»).

С течением времени, сыграв «Ленинградский проспект» десятки раз, я, глядя на работу своих старших (а в общем-то ещё молодых партнёров Ии Саввиной и Вадима Бероева), стал подражать им в манере присутствия на сцене. Дело в том, что актёры частенько, отворачиваясь от зала, неслышно говорят друг другу различные смешные слова, не узаконенные текстом автора. И я, глядя на своих партнёров, начал участвовать в этом весёлом «подпольном диалоге». Очень скоро, после очередного спектакля, когда мы все, радостные, шли после поклонов со сцены по своим гримёрным, Мордвинов тихо сказал мне:

«Коля, зайди ко мне». Когда я вошёл, Мордвинов доброжелательно и спокойно произнёс: «Коля, не уподобляйся артистам, болтающим на сцене». Не скрою, что мне стало очень стыдно. Одно этого урока мне было достаточно, чтобы запомнить его на всю жизнь.

Были в нашей театральной жизни и смешные моменты, ибо чувство юмора, а подчас и озорство были присущи и Николаю Дмитриевичу.

На одном из выездных спектаклей в каком-то провинциальном клубе все актёры, и мужчины, и женщины, были вынуждены переодеваться в одной большой комнате. И Мордвинов, величественно повернувшись к коллегам, громкогласно изрёк:

«Спокойно – снимаю!» И начал расстегивать пояс на брюках. Помню, спектакль в тот вечер прошёл особенно радостно и легко.

По режиссёрскому и изобразительному решению декорация «Ленинградского проспекта»: квартира семьи Забродиных была веером раскрыта на сцене, дабы зрители видели всё, что происходит, в единой панораме. Однажды, находясь в левой, крайней комнате (смотря в ней телевизор и ожидая реплики для своего выхода в большую комнату), я прислушивался к происходящей в соседней комнате драматической сцене. Ия Саввина, исполнявшая роль Маши, как всегда задала свой трепетный вопрос любимому ей Борису – Вадиму Бероеву: «Ну скажи, Боря, что это неправда?!» Вадим, как всегда темпераментно, прокричал: «Ой, да правда, ну-у!!!» – и бросился на кровать... И в этот момент я услышал (так как видеть из-за стен декорации не мог) незапланированный грохот и мгновенную реакцию зала, выразившуюся в подозрительно ехидном, корректно сдвоенном хохотке. Было понятно, что на сцене создалась чрезвычайная ситуация. Дождавшись реплики, предвещающей мой выход, я ворвался в комнату с криком «Наши, наши выиграли, три – два!» И увидел следующую картину. Вадим и Ия стоят отвернутые от зала и едва сдерживают смех. В углу кровать с проваленным между подпорками на пол матрасом. Кровать, на которой через буквально пять минут должна по ходу действия скончаться бабушка. Вадим и Ия с радостью покидают квартиру, оставляя нас троих (Мордвинова, Сошальскую и меня) в сложном положении. Мордвинов спокойно поворачивается ко мне и незаметно для зала произносит: «Ну что, Василёк, давай чинить, ведь бабушке сейчас помирать...» Вдвоем мы подняли с пола матрас, положили его на еле удерживающие его подпорки. Помогли перепуганной В. А. Сошальской тихо присесть, а потом и в ужасе прилечь на «смертное ложе»... Дальше все прошло, как по нотам: не прошло нескольких минут, и Мордвинов своей игрой заставил зрителей не только забыть недавний конфуз, но содрогнуться, а многих и прослезиться.

Однажды я, увлечённый разговором с зав. труппой и не слышавший закулисной трансляции спектакля, опоздал на свой выход на сцену. Вдруг по репродуктору я уловил встревоженный голос помрежа: «Коля! Коля Бурляев! Скорее на сцену! Коля, Коля Бурляев, где ты?!» Стрелой я свинтился с пятого этажа и вылетел на сцену, предстал перед изумленными глазами Ии, Вадима, Сошальской... и совершенно спокойного Мордвинова. Никто из партнёров не стал бранить меня за это нечаянное опоздание на выход на целых три минуты. Я был наказан за это вскоре опозданием на сцену артиста Баранцева, правда всего лишь на одну минуту. Но что такое на сцене есть одна минута существования в ситуации «черной дыры», не прописанной автором, я смог ощутить лично. Итак на сцене – Мордвинов, Сошальская на своем шатающемся «смертельном одре», Ия Саввина и я. Звонок в дверь. Саввина идёт открывать – за дверью никого... Покричав: «Кто там? Кто там?», она бежала с поля боя, скрылась за дверью, оставив нас с Мордвиновым наедине с залом.

Страх от погружения в неизвестность я особого не испытал: ведь рядом был мощный, как скала, Мордвинов. «Ну, рассказывай, Василёк, что у тебя в школе...» – спросил он. И потекла бесконечно долгая минута нашей вынужденной импровизации. Признаться, это было даже интересно – творить совместно, на равных с самим Мордвиновым.

В 1963 году на гастролях театра в Ленинграде все актёры жили в роскошной гостинице «Европейская». Причём мы с Николаем Дмитриевичем располагались на одном этаже и часто могли видеться на завтраке в буфете. Помню, я до костей продрог, прокатившись в промозглую майскую ленинградскую погоду в одной курточке на мотороллере до Гатчины и обратно. Увидев меня, посиневшего, в буфете и узнав, в чём дело, он купил мне, бедному артисту, 50 грамм коньяку и приказал выпить.

По причине безденежья я на этих гастролях ввёлся в массовку «Короля Лира». Ведь за каждый спектакль мне платили по три рубля.

Мне предстояло выйти среди свиты Короля Лира в сцене после охоты. Я решил пофантазировать над обликом моего героя и сделал себе возрастной грим: парик с длинными волосами, усы, бороду, горбатый нос, морщины, седину. Выйдя на сцену со свитой и подпевая в хоре: «Из замка выходит охотник лихой, охотник лихой...», я попытался протиснуться поближе к Лиру – Мордвинову и попасть в поле его зрения: узнает или нет. Мне это удалось: Николай Дмитриевич заметил меня и, к моему

разочарованию, сразу узнал. «Что это ты с собой сотворил?» – тихо спросил он меня. Всю последующую сцену я сидел у его ног, и мне было весело и уютно подле моего великого и доброго партнёра. Неожиданно Николай Дмитриевич шепнул мне: «Коленька, что-то сердце давит... Пойди ко мне в гримёрную... в пиджаке в нагрудном кармане валидол... принеси...» Я сорвался с места и помчался исполнять просьбу моего дорогого друга, доверившего мне столь важное для его жизни и дальнейшего хода спектакля задание. Когда я с капсулой валидола хотел выйти на сцену, я с ужасом заметил, что моя массовка – свита Лира, покинула сцену... Что делать?.. Недолго думая и никого не спрашивая, я шагнул из кулис на сцену (считая своим долгом спасти жизнь Николая Дмитриевича) и решительно направился прямо к Мордвинову – Лиру, выяснявшему отношения с одной из своих дочерей. Я не вглядывался в реакцию опеших актёров, я был занят более важным делом: «Я принёс!» – прошептал я Мордвинову и незаметно для зала вручил ему капсулу. Николай Дмитриевич взял её, спокойно сказал мне: «Спасибо, Коленька...», извлёк таблетку валидола, положил в рот, вернул мне капсулу. Сделав своё дело, я гордо покинул сцену, считая, что мой любимый старший друг, мой дорогой Николай Дмитриевич – спасён.

Помню проникновенные и мудрые тосты-речи Мордвинова на тех или иных театральных вечерах. Тосты эти становились центральным событием застолья, все ждали их и, дождавшись, благоговейно затихали.

Мордвинов поразительно чутко, один из первых отметил начавшее уже в те годы происходить глумление некоторых модных театральных режиссёров над русской классикой. Как-то он поделился со мною своими впечатлениями от увиденного накануне, нашумевшего по Москве, спектакля. Помню его гнев, печаль и слова об издевательствах над великим русским драматургом, создателем пьесы. Признаюсь, что тогда я не понимал гнева Мордвинова, посчитал это излишней возрастной нетерпимостью к театральным новаторам.

С годами процесс глумления над национальной классикой и русской культурой стал очевиден многим, а в конце XX века стало подлежать критике и презрению само стремление немногих театральных коллективов Москвы, старающихся работать в традициях русской сцены. И сегодня я полностью понимаю гнев великого русского артиста Н. Д. Мордвинова, первым заметившего начало пагубного для русской сцены процесса.

В заключение не могу не вспомнить и ещё один, важный для меня урок Николая Дмитриевича Мордвинова, спасшего мою дальнейшую актерскую судьбу. В пять лет отроду я был испуган подростком-соседом и с тех пор начал заикаться. Но в театре играл совершенно спокойно, не заикаясь вообще.

Было сыграно уже более 100 спектаклей «Ленинградского проспекта», который шёл уже четвёртый год. Я освоился в своей роли настолько, что плавал на сцене, как рыба в воде. Всё стало мне родным и привычным. И вот на одном из спектаклей я решил заикнуться. Заикнулся, потом ещё и ещё и наконец уже не мог унять своей речи. Страх парализовал меня: ведь я выдал зрителям свою тайну: то, что я заикаюсь... Партнёры смотрели на меня с удивлением и жалостью, но ничем помочь не могли. Едва не теряя сознание от страха и стыда, я кое-как доиграл спектакль. Вот и колонны... Занавес закрылся. Я побрёл со сцены следом за Николаем Дмитриевичем. Слово магнит, влекла меня за собой его неторопливо плывущая по театру фигура, словно я понимал, что только он один сейчас меня поймёт и спасёт. Я зашёл следом за ним в его гримёрную, молча опустил в кресло. Николай Дмитриевич начал разгрымивываться, добро поглядывая на меня в зеркало и не начиная разговор первым.

– Я не могу завтра играть спектакль, – произнёс я наконец, – я уйду из театра.

– Скажи, ты хочешь быть артистом? – спросил Мордвинов.

– Не знаю... Какой я артист... заика...

– Нет, Коленька, ты артист. И ты будешь артистом. Знаешь, в цирке у актёров есть такой закон: если артист падает с каната или трапеции, он должен немедленно влезть на трапецию и повторить свой номер. Иначе поселится страх. Ты будешь завтра играть.

Ночь я провёл без сна, бесконечно повторяя в уме текст роли. Еле дождался утра, пошёл в театр, играл и поборол свой страх. Спасибо моему дорогому Учителю.

Мы много играли этот спектакль вместе, записали его на радио, играли отдельные сцены в концертах и на телевидении, играли в Ленинграде, Киеве...

Как живая стоит перед мной картина, врезающаяся в мою память, я вижу её, словно это было вчера: мы с Николаем Дмитриевичем ожидаем за стеной декорации наших выходов на сцену. Первый выйдет он, спустя некоторое время – я. Мы молча сидим на стульях друг против друга, внутренне готовимся к встрече с дышащим, покашливающим, притаившимся залом. Мордвинов сидит, положив ноги на соседний стул. Его глаза прикрыты. Я люблюсь своим великим партнёром. Вот он – такой родной, дорогой моему сердцу...

– Неужели же это счастье когда-нибудь закончится? – задаю себе вопрос, влюблённо разглядывая Мордвинова. – Неужели он когда-нибудь умрёт... и все закончится?

С тех пор прошло уже 35 лет. Мордвинова давно уже нет среди нас. Обеспамятевшие критики и средства массовой информации не желают вспомнить о том, что в истории русского театра был великий Мордвинов. Что именно ему Россия обязана тем, что сохранила свою душу. Мордвинов, Черкасов, Ливанов, Козловский и другие светочи русской сцены пели песню русской, православной, великой и чистой души в годы атеистического безвременья. Они явились тем духовным мостком, перекинутым от прежней России в Россию будущую. И эта грядущая Россия помянет всех, кто честно служил ей. Помянет и великого русского артиста и человека Николая Дмитриевича Мордвинова.

Андрей Первозванный Мирового кинематографа (75-летию Андрея Тарковского посвящается)

«Я грудью шёл вперёд, я жертвовал собой»

М.Ю. Лермонтов

«Один из всех, за всех, противу всех»

М.И. Цветаева

Не только лермонтовскую и цветаевскую цитаты можно поставить в эпиграф, определяющий личность и судьбу Андрея Тарковского. К Тарковскому применимы изречения многих выдающихся людей России. Ибо сам Тарковский – выдающийся художник. Это при жизни осознали окружающие. Уверен, что это было известно и ему самому. Пишу это и вижу ироническую улыбку Андрея: «Ну, ты даешь, старик! И ты в воспоминания ударился?» Да, дорогой Андрей Арсеньевич, пришло время воспоминаний... канонизации... творческого бессмертия... Обещаю тебе, Андрей, что постараюсь быть предельно искренним.

История русской культуры богата именами великих художников. Так было, есть и будет. «Нет пророков в отечестве своём» – утверждает Библия. Утверждение, верное лишь на половину, касающееся неприятия, официального непонимание «пророков» власть имущими. История говорит о том, что есть пророки в отечестве, есть подвижники, есть нравственные, духовные маяки, есть люди, грудью идущие вперёд, жертвующие собой во имя истины. Пророком быть больно и трудно, смертельно трудно... Но только пророк, мужественно несущий свой крест, совершающий на глазах всего народа восхождение на свою Голгофу, может в душевном восторге, непонятном обывателю, воскликнуть: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю!»

Андрей Тарковский был таким пророком в кинематографе. Это было ясно нам, трудившимся вместе с ним, это было ясно всему кинематографическому отряду страны, это было ясно и тем, кто тормозил его свободную творческую поступь.

* * *

Не случайно даётся человеку имя. Не случайно он был назван *Андреем*. Он был и останется Андреем Первозванным не только русского, но и мирового кинематографа. И не только потому, что кинематографисты-профессионалы всего мира почитают Тарковского *режиссёром № 1*. «Для того, чтобы понять, что такое режиссура, я тысячу раз прогонял на монтажном столе «Андрея Рублёва», – признавался мне знаменитый Эмир Кустурица. Перед Тарковским снимали шляпу великие – Федерико Феллини, Ингмар Бергман...

Далёкий предтеча Тарковского, великий Эсхил первым в мировой культуре, в трагедиях своих начал свидетельствовать о Боге, возводить душу своих читателей и зрителей к Богу, к высшему началу. Потом, пришли Софокл и Эврипид и начали обратный процесс, низведение Бога до человека. «Какие боги?.. Мы сами, как боги!.. А боги часто похлеще нас, смертных!..» Вместе с этим «низведением» началось угасание древнегреческой культуры и самой древнегреческой цивилизации.

Спустя столетия Тарковский, как некогда Эсхил, первым в мировом кинематографе начал возводить душу зрителя к Богу, делая это своим, доступным только Тарковскому кинематографическим языком. Именно поэтому Андрея Тарковского можно считать *Андреем Первозванным мирового кинематографа*.

* * *

Теперь – по порядку.

1960 год, ВГИК, учебная тон-студия. Стоя в тёмном зальчике перед микрофоном и глядя на экран, озвучиваю первую в жизни свою роль в дипломном фильме Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь». Дверь в коридор распахнута. Заходит какой-то человек, застывает на пороге. Лица не видно, только контуры, тень. Чувствую, что «тень» внимательно следит за моей работой. К «тени» подошёл А. Кончаловский, они о чём-то недолго, тихо побеседовали, и «тень» исчезла.

– Кто это? – спросил я Кончаловского.

– Это мой друг, Андрей Тарковский.

Имя мне ни о чем не говорило.

Спустя несколько месяцев мне позвонил Андрей Кончаловский:

– Читай рассказ Ю. Богомолова «Иван». Андрей Тарковский хочет попробовать тебя на главную роль.

Первая встреча. Любовь с первого взгляда. Красивый, сильный, твёрдо знающий, чего он хочет, элегантный, строгий и добрый, легко снимающий напряжение лёгким юмором. Абсолютный центр всего коллектива, пользующийся всеобщим уважением. Тарковский показался мне очень солидным и взрослым, благодаря своей внутренней, духовной мощи. А был он всего на четырнадцать лет старше меня: ему только что исполнилось 28 лет.

До Тарковского рассказ «Иван» экранизировал другой режиссёр, который не справился с этой работой. Производство фильма было остановлено. Завалившего работу постановщика заменили выпускником ВГИКа Андреем Тарковским. Он начал дело с нуля: переписал заново сценарий, заменил всех актёров. В наследство от прежней картины осталось несколько толстенных альбомов с фотографиями сотен претендентов на роль Ивана. Видимо для того, чтобы укрепить во мне чувство ответственности, Тарковский дал мне посмотреть эти альбомы. После чего я крепко засомневался, что у меня есть шанс быть утверждённым на главную роль. Режиссёр неотступно был рядом. Он сам выбирал для меня одежды в костюмерной: рвал на мне рубахи, дырявил ватники, пачкал о стенку, «фактурил» штаны. Он часами сидел подле меня в гримёрной, отыскивая нужный облик: заставил перекрасить волосы в пшеничный цвет, оттопырил уши, подтягивал вверх нос, заставлял рисовать на моём лице веснушки, ссадины, царапины...

Такого количества кинопроб у меня больше не было ни на одну роль. Тарковский пробовал меня в различных сценах с различными партнёрами. Уже на пробах он объявил, что в картине у меня самая трудная сцена – «игра в войну».

– У Андрона в фильме ты плакал от лука... Здесь ты должен будешь заплакать по-настоящему, прямо перед камерой...

– К началу съёмки ты обязательно должен похудеть...

– Актёр должен уметь всё! Должен разрыхлять свою душу... свои чувства...

Ассистенты Тарковского снабжали меня книгами об ужасах войны, явно по его указанию. Особенно врезалась в память страшная книга «СС в действии». Тарковский готовил меня, 14-летнего пацана, к роли, внушая предельно серьёзное отношение к работе. Он рассказывал о том, как работают крупнейшие актёры...

Съёмки «Иванова детства» мы начали в киноэкспедиции в городе Каневе. Жили в современной гостинице на высоком берегу Днепра, воздвигнутой по указанию Н.С. Хрущёва, продуваемой в осенние ненастья всеми ветрами. Над гостиницей, на самой вершине горы был похоронен Т.Г. Шевченко.

Как часто водится в кино, в первый съёмочный день снимали заключительные кадры фильма: «последний сон Ивана», игру с детьми в прятки подле вкопанного в песчаную днепровскую косу уродливого чёрного обгорелого дерева. Работа началась с лёгкой сцены в тёплый солнечный осенний день. И режиссёр, и вся труппа трудились в купальных костюмах. Каждый, улучив свободное мгновение, с наслаждением плескался в ласковом Днепре. С юмором, весело, легко отсняли за день довольно большой метраж, в том числе сцену с матерью Ивана, роль которой исполняла обаятельная и нежная Ирина Тарковская, жена режиссёра.

– Мама, там кукушка...

И заброшенное лицо убитой матери... Медленно, как во сне, льющаяся на распластанную на песке фигуру, выплеснутая вода, Тарковский сам зачерпывал из Днепра ведром воду, командовал оператору В.И. Юсову: «Мотор», – и с удовольствием, «художественно», окатывал жену водой, сопровождая этот важный процесс своими неизменными шутками, веселящими всю группу.

Так же легко и радостно, как начали, мы проработали всю физически нелегкую картину. Никто из нас не подозревал, что наша картина будет увенчана десятками международных наград, станет киноклассикой, войдёт в историю мирового кинематографа. Интересно: предчувствовал ли самый главный её создатель грядущую судьбу своего первого фильма?

Так же радостно, как работали, мы проводили свободное время. Особенно весело и празднично отмечали приезд из Москвы друга и соавтора Тарковского, Андрея Кончаловского, «Андрона»...

Он привозил с собой новые песни друзей: Гены Шпаликова и Володи Высоцкого, известного тогда лишь узкому кругу приятелей. В уютном номере Тарковских, при свечах, допоздна звучали озорные песни:

«Ах, утону ль я в Западной Двине...», «У лошади была грудная жаба...», «Что за жизнь с пиротехником...», «Там конфеты мятные, птичье молоко...», «А тот, что раньше с нею был...». Ласковая, улыбающаяся хозяйка номера, Ирина Тарковская, умиротворённый, весёлый хозяин... Андрон и Андрей пели по очереди, дуэтом, озорно, с наслаждением. Им подпевали остальные:

...Из бизона я сошью себе штаны.

Мне штаны для путешествия нужны...

Иллюминированная огнями, наша каневская гостиница словно корабль плыла над засыпающим Днепром, под необозримым звёздным океаном. Тихие украинские ночи часто оглашались весёлым пением, смехом, звуками гитары, играющей в номере Тарковских...

А наутро вся группа во главе с режиссёром загружалась в старенький пузатый автобус, который, притормаживая, сползал с Тарасовой горы и вёз нас на различные точки близлежащей природы, выбранной Тарковским с Юсовым. Почти каждое утро в автобусе, глядя на меня, Андрей говорил:

– Ты худеть-то собираешься? Во, будку отрастил... Разве скажешь, что мальчик из концлагеря?.. Умоляю, кормите его поменьше, – обращался он к моей матери.

Потом на протяжении всего дня шла напряжённая работа. Режиссёр требовал

абсолютной собранности, настроенности на каждый кадр, полной самоотдачи. Он показывал мне, как бы он произнёс тот или иной текст, не позволял фальшивить, шлифовал интонации, показывал пластический рисунок поведения в кадре. Редко хвалил за результат, поэтому, когда он, довольный, улыбался и говорил: «Молодец», «отличник», «то, – что доктор прописал!» – я был на седьмом небе. Я любил своего режиссёра преданной детской любовью, можно сказать, боготворил, как старшего брата, как идеал сильного, красивого, мудрого и остроумного, всемогущего человека.

Думаю, не одному мне было физически тяжело в картинах Тарковского. Он добивался полной правды, а не игры. У него приходилось играть сцены, лежа в холодной мартовской грязи, ползая в холодных осенних болотах, иногда проваливаясь по горло, в одежде и ботинках переплывать студёный ноябрьский Днепр... И всё же работа с Тарковским вспоминается как увлекательнейшее, счастливое путешествие под руководством озорного, остроумного человека. Его юмор снимал напряжение, завораживал окружающих, облегчал физические трудности. Всё существо Тарковского говорило о том, что он сотворён из особого теста. Между ним и остальными сохранялась невольная дистанция, хотя в нём не было высокомерия, он был контактен и находил общий язык с любым членом группы. Как ни в ком другом, в нём ощущалась громадная амплитуда эмоциональных колебаний, психическая подвижность, многогранность высоко одаренной натуры. Отдельные грани его личности были подчас жёстки, остры, могли ранить ближнего. Его мировоззренческая независимость, бескомпромиссность, безоглядная уверенность в своей правоте подчас воспринималась окружающими как крайняя степень эгоцентризма. Он безжалостно ниспровергал общепринятые художественные авторитеты, критиковал то, что считалось достижениями искусства. Казалось, ничто не удовлетворяло его в современном советском кинематографе. Помню его положительные, иногда восхищённые суждения лишь о Довженко и Барнете. Среди европейских кинорежиссёров он с уважением говорил лишь о Бергмане, Брессоне, Бунюэле, Феллини, Виго.

Замкнутость, медитативное сосредоточение, как бы отсутствие в данном измерении, резко сменялось радостным приятием всей окружающей жизни, искромётным острым юмором. Иногда на глазах всей группы он мило озорничал, проказничал словно ребенок. Что лишь усиливало его авторитет уравновешивая отчуждённость художника человеческой простотой и доступностью.

Однажды оператор В. Юсов, второй непререкаемый авторитет в группе, коварно подшутил надо мною. Для предохранения от болотной воды, кажется, по его же совету, актёрам изготовили полиэтиленовые костюмы, защищавшие ноги и грудь. Через пять минут после погружения в болото эти «предохранительные» костюмы наполнились холодной водой, и всю оставшуюся часть рабочего дня приходилось терпеть болотный дискомфорт. К концу съёмки от холода стучали зубы. Видя, что работа идёт к концу, оператор посоветовал мне:

– А ты попирай в штаны – будет теплее. Мы так в армии согревались.

Абсолютно доверяя серьёзному и уважаемому Вадиму Ивановичу, я исполнил его совет:

– Ну как? – через некоторое время спросил оператор, – теплее?

– Да нет... Вроде так же холодно...

Узнав о проделке оператора, Тарковский отреагировал неоднозначно: он и посмеялся трагикомической ситуации, правда сдержанно, не афишируя происшествия, но и с состраданием глядел на меня. Копошась в болотной тине, стуча зубами от холода, я сам смеялся над своим положением и над шуткой любимого оператора. Тарковский приказал извлечь меня на берег, переодеть – и закончил съёмку.

Как говорилось выше, Тарковский с самого начала, с кинопроб начал морально подготавливать меня к «самой трудной сцене в фильме», к «игре в войну». Когда Иван, глядя на шинель, висющую на стене, представляет, будто это фашист, убивший мать, начинает плакать и сквозь слёзы судить «убийцу». Тарковский рассказал мне, что Жан Габен, вживаясь в роль, иногда даже живёт в декорации. Жить в декорации я не мог, но в долгожданный день съёмки «игры в войну» пришёл в павильон за несколько часов до всей группы. Настраиваясь на предстоящую сцену, сосредоточенно оделся, загризировался,

старался ни с кем не вступать в контакт. Пока никого не было, бегал по пустой декорации, «накачивал» состояние. Когда незаметно появилась группа, бегал по отдалённым от них закуткам. И вот уже все готово к съёмке, ждут только меня... Чувствую это и прихожу в панику, потому что плакать мне не хочется совершенно. «Актёр должен уметь всё!» А я не умею... не могу заплакать... Злюсь на себя. Обессиленный мечусь по декорации. Нахожусь на грани потери сознания, истерики, но «сухой», бесслёзной...

А Тарковский не подходит, издали наблюдает за моими действиями. И вот, когда струна натянулась до предела, он внезапно направился ко мне и... начал утешать: «Коленька, миленький, да что ж ты так мучаешься? Ну, хочешь, я отменю эту съёмку? Бедный ты мой...»

От его утешения, от благодарности к нему и жалости к себе меня словно прорвало, слёзы потекли сами собой.

Тонкий психолог, Андрей Тарковский добился своей цели. Он немедленно привёл меня к камере и снял сцену.

Всё шло своим чередом: время создания «Иванова детства» протекало. Кажется, у картины были трудности с прохождением киноинстанций. Мы стали видаться с Тарковским на многочисленных премьерных фильмах, пожиная первые лавры зрительского признания. А потом, осенью 1962 года «Иваново детство» и его создатель были посланы на международный кинофестиваль в Венецию. Спустя несколько дней после отъезда Тарковского в Италию, проходя по улице, я остановился у газетного стенда. Под фотографией, запечатлевшей счастливых, элегантно в чёрных смокингах Андрона Кончаловского (А. Кончаловский получил главную награду за лучший короткометражный фильм «Мальчик и голубь») и Андрея Тарковского, прижимавших к груди свои призы (крылатые венецианские львы золотого и бронзового достоинства), красовалась эффектная надпись: «Венецианские львы едут в Москву».

Так начиналось всемирное признание «Иванова детства» и его создателя, что не облегчило дальнейшей судьбы режиссёра.

Возвратившись из Венеции, Тарковский поздравил меня с успехом:

– Итальянские газеты называли тебя именинником фестиваля. Два «льва»!.. Можешь зверинец открывать.

На вопрос, что он думает снимать, ответил:

– Пишем с Андроном сценарий об иконописце Андрее Рублёве. Есть роль для тебя...

Спустя четверть века, в 1987 году, через несколько месяцев после ухода Тарковского из жизни, актриса Валентина Малявина рассказывала мне то, что утаил от меня Андрей.

– Когда нам в Венеции объявили о победе фильма, Андрей от счастья в зале целовал твою фотографию...

Как жаль, что о подлинных проявлениях сердечности наших ближних мы узнаём иногда слишком поздно. Мне жаль, что эта добрая деталь была скрыта от меня четверть века назад. Тогда, осенью 1962 года, мой любимый режиссёр с характерной для него сдержанностью в общих чертах описал венецианские новости, и... мы простились почти на два года.

* * *

В 1964 году, когда мне казалось, что Тарковский уже совсем забыл обо мне, раздался телефонный звонок.

– Говорит ассистент режиссера из группы «Андрей Рублёв». Андрей Арсеньевич хочет, чтобы вы сыграли роль Фомы. Когда вам передать сценарий?

Сценарий я проглотил на одном дыхании. Ученик Андрея Рублёва Фома мне не понравился совершенно, проскользнул мимо глаз бледной тенью, не затронув сердца. Зато последняя новелла «Колокол» ошеломила простотой и мощью финального аккорда, гимном непобедимой духовной мощи России. Образ литейщика колоколов Бориски вышел для меня на первый план, затмив все остальное. Вот бы кого сыграть! Но Тарковский целенаправленно ориентировал меня на Фому.

Я через силу, думаю, что бледно, попробовался на «бледного Фому» и, наконец, решился заговорить с режиссёром о Бориске.

– Нет, – ответил Тарковский, – ты молод для этой роли. Бориску будет играть тридцатилетний человек, поэт...

– Но ведь гораздо интереснее, когда колокол по интуиции отольёт юный отрок, чем поживший тридцатилетний человек...

– Ты ничего не понимаешь, – отрезал Тарковский. – Тебе, что, не нравится Фома?

– Не нравится.

На Бориску пробовать меня Тарковский категорически отказался. На том и закончился наш разговор. Но я не хотел отступать. Начал искать пути воздействия на него. Не слушал меня, может быть, слушает других. Попробовал убедить оператора В.И. Юсова, консультанта картины С.В. Ямщикова, которым Тарковский вполне доверял. Они встали на мою сторону, и режиссёр сдался, устроил мне кинопробу, «только бы отвязаться»... В процессе этой пробы, на глазах, Тарковский всё более увлекался идеей омоложения Бориски, становился всё более заинтересованным, увлечённым и в конце концов утвердил меня на эту роль.

Так случилось, что параллельно с «Рублёвым» я был утверждён на главную роль в фильме «Мальчик и девочка». С большим скрипом, Тарковский согласился на моё «раздвоение» и только потому, что сниматься мне было предложено в фильме его друга-однокурсника Юлия Файта. И всё же он был постоянно недоволен моими отлучками. Ведь одним из главных требований Тарковского было, чтобы его актёры целиком и полностью принадлежали только его картине, чтобы никто не выходил из его магического круга, из таинства творческого процесса.

В один из моих приездов в киноэкспедицию «Рублёва» во Владимир расстроенный Анатолий Солоницын сообщил мне, что с «Андреем Арсеньевичем неладит». Анатолий преданно любил Тарковского, близко к сердцу принимал всё происходящее с ним.

Впрочем, эти «нелады» были настолько очевидны, что сразу же бросились мне в глаза, едва я переступил порог номера Тарковского. Хозяин был осунувшимся, нервным, раздражённым и одновременно растерянным, словно провинившийся ребенок. Нельзя было не отметить и то, с каким победоносным, гордым видом, со странным блеском в глазах и иронической улыбкой ходила по номеру ассистентка по реквизиту Лариса. Подчеркнуто вежливые и вместе с тем игриво-властные интонации её голоса... говорили о многом.

В день моего приезда мы ужинали вдвоём с Андреем в малолюдном ресторане гостиницы. Тарковский был сам не свой, таким я его никогда прежде не видел. Он был в смятении, в крайней степени внутреннего беспокойства, раздражения. Он напоминал кролика влекомого в пасть удава. Он заказал большой графин водки и на моих глазах, целенаправленно довёл себя до невменяемого состояния. По мере возрастания степени опьянения ярость его усиливалась. Он поносил неизвестную особу последними словами. Наконец, с криком: «Сука!..» – саданул кулаком по столу, расколол тарелку, глубоко порезал ладонь. Кровь полилась на скатерть. Перевязав рану, я подхватил Андрея и отвёл его в номер, где он был взят под опеку услужливой ассистенткой.

В эти дни личная жизнь Тарковского ломалась, круто менялась. Многие его близкие тяжело переносили этот слом, не могли внутренне согласиться с происходящим. Считали, что с ним, как с ребёнком, разыгрывают дурную шутку, что это ненадолго, что он прозреет, что вот приедет его Ирина, всё будет как прежде. Но «как прежде» уже никогда не было. Судьба распорядилась иначе... А судьба людским судьбам и отношениям, как говорится, один лишь Бог. Андрея уводили от тех, кто его по-настоящему любил. Даже свою мать и сестру он не видел около трёх лет.

* * *

Согласно тяжёлым производственным планам, работа над «Рублёвым» неостановимо шла своим чередом. Стиль работы режиссёра оставался неизменным: на площадке царил его легкий юмор, не отменявший предельной требовательности к каждому члену группы. Помню, как каждодневно он «школил», воспитывал новичка в кино,

худенького помощника режиссера Сашу Мстиславского, на глазах превращая его в профессионала. Сложнейшая работа по воссозданию правды далёкого «Рублёвского» времени ладилась неторопливо и размеренно благодаря внутреннему покою, фундаментальности неизменного оператора Тарковского, Вадима Ивановича Юсова, уравновешивающего взрывную импульсивность режиссёра.

Мне казалось, что Тарковский совершенно не работает со мной, не объясняет, не репетирует, довольствуясь тем, что «само собой» получается перед камерой. Однажды, когда мне предстояла сложная сцена, Андрей, словно ребёнок, баловался с детской резиновой клизмой, приспособленной операторами для продувания соринки в камере. Он вдвух шипящую струю воздуха в уши окружающих актёров и ассистентов и хохотал. Я счёл необходимым прервать это баловство:

– Кончай смеяться!.. Лучше помоги мне. Расскажи что-нибудь... Мне же играть трудный кусок. Давай, работай со мной...

Продолжая игру, Тарковский сказал:

– А ты знаешь, что ответил Рэне Клер журналисту, когда тот задал ему вопрос «как вы работаете с актёрами»? Он сказал: «Я с ними не работаю. Я им плачу деньги». Ты артист? Тебе платят твои сто рублей, вот и давай, играй...

И мгновенно сменив шутливый тон на серьёзный, Тарковский подошёл ко мне вплотную и тихо, почти на ухо начал что-то говорить, помогая войти в нужное состояние.

Некоторые из актёров, снимавшихся у Тарковского, говорили, что он не работает с актёрами. Было время, когда и я так считал. Но теперь, видя «Иваново детство» и «Андрея Рублёва», в каждом кадре, в каждом движении моих героев Ивана и Бориски, в том, как они говорят, смотрят, двигаются, во многих моих интонациях и жестах я вижу Андрея Тарковского. Ибо личность его была настолько сильной и пронзительной, что даже, если он молча смотрел на тебя и ничего не произносил, само его существо диктовало русло, по которому актёру следовало плыть.

Он с увлечением, азартом рассказывал о своих придумках:

– Князь рубанёт саблей, человек упадёт и вот отсюда, из шеи у него будет пульсировать кровь... Я придумал, как это снять... Это – «сыр... рокфор»! («сыр, рокфор» обозначал у Андрея высшую степень качества).

В картинах Тарковского довольно много кровавых, жестоких сцен. Многие упрекали его за это. Я сам не мог долго простить ему лошади, взятой с живодёрни и зарезанной прямо в кадре. Однако жестокость никогда не была для Тарковского самоцелью, но необходимым средством для выражения высоких духовных, мировоззренческих, философских задач. Над житейской жестокостью и злом в картинах Тарковского всегда воспаряет душа его героев, душа автора, неустанно искавшего истину и гармонический идеал. Его творчество всегда позитивно.

И на «Рублёве» не обошлось без физически мучительных для исполнителей сцен. Поздняя осень, время сносных заморозков и первого снежка. Тарковский и вся группа утеплились добротными овчинными полушубками. Режиссёр командует: «Мотор, начали!» Под холодным проливным дождем, полосующим по кадру несколькими брансбойтами, Бориска понуро идет вдоль обрыва, поддевает ногой камень. Вместе с камнем с обрыва падает и его лапоть. Бориска хочет его достать, но оступает и летит с обрыва вниз. Снимали, естественно, без репетиции. Прямо в дубле, своей шкуркой я пересчитал все бугорки, камни, корни, пни, пролетел сквозь огромный куст. В глазах темно от боли и холода, из рукава сочится кровь, но надо доиграть сцену, и пока Тарковский не крикнет «стоп», барахтаться в грязи и радостно кричать: «Глина!!! Нашел!!!»

Наконец режиссёр кричит: «Стоп, хорошо!... Коленька!... Милый, ещё дубль». Холодно, больно, грязно, мокро – проклинаю все на свете, в том числе и Тарковского: «вон он, рассказывает надо мною в овчине... Ему бы так!..» Однако «актёр должен уметь и мочь всё!» Об отказе не может быть и речи. Дубль – значит дубль. Хоть умри. Но тут оказалось, что костюмеры оставили на базе второй комплект моей одежды. Стаскивают с меня глиняную рубаху и портки, прополаскивают тут же в речке, отжимают, подгревают на осветительном приборе, снова облачают в дымящиеся одежды, бросают

сверху канат, вытягивают на исходную позицию. Подходит виноватый Андрей:

– Ну, как ты, живой?.. Ещё разок сможешь?

– Конечно, смогу, – отвечаю я бодро.

В коем-то веке, Тарковский просит так умоляюще, да и глаза всей группы обращены на меня... Невольно чувствуешь себя героем.

И вот ещё дубль, и ещё, и ещё...

После съёмки в избе, натопленной по приказу Тарковского, он лично готов был мыть мне ноги, обтирать спиртом... Да, ради того, чтобы увидеть дорогого моего Андрея таким нежным, добрым, заботливым, стоило пострадать. Анатолий Солоницын подчитывал ранения на моем теле: их было более двадцати. Как было тепло в тот вечер в деревянной избе, среди дорогих моему сердцу людей. Уверен, скажи тогда Андрей: «Старичок, нужно еще разок», – я не раздумывая полетел бы с обрыва.

После «Рублёва» наши отношения значительно окрепли, может быть потому, что прошли испытание временем, потому что и я уже был не ребёнок, 19 лет. Он неизменно приглашал меня на все премьеры.

Каждую новую встречу с Тарковским я принимал как подарок судьбы.

Из дневника

7 февраля 1967 года

Вчера на студии встретил Андрея. Он был уставший, и я больной. Я сказал, что хочу с ним поговорить, он с радостью согласился. Отправились в творческий буфет, взяли пива. Я сказал Андрею, что он должен работать со мной, снимать меня. Он принял это хорошо.

– Если дадут ставить «Подростка», главная роль – твоя... А потом, может быть, и «Идиота» удастся пробить...

Увёз Андрея к себе домой, «на часок». Этот «часок» длился с часу дня до семи вечера. Андрей много говорил о том, что «художник должен быть нищим»... Говорил обо мне, о том, чтобы я с ним всегда советовался, что я ему очень дорог и т.д. Говорил о том, что сейчас он хочет снимать фильм о матери... Сказал, что «уровень современного кинематографа настолько низок, что очень просто подняться над ним, не только у нас, но и в мире. Говорил, что «стоит только уразуметь», что ты из всего этого скопища «профессионалов» самый одарённый; почувствовать это, и ты будешь делать большие вещи...

– А я знаю, кто я такой. И ты это знай! – говорил Андрей.

Приехал Савва Ямщиков и пригласил нас к себе. У Савелия, кроме прочих, были люди, к которым я испытываю нежные чувства: Юсов, Маша Вертинская... Лена Шестакович спросила меня:

– А ты безумно влюблён в Тарковского, да?

– А это заметно? – спросил я.

– Очень.

– Да, – ответил я.

Да, я люблю Андрея. Вижу все его «ужасные» черты характера и люблю его, иногда мне кажется, что самозабвенно (т.е. забывая о себе). Я хочу всё время делать ему приятное, видаться с ним чаще, обнять его крепко, по-мужски.

Андрей много говорил со мной вчера, за эти 15 часов, проведённых вместе. Показывал приказ Госкино с требованием вырезать 7 сцен – гордость картины. Андрей этого не делает. Он просил присутствующих писать как можно больше писем в Госкино – «спасать фильм».

Перед поездкой к Савелию Андрей пригласил меня с собой в дом человека, который, в силу своего положения, видимо, может защитить «Рублёва». Два часа прошли во взаимных любезностях... Едва мы вышли из дверей подъезда на улицу, Андрей сказал:

– Он же всё врёт... Он же палец о палец не ударит...

Мы долго молчали. Видя душевное состояние Андрея, я не решился заговорить первым. Он сам прервал молчание, сказал, что у него много друзей, но «ты мне самый дорогой, самый близкий человек».

И не раз потом на протяжении всего вечера он то и дело говорил мне об этом. Это было впервые за всю историю наших отношений и потому так дорого для меня.

Когда мы ехали в такси, Андрей спал. Его голова покоилась на моих коленях. Я левой рукой «освобождал» его наэлектризованную, уставшую, поседевшую голову. И думал: «Какой же стал старый, Андрей... Скоро тебе – 35!»

19 февраля 1969 года

Вчера состоялась премьера «Андрея Рублёва» в Доме кино. После почти трёх лет лежания на полке (неизвестно за что?) фильм предстал перед ошеломлённой московской аудиторией. Видел картину в четвёртый раз. Теперь фильм мне понравился меньше, и я сам от себя не в восторге. После картины – банкет в складчину. Сидели с Саввой далеко от Андрея. Предложил тост за Тарковского; крикнул через весь зал: «Андрей...» Он тут же оглянулся и встал. «За тебя!» – весь наш стол поднялся и крикнули «ура!». Через пять минут Андрей встал и, сложив руки рупором, крикнул: «Пьём за Толю Солоницына и Колю Бурляева!» Потом я подошёл к столу Андрея и там произнес тост за него. В завершении сказал Андрею: «А теперь прощай еще на два года...»

29 марта 1969 года

«Сегодня возвратились из Ленинграда, куда ездили с Андреем и Т.Г. Огородниковой на премьеру «Рублёва».

Утром перед вылетом в Ленинград заехал за Андреем. Он ещё делал зарядку – «тянул резину». Я с радостью отметил тот факт, что тело он держит в хорошем, здоровом состоянии и не расслабляется от неудач. Накануне мы говорили с ним у него же дома. Я читал ему свои стихи, он мне свои... Говорили обо мне, о нём, о наших отношениях друг к другу. Я сказал ему, что актёрство меня не удовлетворяет, что хочу стать режиссёром. Он, как всегда, стал разбивать эту мою идею; говоря: «Ты прекрасный актёр, и занимайся своим делом, а какой ты режиссёр, это ещё неизвестно. Да и потом, это не так просто... Я положил на это жизнь, сделал две картины, ещё сделаю две... и всё!.. И я это понимаю. Я шёл на это...» Я надел у Андрея его пиджак, поскольку мой совсем стал плох. Несколько раз Андрей ставил одну и ту же вещь «Битлз» – «Жёлтую подводную лодку» – и то и дело с удовольствием подпевал:

– Та-та-та, та-та елоу сабмури, елоу сабмури, елоу сабмури...

В Ленинграде поселили в «Европейской». В Доме кино нашу картину представлял Козинцев. И в 17, и в 21 час залы были полны, столь же полным был успех. Люди, ходившие из зала, поздравляли нас, говорили много хороших слов. После просмотра я поцеловал Андрея и сказал, что «на пятый раз я понял, что ты сделал гениальный фильм». Многие лица, окружавшие нас, проплывавшие мимо, были словно после сильного шока, душевного потрясения. Многие, не решаясь подойти к нам, смотрели издали подавленно, молча, взволнованно.

Вчера перед обедом мы с Андреем, не торопясь, прогуливались по Невскому проспекту. Говорили, кажется, обо всём на свете. Он снова сказал, что обязательно поставит со мной два романа Достоевского: «Подросток» и «Идиот». Читал стихи Пастернака, Ахматовой, своего отца Арсения Александровича Тарковского, которого боготворит вдвойне: как поэта и как отца. В 17 часов нас с Андреем пригласили на обсуждение «Рублёва» с ленинградскими кинематографистами.

10 ноября 1969 года

Вчера с Ю. Файтом были у Андрея. Не виделись с ним семь месяцев (после посещения его дома 1 апреля). Посидели за ужином, шутками, гитарой и разговорами до двух часов ночи. Могу петь песни свои кому угодно, но только не Андрею: зажимаюсь, чувствую убожество мысли, собственную бездарность. Андрей поинтересовался: «Почему ты такой грустный... подавленный?» Я рассказал ему о своей драме. Он начал поднимать мне настроение, шутить, с юмором развивает теорию (Артура Макарова)

об отношении к женщине по принципу «Кто тебя отвязал? Иди, ляг на место». Андрей почти такой же, как и прежде, разве что более худой и в глазах больше тоски.

Решив поступить на режиссёрский факультет, я позвонил Тарковскому и попросил его дать мне характеристику. Он с готовностью согласился, пригласил меня к себе. Когда я приехал, необыкновенно лестная для меня характеристика была готова. Вручая мне бумагу, Андрей сказал:

– Зачем ты это делаешь? Зачем тебе режиссура, этот крест? Ты же видишь, что делают со мной... Ты – артист и оставайся артистом. Дольше проживёшь...

Долго в тот день мы сидели у него на кухне, говорили, говорили и никак не могли проститься. И снова Андрей читал стихи, открывал мне сложный, ни на кого не похожий поэтический мир своего отца. Он сам удивлялся, словно открытию, тому, что читал. Говорил, что когда-нибудь непременно использует это в своей картине.

Потом мы снова расстались на долгое время.

Однажды, будучи на Мосфильме и узнав, что Тарковский завершает работу над «Солярисом» и находится сейчас в павильоне, что там сейчас и Юсов, и Солоницын, я ринулся туда, чтобы повидать их. Всех их я застал в красивой космической декорации. Тарковский встретил меня холодно, едва кивнул головой, смотрел на меня недобрым взглядом. Не ожидая такой встречи, я прямо спросил Андрея:

– Что произошло?

Он так же прямо задал вопрос мне:

– А что ты говорил обо мне в доме у...? (он назвал какое-то имя).

Выяснилось, что я никогда не бывал в названном доме и вовсе незнаком с тем человеком, которому якобы что-то говорил. Теперь обиделся я:

– Как же ты мог в это поверить?

Тарковский извинился. Мы «помирились». Инцидент был исчерпан.

*Вползает клевета – и в сердце бьёт:
Шипит и жалит, веру убивает,
Смуцует любящих, друзей разъединяет,
Отец на сына, брат на брата восстаёт...*

Клевета... Сплетня... Кто из живущих избежал их ядовитого жала? Со временем клевета не помиловала и Тарковского, ибо с особым старанием она чернит имена звучные, ибо уши человеческие, как с грустью отмечал Н.К. Рерих, всегда открыты сплетням. Лично я с той поры повысил бдительность ко всем злым слухам.

В последние годы наши встречи стали ещё более редкими и случайными. На выставке древнерусской живописи, организованной С. Ямщиковым. В компании наших общих знакомых, в коридорах Мосфильма, где видел Андрея, ужинавшего в компании Анджее Вайды, Беаты Тышкевич, Гены Шпаликова и Ларисы Шепитько, и снова там же, с Биби Андерсон.

Помню, как после премьеры дорогой для меня картины «Игрок» по роману Достоевского, я увидел Тарковского среди потока зрителей, спускающихся по лестнице Дома кино. Он был угрюм, желваки играли на его скулах. Как мне хотелось, чтобы он отыскал меня глазами, подошёл, поздравил с премьерой, высказал свое суждение о фильме, о моей работе... Но Тарковский не собирался никого разыскивать, молча брёл погружённый в себя. Мое праздничное настроение мгновенно испортилось. Я внутренне корил Андрея за чёрствость, равнодушие, высокомерное наплевательство на тех, кто его по-настоящему любит. Я был обижен, хотя абсолютно понимал Тарковского: он не любил бывать в Доме кино, считал его «элитарно-нечистым, лживым местом», где «тебе улыбнутся в глаза, а за глаза обольют грязью». Я понимал Тарковского, потому что и сам в этих стенах облачался в броню отчуждения. А может быть, ему просто не понравилась картина? – Ему редко что нравилось... И всё же мне так хотелось, чтобы он подошёл ко мне, ибо его мнение, любое, хоть самое резкое было для меня особенно важным.

Тарковский завершил работу над «Солярисом». Вместе с первыми зрителями я смотрел картину в переполненном мосфильмовском зале. Картина ошеломила, держала в своей магической атмосфере от первого до последнего кадра. Мне казалось,

что это самый лучший, самый человечный, сердечный фильм космического Тарковского.

Последняя самая памятная встреча произошла незадолго перед отъездом Тарковского в Италию на съемки «Ностальгии». Недалеко от Мосфильма мы неожиданно столкнулись с В.И. Юсовым. Мы давно не виделись и были рады встрече. Зашли в ближайшее кафе. В разговоре выяснилось, что ни он, ни я не встречались с Тарковским одинаково долгий отрезок времени. И это при том, что Юсов и Тарковский живут в одном доме. После нескольких рюмок у нас обоих появилось желание – немедленно, без предупреждения нагрянуть домой к Андрею, как снег на голову. Что мы немедленно и исполнили.

Тарковский сам открыл нам дверь, не удивился нашему появлению, словно и не бывало прожитых порознь лет. Мы провели несколько часов и расстались далеко за полночь. Сидели за столом под абажуром, говорили, стараясь соединить разорванные связи, преодолеть неизвестно как образовавшуюся между нами пропасть. Почему так случилось? Ведь нас объединяет то, что навсегда прилепило нас друг к другу: дорогая для каждого из нас совместная работа, наша искренняя любовь друг к другу...

Никогда я не видел Тарковского таким, как в тот вечер. Казалось, что жизнь довела его до последней степени терпения. Он ругал буквально всё и вся вокруг. Досталось и нам с Юсовым: ему – за то, что он пишет сценарии, мне – за то, что я стал режиссёром, что пишу стихи. Тарковский говорил, что только в его картинах мы могли по-настоящему творить: Юсов, как оператор, а я, как актёр. Может быть, в его словах была абсолютная истина, но я не мог согласиться с ним и, кажется впервые решил возразить ему: «Андрей, не нужно обрубать крылья своим близким...»

Это был вечер откровений, последний вечер в нашей жизни. Мы простились, крепко обнявшись, сердечно и нежно. Я не знал, что прощаюсь с Тарковским навсегда.

Некоторые обвиняют Андрея Тарковского в том, что он не возвратился на Родину. Уверен, что в его невозвращении – не его вина. Никогда Тарковский не был диссидентом, носящим в кармане кукиш. Он никогда не играл в эти недостойные художника игры. Он шёл вперёд грудью, нёс свой жизненный крест. Мужественно, стойко, бескомпромиссно исповедовался в своих картинах. Он пел свою песню, говорил свою правду, но не во имя своего благополучия, которого у него никогда не было, а во имя Истины и Искусства. Попробуйте прожить такую жизнь!..

Одной из главных тем, которой Тарковский непременно касался в общении с близкими, – это тема Родины. Он любил Россию и часто говорил:

– Как бы тяжело ни было, нужно работать и жить именно здесь и только здесь – в России.

Марина Арсеньевна Тарковская рассказывала мне, что перед отъездом в Италию брат говорил ей: «Они меня отсюда не выпихнут!»

Вадим Юсов и Глеб Панфилов, в разное время, встречавшиеся с Тарковским в Италии незадолго до его трагического исхода, говорили мне одно и то же: «Тарковскому невыносимо без Родины, он хочет вернуться, «мечтает о своём домике под Рязанью»...»

Уверен, что именно этот трагический надлом – плотью там, душою в России – и приблизил печальный финал.

Последняя картина Тарковского «Жертвоприношение», созданная на зарубежной почве, картина – русского художника. Она полна русского гуманизма, сострадания, целомудрия, веры...

Послесловие

В июле 1990 года мне довелось посетить последний приют Андрея Тарковского: провинциальное православное кладбище в местечке Сен-Женевьев дю Буа, под Парижем. Бредя по погосту, упокоившему останки многих замечательных сынов России: героев белой гвардии, писателей Бунина и Шмелёва, я с большим трудом нашёл могилу Андрея на окраине кладбища... Несколько цветных горшков с засохшими растениями, шатающийся простой деревянный крест, подпёртый у

основания воткнутыми в землю камнями, малюсенькая металлическая табличка со стёртыми, едва различимыми латинскими буквами – именем усопшего. Сбоку крохотная скамеечка на тонких, качающихся ножках, чахлый, низкорослый куст в изголовье, не дающий тени, нещадно выжигающее землю и могильные плиты июльское солнце... Всё зыбко, тесно, случайно, чуждо, несправедливо. Вспомнились последние слова Андрея в России: «Они меня отсюда не выпихнут!..» Выпихнули... Всем существом любивший свое Отечество, Тарковский, вопреки воле отца, сестры, всех близких Андрея, миллионов почитателей гения Художника в России, вопреки здравому смыслу и справедливости, предан чужой земле. Во имя чего? Во имя чьей мелочной выгоды?..

В начале 1970-х, снимая в Ялте эпизоды «Соляриса» и бредя по приморской набережной в окружении героев своего фильма, Андрей задумчиво произнёс: «Мне нагадали, что меня погубит женщина...» И вдруг, обернувшись к своей жене, спросил: «Уж не вы ли, Лариса Павловна?..»

Несмотря на всю мощь своей одержимой творческой натуры, на не сломленную до конца дней бескомпромиссность в искусстве, в жизни Андрей Тарковский был человеком, поддающимся внушению, влиянию ближайшего своего окружения. Близкие друзья Андрея Тарковского могут привести много тому подтверждений. Чего стоит один «каннский инцидент»: ложь о «неблаговидной роли С.Ф. Бондарчука в судьбе Тарковского», распространённая в средствах массовой информации грязной (иначе не назывёшь) столичной кинокритикой, внушавшей читателям, что Бондарчук, являвшийся членом жюри каннского кинофестиваля, не позволил присудить приз «Ностальгии».

Известно, что именно С.Ф. Бондарчук протянул Тарковскому руку помощи в труднейшее для Андрея время, пригласив его ставить фильм в своём объединении. Оба выдающихся мастера уважали друг друга и даже намеревались снимать совместный фильм, но Тарковскому «нашептали» на Бондарчука, и их затея не состоялась. Правду о «каннском инциденте» мне довелось узнать во Франции от Отара Иосселиани, непосредственного свидетеля той истории. Иосселиани, в разговоре с одним из членов тогдашнего жюри, спросил: «Правда ли, что Бондарчук протестовал против присуждения «Ностальгии» премии?» На что член жюри ответил: «О «Ностальгии» Бондарчук не проронил ни слова. Если бы он что-либо сказал против фильма, это лило бы воду на мельницу Тарковского». Иосселиани рассказал об этом Андрею. Тот задумался, потом обратился к своему «окружению», произнёс: «Вот видите... у Отара иная информация...» На что «окружение» стало яростно убеждать Андрея в том, что «Бондарчук послан Госкино специально, чтобы не дать ему приза...»

Знал бы Андрей, что вскоре его «окружение» поторопится покинуть кладбище, оставив открытой его могилу. У развёрстой ямы остались московские родственники Тарковского: сын Арсений, М.А. Тарковская, её муж А.В. Гордон и представитель «Со-вэкспортфильма». Они разыскали могильщиков, но те сказали, что их рабочий день окончился, и могилу Тарковского они забросают завтра. С трудом, найдя лопаты, близкие Андрея Тарковского до конца исполнили печальный последний долг, предали останки Андрея французской земле.

После смерти Тарковского его «окружение», проживало в Париже, распоряжалось всем наследием Тарковского, немилосердно корректируя, исправляя на свой лад рукописи Андрея Арсеневича, забывая о том, что наследие великого режиссёра принадлежит не временным «хранителям», а русской культуре.

* * *

Многие близко знавшие А.А. Тарковского люди говорили о том, что он был верующим человеком. Я тоже утверждал это, хотя ничем не мог подтвердить своей убеждённости. Буду откровенным: мы никогда не говорили с Тарковским о вере, о Боге. В атеистической стране эта тема была запретной. Однако именно Андрей Тарковский в 1964 году надел мне на шею первый в моей жизни православный крестик. Я верил, что когда-нибудь найду подтверждение моей убеждённости. И это время наступило. Подтвердил сам Тарковский, после своей смерти.

Несколько лет назад, в Доме кинематографистов проводили вечер памяти Андрея Тарковского. По замыслу организаторов, актёры, игравшие в фильмах Тарковского, должны были читать фрагменты из его дневников. За кулисами мне вручили листок с напечатанным текстом. Я читал, не веря своим глазам: это было долгожданное подтверждение.

Вчитайтесь в эти слова. Это своеобразная молитва Андрея Тарковского обращённая к Богу. В этих словах – ключ к пониманию сущности великого мастера и его творчества:

«Боже! Чувствую приближение Твое, чувствую руку Твою на затылке моём, потому что хочу видеть Твой мир – каким Ты его создал, и людей Твоих, какими Ты стараешься сделать их. Люблю Тебя, Господи, и ничего не хочу от Тебя больше...

Принимаю всё Твое, и только тяжесть злости моей, грехов моих, темнота низкой души моей не дают мне быть достойным рабом Твоим, Господи!

Помоги, Господи, и прости!»

(10 февраля 1979 года)

И ещё:

«Сегодня великая надежда поселилась у меня в душе. Не знаю от чего – просто счастье. Надежда возможности счастья. С утра солнце светит в окно, но счастье не от этого. Присутствие Господа... Я Его чувствую.»

(1986 год)

Иван Герасимович Лапиков

А всегда относился с настороженностью к артистам, похожим на «артистов», играющим и в жизни роль «артистов». Иван Герасимович Лапиков был совершенно не похож на «артиста». Выглядел простым, русским, добротным деревенским мужиком, случайно забредшим в джунгли кинематографической элиты. К моменту, когда мы с ним познакомились на съёмках «Андрея Рублёва», за его плечами уже был ошеломляющий образ брата в «Председателе», с которым Лапиков ворвался в советский кинематограф. И всем без исключения было ясно, что в кино вспыхнула новая ярчайшая и самобытная планета.

Весь – от земли, от корней, весь – русская суть. Ни с кем не сравнимый и неповторимый Иван Лапиков.

И хотя в «Рублёве» у нас не было прямого партнёрства в кадре, не было общих сцен, мы замкнули между собой вольтову дугу благорасположения друг к другу, безмолвное не иссякавшее уважение от начала и до конца. Такие же отношения сердечной природной привязанности были в «рублёвские» времена и с Николаем Григорьевичем Гринько, и с Анатолием Солоницыным – тоже совершенно непохожими на «актёров». Видимо, это и роднило всех нас. Гений Тарковского предпочёл ваять свою «рублёвскую» кинофреску ликами русских мужиков, далёких от «актёрства».

Мы нечасто встречались с Иваном Герасимовичем: несколько раз на гриме, в костюмерной, в тон-студии, в буфете, на премьерных показах «Андрея Рублёва», на банкете, в коридорах «Мосфильма», «Ленфильма», в поезде «Красная стрела», в Доме кино... Я наблюдал за Лапиковым, за его отстранённостью от этого киномира, сосредоточенностью на чём-то своём, сокровенном, вглядывался в его «публичное одиночество» – скромное, неброское пребывание со своей сердечной тайной, со своей правдой на этой ярмарке кинематографического тщеславия, где окружающие из кожи лезли вон, чтобы хоть как-то выделиться.

У нас никогда не было доверительных, душевных бесед. Он не рассказывал мне историю своей жизни, всегда оставаясь для меня загадочной русской душой. Великим и неповторимым русским артистом Иваном Герасимовичем Лапиковым.

Быть первым на Руси – тяжёлый крест

Бондарчук...

Произнесёшь эту фамилию и сознание мгновенно рисует образ кинематографического исполина: всегда красивого и элегантного, окружённого недосыгаемым ореолом избранника, баловня судьбы, казалось, рождённого для жизни на творческом и общественном Олимпе. Безусловный вожак, лидер, авторитет кинематографической стаи. Открывающий любые двери, народный, лауреат, депутат Верховного Совета, герой соцтруда, профессор, оscarоносец, свободно колесящий по миру, снимающий всё что пожелает и, даже, за границей...

Разве «стая» могла ему это простить?..

Впрочем, всё по порядку.

1961 год. Первый взгляд на «живого Сергея Бондарчука».

Параллельно со съёмками «Иванова детства» снимаюсь у Г.Л. Рошала в «Суде сумасшедших». Летаю из приднепровских болот в роскошную Ригу, меняю рваные одежды разведчика Ивана на богатые наряды сына красавицы Ирины Скобцевой, играющей жену американского миллионера. Снимаемся на большом пароходе.

В один прекрасный день на нашем корабле все непривычно засуетились: драят палубы, начищают до блеска всё, что способно заблестеть. Почему-то шёпотом произносят: «к Скобцевой должен прилететь Бондарчук».

И – вот он, прилетел!

Съёмки фильма прекращаются на всё время присутствия на корабле этого красивого «посланца небес».

Счастливая молодая пара. Всё и вся вертится вокруг планеты под названием Бондарчук.

Уж не помню, представили ли меня ему. Да если и представили, заметил ли он меня...? Что я для него: четырнадцатилетний, никому неизвестный мальчик?

А я влюбился в него с первого взгляда, и на всю жизнь.

Как несколько месяцев до того, придя на пробы к Андрею Тарковскому я влюбился в Андрея, и тоже с первого взгляда, и также на всю жизнь. В них невозможно было не влюбиться: два гения, две вершины русского кинематографа, две столь разные и столь великие души.

Ныне, когда их обоих призвал Господь, подавая в храме поминальные записки, я пишу рядом имена «Сергия» и «Андрея», и твёрдо знаю, что там, где нет скорби, воздыханий и сплетен они вместе взирают на нас, грешных, с надеждой и любовью; они вместе укрепляют наши души.

Здесь, на земле, им не позволили быть вместе...

Вскоре Бондарчук начал снимать «Войну и мир» и завистливая кинематографическая и «околокиношная» клоака закопошилась, зашипела, начала оттачивать жало и накапливать яд, чтобы вскоре укусить побольше... «Бондарчук-то на Толстого замахнулся!.. Куда ему!.. Это будет провал!.. Какой он Пьер Безухов?..

Какой Тихонов – князь Болконский?..»

1963 год. Увидел Бондарчука во второй раз.

Мосфильм, длинный коридор старой тон-студии.

Иду из правого крыла и вижу, как из противоположного левого крыла на меня надвигается большая кавалькада. Неумолимо, как на дуэли, сближаемся и сходимся в холле. Вижу в центре кавалькады две фигуры – Бондарчук и министр культуры СССР – Фурцева.

Вот они в двух метрах от меня... хочу обойти их, скрыться, провалиться сквозь землю...

Бондарчук смотрит на меня, улыбается, манит рукой, просит подойти. Раз просят... не убежать же... подхожу... пожимаю протянутую Бондарчуком руку.

– Вот, – говорит он Фурцевой, показывая на меня, – это тот самый Коля Бурляев, герой «Иванова детства». – Улыбнулся и достаточно смело, будто рядом не

стояла бессменная Министр культуры СССР, политическая небожительница Фурцева, пошутил, вот, мол, все проблемы с нашей творческой интеллигенцией из-за тебя...

Фурцева протягивает мне руку, пожимаю, не слышу, что она говорит мне, процессия проходит мимо.

Кто-то из моих коллег по съёмочной группе, наблюдавший эту сцену уважительно иронизирует:

– Я бы после таких рукопожатий месяц руку не мыл.

А я счастливый, ошеломлённый случившимся бреду дальше по коридору: «Надо же, я известен самому Бондарчуку?!...»

Закулисные кривотолки сопровождали весь период подготовки, создания и проката «Войны мира».

Уши людей открыты сплетням и слухам. К моменту выхода в свет этого фильма мои друзья, старшие коллеги, слову которых я абсолютно доверял, столько наговорили мне отрицательного о картине Бондарчука, что я поверил в то, что фильм плохой и не стремился увидеть его.

Лишь почти тридцать лет спустя, когда «Войну и мир» показали по телевидению я был потрясён величием кинематографического подвига Сергея Фёдоровича Бондарчука. Конгениальная, классическая кино-версия Толстовского романа. Великая режиссура мастера, которому подвластны не только эпический, надмирный охват глобальной массовости и баталистики, (который, я уверен, никогда не превзойдёт ни один режиссёр в мире), но и филигранное, тончайшее по психологизму, глубинное, крупно-плановое творчество.

Феноменальное соединение макро и микро: космический полёт духа и погружение в глубины тончайших движений души; слияние и гармоничное взаимодействие светлого разума и доброго сердца художника, исполненного любви к человеку и всему существу на земле, жадное впитывание и переосмысление в себе сокровищ русской и мировой культуры и созидательное творчество во славу Господа и человека; любовь и служение своему Отечеству, вот – слагаемые гения Бондарчука.

Едва дождавшись окончания фильма я позвонил Сергею Фёдоровичу и высказал то, чем было переполнено моё сердце, признавшись, что увидел «Войну и мир» впервые лишь сегодня, невольно поверив в шестидесятых годах слухам распространяемым «друзьями».

1972 год. Судьбе было угодно, чтобы я породнился с Сергеем Фёдоровичем, соединив свою жизнь с его старшей дочерью Натальей.

Наши отношения приобрели новый, «родственный» оттенок.

Встречаться мы стали немного чаще, но всё равно, гораздо реже чем хотелось и мне и его дочери, любящей отца всем своим сердцем.

Чаще мы виделись на Мосфильме, во ВГИКе, иногда приезжали домой или на дачу к Сергею Фёдоровичу в Барвиху. И каждая встреча была для нас счастливым событием, к которому мы долго готовились. Он называл меня по-украински «Мікола», часто шутил, рассказывал анекдоты, но иногда делился своими сокровенными мыслями о творчестве, о людях, о политике.

Кроме любви к этому красивому человеку я испытывал какое-то генетическое ощущение родства наших душ и осознавал, что и он относится ко мне подобным образом. Наши отношения можно было назвать отношениями единомышленников. Разгадка, осознание истоков этого магнетического влечения наших душ друг к другу открылось значительно позже, когда не стало Сергея Фёдоровича.

В 1998 году, проплывая на теплоходе Кинофорума «Золотой Витязь» по Днепру и пройдя Запорожье, родину моих предков, запорожских казаков, мы через несколько часов подошли к Херсону и посетили родину С.Ф. Бондарчука, Белозёрку. И только здесь меня осенило: Боже! Да ведь мы же – земляки. Всего-то несколько десятков километров друг от друга жили наши вольные прадеды. Мы из одной земли, из одних корней. Мы – братья по крови и духу.

Только один раз нам удалось пригласить Сергея Фёдоровича к нам в гости. Я заехал за ним на машине и привёз к нам, где с трепетом и поджаренной курицей ожидала его дочь.

Спиртного было немного и оно мгновенно иссякло. Время ночное, нигде ничего не достанешь. На полке – штук 20 маленьких, пятидесятиграммовых фигурных «мерзавчиков», с разнообразным заморским пойлом, привезённых из разных стран. И пока последнему «мерзавчику» не наступил конец, «казаки» не могли расстаться.

1975 год. Выпускники ВГИКа – Наталья Бондарчук, Игорь Хуциев и я завершили на Мосфильме постановку наших дипломных новелл по роману Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». Соединив новеллы в единый фильм, мы предложили Сергею Фёдоровичу, поработать с нами в качестве актёра, прочитать в фильме текст от автора. Он, занятый постановкой своего нового фильма, сразу же согласился и назначил день и час, когда он оторвётся от своей работы и придёт к нам на озвучание. Попросил, не-откладывая принести ему тексты, которые он должен будет произнести.

В назначенное время мы «под конвоем», через весь Мосфильм сопроводили его в тон-студию. Войдя в тёмное тон-ателье Сергей Фёдорович разложил на пюпитре перед микрофоном тексты, в которые почти и не заглядывал. Великий профессионал, актёр Бондарчук, был абсолютно готов к работе, тексты выучил наизусть.

Мы, начинающие режиссёры, замерли у окна в соседней микшерской комнате, не смея давать указанияй мастеру. Так в полной тишине, в которой звучал лишь гипнотический голос великого артиста, прошло несколько минут.

Сергей Фёдорович вживался в образ Салтыкова-Щедрина, искал верную интонацию, тембр, неудовлетворённый достигнутым командовал: «Ещё раз!». «Ещё дубль!». Наконец, обратился к нам:

– Режиссёры! Чего молчите? Какие будут замечания?

А режиссёрам всё нравилось... какие там замечания. И всё-таки, кто-то из нас, «для приличия» отважился внести лёгкую коррекцию.

Сергей Фёдорович с готовностью исполнил просьбу.

Особенно мне запомнилась с какой изнурительной самоотдачей озвучивал последние слова автора «Пошехонской старины», произносимые им в финале на изображении предсмертного портрета Салтыкова-Щедрина:

– «Я люблю Россию до боли сердечной... и желал видеть Отечество моё – счастливым».

Наверное около двух десятков раз Сергей Фёдорович просил ещё и ещё дубль, пока, наконец, не вздохнул облегчённо:

– Стоп! Ну, кажется, попал!..

Когда мы завершили создание «Пошехонской старины», мы пригласили Сергея Фёдоровича на просмотр. Как дорого было для меня, родившего первую в моей жизни режиссёрскую работу, услышать от Бондарчука похвалу и короткую фразу: «Молодец!.. А ведь ты – режиссёр».

Следующее наше партнёрство с Сергеем Фёдоровичем случилось через несколько лет в фильме «Выбор цели», где он играл главную роль академика Курчатова, а меня пригласили на небольшую роль учёного-атомщика по имени «Федя», предупредив, что прообраз моего героя – отец атомной бомбы академик Сахаров. И хотя ролька была микроскопической в масштабах всей кино-эпопеи (всего-то три эпизода, и актёрской славы она мне явно не прибавляла), я не раздумывая согласился только потому, что мне предоставлялась возможность побыть ещё немного подле моего любимого Бондарчука.

Работали в павильоне Мосфильма и в подлинном интерьере курчатовской квартиры. Профессионально-изысканные, светлые, тёплые, сердечные мгновения нашего совместного бытия. Возможность перемолвиться в паузах на темы, волнующие нас обоих.

Бондарчук и Тарковский. Два равно любимых и дорогих для меня человека. Отношения этих двух гениев ещё требуют своего изучения и расчистки от наслоений, сплетен и домыслов.

Как я радовался, когда С.Ф. Бондарчук предложил вечно опальному Андрею работать в его Объединении и под его защитой на Мосфильме. Бондарчук всем сердцем принял фильм Андрея «Солярис», после просмотра картины с грустью сказал своей дочери Наталье, исполнившей в этой картине роль Харри:

– Господи! Что же ты после этого будешь играть?..

Это был период когда два гения сердечно потянулись друг к другу и даже строили планы о совместной работе над фильмом о Достоевском. Да не тут-то было... Их разведали... Нашептали доверчивому Андрею о «коварстве Бондарчука», который, де, непременно воспользуется доверчивостью Тарковского...

И заключительный аккорд в истории несостоявшейся дружбы двух гениев русского кинематографа – инцидент в Каннах.

С.Ф. Бондарчук был приглашён в Канны членом Жюри.

А.А. Тарковский участвовал в конкурсе с фильмом «Зеркало».

Жюри не присудило «Зеркалу» главную премию. И пресса повесила провал фильма на совесть Бондарчука.

Многие читали сплетни об этом.

А что же было на самом деле?

Когда Сергей Фёдорович вернулся из Канн при первом же нашем общении я задал ему вопрос: «Ну как новый фильм Андрея?»

Его отзыв о картине был достаточно спокойным. Фильм ему не понравился, и он чисто профессионально объяснял, почему его этот фильм не захватил. Естественным, я задал вопрос: «Вы голосовали против?»

– Да нет, – ответил Сергей Фёдорович, – я воздержался.

Спустя несколько лет, когда не стало Андрея Тарковского, я посетил его могилу во Франции, на кладбище Сен-Женевьев дю Буа.

Встретившись в Париже с Отаром Иоселиани я выслушал его рассказ о «каннском инциденте», очевидцем которого был и он, находясь в те дни в Каннах. Он задал вопрос одному из членов Жюри (он назвал мне имя этой женщины, которое я не могу сейчас вспомнить):

– Правда ли, что Бондарчук голосовал против «Зеркала»?

– Нет, ответила она, – Бондарчук вообще ничего о фильме не говорил. И если бы он что-то сказал против фильма это лило бы воду на мельницу Тарковского.

– Я пересказал Андрею свой разговор с членом Жюри, – продолжал Отар, – Андрей обернулся к своей жене и сказал: «Вот видите, Лариса Пална, у Отара совершенно другая информация...»

– Нет! – Вскричала жена. – Я знаю! Бондарчук послан КГБ, чтобы не дать Вам премию!..

Да простит Господь, прегрешения вольные и невольные рабы Божией Ларисы пред всеми кто любил Тарковского и с кем она его разлучила.

1984 год. Начало нового этапа наших отношений с Сергеем Фёдоровичем Бондарчуком.

Как-то приехав к нему на дачу я рассказал о четырёхлетних хождениях по мукам со своим сценарием «Лермонтов». О том, что писал сценарий для киностудии Грузия-фильм, но там его отвергли по причине утверждения мною в сценарии добрых отношений между Россией и Грузией.

Потом два года мой «Лермонтов» стоял в плане Гостелерадио, а меня всё не запускали. Хотела запустить меня в работу Одесская киностудия, не позволил Лапин: «С какой стати Лермонтов в Одессе?..»

– Годы идут, ещё немного и я не смогу играть Лермонтова чисто физически... Я просто не знаю что мне делать...

– А тыними «Лермонтова» у меня в Объединении, – предложил Сергей Фёдорович то, о чём я и мечтать не смел.

Так С.Ф.Бондарчук решил судьбу моего «Лермонтова», облегчил мои авторские страдания и увеличил страдания свои. Мог ли он предвидеть, что через два года, когда я завершу свой фильм, он послужит дополнительным поводом для травли Сергея

Фёдоровича, ляжет строкою в приговор, который вынесут Бондарчуку новоявленные «перестройщики»...

Пригласив меня в своё Объединение, Сергей Фёдорович никак практически в дальнейшем не соучаствовал в создании моего фильма: не приходил на художественные, не смотрел отснятого материала, ни во что не вмешивался, предоставив мне полную свободу, что меня вполне устраивало... Он был сам поглощён созданием «Бориса Годунова».

Но сам факт, что мой «проект поддержан Бондарчуком», и его крыло незримо было распространено надо мною, помогло мне пройти все рифы и завершить картину.

Правда мосфильмовские острословы мгновенно окрестили фильм «Лермонтов» названием «зять Годунова».

Бондарчук пришёл лишь на просмотр готового фильма. Дал несколько профессиональных советов и поздравил с завершением труда.

Лишь однажды, чувствуя, что художественный совет Мосфильма без его поддержки может резать мне несколько сцен, я попросил Сергея Фёдоровича придти на помощь. И он пришёл. И когда кто-то из советчиков предложил вырезать из фильма сцену с гадалкой Кирхгоф, мол не гоже в советском кино о гадалках... Он спокойно сказал, что на его взгляд это – одна из лучших сцен в фильме. Полушутя обронил фразу о том, что может рассказать, кто из членов Политбюро ездит к Джунге, а кто к Ванге... И проблема с обрезанием отпала.

Как-то я сказал Сергею Фёдоровичу, о той невероятной, бескорыстной поддержке фильма «Лермонтов» окружающими людьми, предоставляющими все услуги бесплатно, по зову своего русского сердца: распахнутые двери дворцов и музеев, и даже самого Кремлёвского дворца, бесплатные войска северо-кавказского округа, вертолёты, конница...

– А как ты думаешь я снимал «Войну и мир»? Точно так же. Без поддержки народа фильм не мог бы состояться...

Когда Сергей Фёдорович снимал в Ленинграде «Красные колокола» мы снимали там же телефильм «Медный всадник». Однажды мы подъехали на Дворцовую площадь, прошли сквозь оцепление туда, где подле Александровского столпа бродила потерянная фигура режиссёра. Кругом всё клокочет, десятитысячная массовка бежит по прилегающим к площади улицам к Зимнему дворцу, снимает параллельно семь камер. Одна из них закреплена на вертолётё, с рёвом кружащимся над площадью. Вертодуй гонят по площади пиротехнические дымы, невообразимый хаос, шум, стрельба, взрывы...

– И как ты всем этим управляешь? – спросила Сергея Фёдоровича его дочь.

– Не знаю, – повёл он плечами, – Да оно как-то само...

Здесь же на Дворцовой площади я получил от Сергея Фёдоровича предложение:

– Меня актёр подвёл... Ты не снимешься у меня в роли Антонова-Овсенко?..

– А когда нужно?

– Завтра. А чего?.. Давай, Микола, выручай...

На следующий день я в гриме Антонова-Овсенко, с пистолетом в руке лез на баррикады, «брал» Зимний дворец. Отснялся в двух кадрах, но продолжения моего участия в «Красных колоколах» не последовало.

Сергей Фёдорович пригласил на эту роль другого актёра. Я не обиделся и даже не стал выяснять причины замены. Я был вполне удовлетворён тем, что хоть ещё денёк поработал с Бондарчуком.

Кое-кто из обиженных близких говорил мне об эгоистичности Бондарчука, о том, что он занят лишь собой, о равнодушии к своим детям. Со временем мне пришлось убедиться в совершенно противоположном.

Однажды я пришёл в дом Сергея Фёдоровича на улице Горького, прошёл в его кабинет. Мы сели друг против друга, и я объявил ему, что расстаюсь с его дочерью. Несколько секунд он молча смотрел на меня, глаза его наполнились слезами, он выдохнул:

– О, Боже!..

И столько было в этом стоне любви и страдания за своих детей, тех потаённых чувств, которые он никогда не показывал окружающим.

Наши отношения после этого ничуть не изменились.

1992 год. Прошёл первый Международный Кинофестиваль «Золотой Витязь» в Москве. И первую премию «За выдающийся вклад в кинематограф» получил Сергей Фёдорович Бондарчук.

Пройдёт ещё три года, и не станет великого Бондарчука, и награда Всеславянского Кинофорума «Золотой Витязь» «За выдающийся вклад в кинематограф» будет навечно носить имя Сергея Бондарчука, и его гордый профиль будет отчеканен на золотой медали.

Пройдёт ещё немного времени, и будет открыта Киноакадемия имени С.Ф. Бондарчука, в которой будут воспитываться кадры для русского национального кинематографа. А теперь несколько документальных зарисовок из моего дневника.

12 июня 1985 года. Снимаю кинопробы для «Лермонтова». Фехтовальный поединок. К концу рабочего дня взмок до седьмого пота.

Зашёл в кабинет Бондарчука. Он, внимательно глядя на меня спросил:

– Ты чего так похудел?

– Устал... Снимал сабельный бой для кинопробы.

– А что же будет дальше?

– И не представляю...

– Вот смотри, – Сергей Фёдорович показал на себя, – полное спокойствие в смертельном бою.

17 марта 1986 года. Завершил озвучание «Лермонтова» готовлюсь к чистовой перезаписи, рождению фильма. В соседнем тон-ателье перезаписывается «Борис Годунов» и мой сын, Ваня мог встретиться со своим дедом.

Сергей Фёдорович сидел за пультом в приподнятом, боевом настроении. Я сказал ему:

– Вы уже в «родильном зале», а я приду сюда «рожать» завтра.

– Сколько тебе дали смен перезаписи?

– Полторы.

– И нам полторы... На 16 частей (т.е. на все два с половиной часа длительности «Бориса Годунова». Н.Б.).

6 июня 1986 года. (Апогей гонений на фильм «Лермонтов» и на С.Ф. Бондарчука).

Вечером заехал на дачу к С.Ф. Он сидел в бане, работал, писал новый сценарий – «Вишнёвый сад», дабы сразу включиться в работу.

Вместо предполагаемых 10 минут я пробыл у него три часа. Говорил главным образом Сергей Фёдорович. Он был эмоционально взведён. Рассказал, как на 5-ом съезде кинематографистов поговорил с Тамарой Фёдоровной Макаровой. (после разгрома моего «Лермонтова»).

– Вы видели «Лермонтова»? – спросил он её.

– Да, Серёжа, фильм несовершенный. Коле надо было учиться...

– А вы знаете, сказал Сергей Фёдорович, что это первый фильм в мировом и советском кино, показывающий зло, мешающее всем нам жить...

– А какое это зло?

Надо читать книжки, – улынувшись сказал своей учительнице Сергей Фёдорович.

На сегодняшнюю коллегия Госкино секретариат Союза кинематографистов вынес список режиссёров, которым надо запретить работать в кино. Там есть и Наталья Бондарчук, но пока нет меня.

Кроме самих с е к р е т а р е й разрешено творить ещё семи режиссёрам.

12 июля 1987 года.

Вечером поехали на дачу к Сергею Фёдоровичу. И конечно же значительную часть вечера мы говорили о «шпане из Союза кинематографистов».

Под конец вечера я попросил у С.Ф. пять минут – поговорить конфиденциально. Вышли в сад. Я сказал:

– Они у меня отняли год и четыре месяца жизни. Я вынужден был обороняться. Теперь пора браться за дело. Нигде больше мне не дадут делать картину... Вы читали мою повесть «Близнецы» и рекомендовали написать сценарий. Я написал его два года назад, давал читать директору Вашего Объединения и редактору. Но тогда и я был в опале, и у Вас всё было не ясно. Они месяца два мялись, и я забрал сценарий назад. Как Вы относитесь...

– Конечно, – прервал меня С.Ф., – они опять поднимут вой: «семейственность»... Но плавать я хотел на них. Больше тебе нигде не дадут снимать. Ты делал картину у нас в Объединении – ты имеешь право у нас работать. В худсовете у нас Нехорошев, Василий Иванович Соловьёв, Таланкин, Никита... Я поговорю с Таланкиным. План будущего года у нас уже перегружен...

– Не важно, когда... главное – снимать.

Сидя в беседке и беседуя о планах, Сергей Фёдорович сказал, что собирается ставить для телевидения «Тихий Дон».

– Работа эта на 5–6 лет, до конца жизни... – Сергей Фёдорович печально улыбнулся. – Как ты думаешь, играть мне отца Григория Мелехова?

– Это Вы сами должны решить.

– Опять все будут кричать, что вот, мол, сам...

– Да пошлите Вы их всех!..

Потом мы заговорили о Русских пророках: Пушкине, Лермонтове, Есенине, о плановом истреблении силами зла тех, кто может быть «любезен народу», пробуждая в нём своей лирой добрые чувства, соединяя народ в едином, светлом, патристическом порыве.

– И Шукшина тоже убили, – вдруг задумчиво произнёс Бондарчук. – И я знаю, кто это сделал.

Эта новость была настолько ошеломляющей, что я надолго замолчал.

Сергей Фёдорович рассказал мне, что мерзость критика В.Туровского в «Московских новостях» он читал в самолёте, когда летел в Норвегию на премьеру «Бориса Годунова». В этом листке написано: Бондарчук и Бурлаев были актёрами, но никакие они не режиссёры.

– Да я читал это тоже: о собачке (Туровском), «кусающей труп не ею убитого льва» (Бондарчука).

Сергей Фёдорович вздохнул:

– Первым моим желанием было – распахнуть люк и выброситься...

2 июня 1988 года.

В Великий Новгород, на великий праздник Славянской письменности и культуры движется золотой эшелон Российских творцов: Распутин, Белов, Астафьев, Бондарчук, Зальгин, Бондарев, Крупин, Шипунов, Клыков... сотни замечательных писателей, художников, музыкантов, учёных сойдутся в Новгороде на первое, столь мощное духовное российское Вече. Заглянул в купе к Сергею Фёдоровичу и Ирине Константиновне.

– Тебе нужно сниматься, а то тебя забудут, сказал Сергей Фёдорович и усмехнувшись добавил, – Хотя нет, «Лермонтова» они тебе не забудут никогда...

Лето 1994 года.

Пришёл домой к Сергею Фёдоровичу, не ведая, что это наша последняя в жизни встреча, не мог допустить мысли, что и Бондарчук не вечен.

Он только что возвратился с курортного кинофестиваля, выглядел болезненным, заметно похудевшим.

Я пригласил его приехать на «Золотой Витязь» в Тирасполь в начале сентября, он согласился, но добавил: «ещё надо дожить...»

Я показал ему видеофильм о прошедшем в прошлом году в Югославском городе Нови Саде, втором «Золотом Витязе». Он одобрительно заметил:

– Да... это – другой кинофестиваль...

Попили чаю, поговорили о разном и простились, как оказалось навсегда.

Через три месяца великого Сергея Фёдоровича Бондарчука не стало.

«Что ж, веселитесь! Он мучений последних вынести не смог...»

Радуйтесь «собачки», до крови терзающие душу изнемогающего льва. Укоротили жизнь гиганта коллеги кинематографисты и обслуживающие их ничтожества из критической стаи. Да и итальянцы помогли со своими интригами вокруг «Тихого Дона».

Гроб с телом Сергея Фёдоровича мы несли плечо к плечу с человеком, с которым нас связывает 40-летняя дружба и любовь, с Никитой Михалковым. Я смотрел на него и думал (не помню, сказал ли ему об этом на поминках):

– Теперь только держись. Ты принимаешь эстафету. Быть первым на Руси – тяжёлый крест.

28 июля 2000

СЕРГИЕВ ПОСАД

Мой Владимир Высоцкий

В моей памяти существуют два образа Владимира Высоцкого. Один – знаменитый бард, владевший всенародным эфиром почти два десятка лет, поэт-гражданин, «грудью шедший вперёд», человек, всё более становящийся легендой. Второй, а по времени знакомства – первый – образ более скромный, человеческий, тёплый, сотканный из плоти и крови, образ Владимира Высоцкого из 1960 года.

Тогда, в тёплое солнечное лето шли пробы на фильм «Иваново детство». А. Тарковский пригласил попробоваться на роль капитана Холина молодого артиста Театра им. А.С. Пушкина, мало кому тогда известного Владимира Высоцкого. Распространение его песен и слава были ещё впереди.

Мы познакомились на Мосфильме в группе Тарковского. Сблизились в репетициях и на съёмочной площадке. Время стёрло детали, оставило лишь основное: образ серьёзного, профессионального, самозабвенно относящегося к делу артиста. Партнёрский контакт установился мгновенно: мосты между нами навёл, на правах старшего, Владимир. Оба мы были в равно-шатком положении, в которое ставит актёров унижительная процедура кинопроб: мы оба не знали, утвердит ли нас Тарковский или нет. К концу кинопроб мы с Владимиром стали друзьями. Вместе разгримировались, поливая друг друга теплой водой; вместе переоделись в костюмерной в свои одежды, вышли за ворота студии.

День был солнечный, всего 4–5 часов пополудни. В нас обоих ещё не остыл эмоциональный, творческий накал.

– Поедем в сад «Эрмитаж», – предложил мой партнёр.

– Поедем.

По тексту кинопроб мы обращались друг к другу на «ты», и это само собой перетекло за пределы кадра. Из-за своей отроческой застенчивости я трудно сходилась с окружающими, но с Владимиром сошёлся с разлёта, словно всегда знал этого доброжелательного, внимательного, простого человека.

Я не могу вспомнить, о чём мы говорили, гуляя по саду. Помню лишь, что мой новый друг заинтересованно расспрашивал меня о моей жизни, помню его внимательное, уважительное отношение ко мне.

Мы присели за столик в открытом кафе. Володя купил мороженого, открыл бутылку шампанского, и мы отпраздновали наше знакомство. Я чувствовал себя совсем взрослым, хотя мне было всего 14 лет. Я обрел старшего друга. Володя часто брал меня с собой в Театр Пушкина на спектакли, в которых он был занят. Сидя в зале, а иногда даже за кулисами, я с волнением ожидал кратких, эпизодических появлений на сцене моего друга, и мне казалось, что друг мой играет лучше всех. В театр Володя водил меня через служебной вход, на правах «младшего брата». Он знакомил меня с таинственной сумеречной жизнью кулис. Пока мой друг готовился к спектаклю: одевался

и гримировался, я сидел в его гримборной еле дыша и впитывал процесс приготовления, слушал разговоры Володи и его партнеров.

Осенью нашим встречам с моим другом положил конец мой отъезд из Москвы в киноэкспедицию с группой «Иваново детство». Вместо Володи на роль капитана Холина А. Тарковский утвердил актера Валентина Зубкова.

Так закончился первый период знакомства с В. Высоцким – период, сформировавший и определивший наши отношения на два десятилетия.

И сегодня, вспоминая Высоцкого, я вижу прежде всего его образ 1960-х годов: образ молодого, обаятельного парня с хрипловатым голосом, так странно сочетавшимся с теплыми, ласковыми глазами, с его сердечностью и простотой. Внимательный, заботливый, интеллигентный, даже немного стеснительный в дружбе. Я не могу вспомнить проявлений агрессивности к окружающим, напротив, помню лишь предельную доброжелательность Владимира к людям.

Вскоре имя Высоцкого стало частенько произноситься в различных компаниях. В осенние киноэкспедиционные вечера, в каневской гостинице над Днепром, Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский пели под гитару песни начинавших заявлять о себе В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Г. Шпаликова. Имя Высоцкого вместе с записями его песен широко разносилось по стране. Долгое время я не мог поверить, что автор этих лихих песен – мой друг Володя. Я не мог увязать воедино образ нежного человека с необузданным, неистовым темпераментом, взрывающим его песни.

Прошло несколько лет, на протяжении которых мы ни разу не встречались. Владимир Высоцкий становился кумиром публики, стал ведущим артистом в Театре на Таганке, его песни звучали всюду, где имелись магнитофоны, он женился на Марине Влади.

Наконец наши кинематографические тропы пересеклись на съемках фильма «Служили два товарища». Владимир играл в картине одну из главных ролей поручика Брусенцова. Меня пригласили на крохотный эпизодик прапорщика Лукашевича, которого по ходу действия убивает герой Высоцкого. В съёмочной суеде общение наше вышло беглым и поверхностным. Мы вместе облачались в костюмерной в белогвардейские мундиры; гримировались в соседних креслах, переговариваясь о чём-то незначительном. Окружённые посторонними людьми, мы не могли начать сближение. И в сцене мы были разведены по разным концам комнаты, не сходились ближе чем на расстояние пистолетного выстрела. Во втором кадре я уже лежал на полу, изображая труп, а Высоцкий произносил надо мною какие-то фразы. Моё краткое участие в этой картине завершилось. Съёмочный водоворот повлёк Высоцкого к следующему кадру. Второпях простившись, мы договорились, что я приду к Володе в театр на его «Гамлета».

Вскоре мы созвонились, договорились встретиться за полчаса до начала спектакля. И снова поражая меня своей простотой, пунктуальностью и внимательностью, Владимир, уже знаменитый на всю страну как бард и киноактёр, ровно в условленное время вышел ко мне из дверей служебного входа и на глазах взвизгивающей на него толпы протянул мне билеты в первый ряд. Помню, что от спектакля я остался не в восторге, покинул зал с ощущением поверхностного прочтения театром Шекспира, казалось, что всё игралось актёрами «мимо текста»: пробегалось, пробалтывалось. По окончании спектакля я не стал впопыхах говорить Владимиру о своём впечатлении, поблагодарил его и мы договорились созвониться, встретиться и поговорить подробнее.

Наша следующая, неожиданная встреча произошла не так скоро. Это случилось в гостях у художника Бориса Мессерера и Беллы Ахмадулиной. Переступив порог, я увидел сидящих за столом Володю и его жену Марину Влади. Это был единственный раз, когда мне довелось видеть их вместе. Знакомя нас с Мариной, Владимир нашёл в мой адрес какие-то сердечные слова, обнаруживающие сохранность в его душе прежнего теплого отношения ко мне. Дорогой для меня миг, подтверждавший неизменность нежной сути моего «старого друга».

В мастерской было много гостей. На протяжении всего вечера нам так и не удалось сблизиться ещё раз, снова не удалось поговорить. Я издали с интересом наблюдал за Володей, пытаюсь уяснить, каков же он в нынешних «предлагаемых обстоятельствах»,

и находил его прежним: естественным, простым; да разве что более тихим, скромным, возвышенным. Владимир не думал брать в руки гитару, и никто не смел ему этого предложить. Во весь вечер он, кажется, так и не отошёл от своей жены: сидел подле неё, говорил с ней, отвечал на вопросы обращавшихся к нему.

И снова мы расстались на несколько лет. Наши судьбы текли по разным руслам: мы жили в одном городе, в одном кинотеатральном мире и не могли соприкоснуться. Слава Высоцкого крепла год от года, но крепла и опала на непокорного поэта. Не раз я слышал, что Володю не утвердили то на одну, то на другую роль. Груз внешних обстоятельств давил всё сильнее, но Владимир не отступал от своего лица, продолжал грудью идти вперёд, бесстрашно возделывать свою целину.

Жизнь столкнула нас ещё раз. В «Маленьких трагедиях» мы снимались в двух разных новеллах: Володя играл Дона Гуана, я – Альбера в «Скупом рыцаре». И всё же дороги наши пересеклись. Как и много лет назад, мы вместе вышли за ворота студии. День был непогожий, время приближалось к полуночи. Володя предложил подвезти меня до дома. Мы сели в его красивую французскую машину с дипломатическим номером и помчались по ночной Москве. Какое-то время ехали молча. Боялись нарушить тишину незначительностью вопросов. Молча изучали, разведывали друг друга; нащупывали под наносной шелухой «имиджа» сокровенное человеческое существо. Комфортабельная машина, дублёнка, громкое имя, известное не только у нас в стране... Оболочка... «А что там, внутри?.. Каким ты стал за эти годы?..» Мы оба, кажется, искали ответа на эти вопросы. Именно это пытлиное молчание приносило нам ответ. Не было поверхностных фраз, болтовни, элитарной пошлости, выпячивания своего «я», всего того, чем грешит современный «творческий мир». Володя был прежним: доброжелательным, деликатным, нежным человеком. Цинизм товарно-денежного бытия никак не коснулся его души.

Беседа завязалась сама собой. Мы начали говорить о чём-то, самом важном для нас. В память врезались слова Владимира:

– Сейчас приеду домой и буду писать. Это – как закон: в каком бы состоянии я ни был, как бы ни устал – я должен написать три песни.

Мы тепло простились. Договорились о скорой встрече, когда, наконец, мы сможем обо всём поговорить.

Больше увидеться нам было не суждено.

Последнее миропомазание Михаила Пташук

Когда человек уходит из жизни, он уносит с собой из памяти покинутых им людей все несущественные проявления своего смертного характера, оставляя им ощущение своей, Богом данной, сути.

Отблеск сути Михаила Пташук запечатлелся во мне на последнем миропомазании в Косове, в Дечанском монастыре, за месяц до трагической гибели.

Долгие годы я воспринимал Михаила приятельски-поверхностно. Да и могло ли быть иначе...

Мы знали друг друга с 1966 года, со времени параллельного обучения в театральном училище имени Щукина. Он учился на режиссёрском, я – на актёрском. Сталкивались в коридорах, в буфете, на публичных экзаменах по профессиональным дисциплинам. Будучи всегда малообщительным человеком, я запомнил студента Михаила Пташук. Его невозможно было не заметить: его и тогда было много – большого, шумного, весёлого.

Прошли годы, и мы с ним неожиданно столкнулись на одном из Всесоюзных кинофестивалей, где фильм белорусского режиссера Михаила Пташук «Знак беды» был отмечен высокой премией.

Не скрою, что тогда, порадовавшись за однокашника и приятно удивившись тому, что театрально-направленный «щукинец» блеснул в кино, я не придавал этому случаю большого значения, тем более, что и фильма его я не видел. А признание кого бы то ни было кинорежиссером для меня, воспитанника Андрея Тарковского, дело не простое.

Промелькнуло ещё несколько лет. Имя Михаила Пташук всё чаще мелькало в репертуарной панораме белорусского кино, что свидетельствовало о том, что его начинают признавать одним из ведущих белорусских режиссеров. Фундаментальными наши отношения стали становиться с 1990 года, когда я был приглашен на «Беларусьфильм» для постановки фильма «Всё впереди».

С теплотой вспоминаю легендарную, по-домашнему родную студийную баню, в которой сходилась дружески противоречивое ядро «Беларусьфильма»: Виктор Туров, Михаил Пташук, Владимир Гостюхин, Юрий Марухин, Александр Ефремов... Здесь все творческие противоречия выяснялись по-мужски – крутым паром, дружеским венником и братской трапезой. Помню, насколько трогательно-внимательным и сердечным был ко мне, студийному новобранцу, Михаил. Как сторожил он дружески, заботливо ориентировал меня, новичка в пространстве студии. Я видел, как искренне он желает удачи моему белорусскому дебюту.

А спустя два года родился Всеславянский кинофорум «Золотой Витязь», и я пригласил Михаила с его «Кооперативом политбюро» на фестиваль, проходивший в Тирасполе. Он с радостью принял приглашение, приехал в Приднестровье и получил наш главный приз. С тех пор наши отношения стали крепнуть год от года. Мы понимали, что нам – по пути. Михаил говорил мне, что сердце его навсегда с «Золотым Витязем», что для него нет на свете фестиваля достойнее, духовнее и светлее, чем «Витязь».

Спустя год до меня докатились слухи о том, что Михаила в Минске закрутили вихри «демократических» антимосковских потоков. Я отказывался верить в это. В моем сознании не укладывалось, что Михаил Пташук, столь кровно связанный с Москвой и Россией, может встать на подобный путь.

Я пригласил Михаила на фестиваль в Югославию. Но ни там, никогда и нигде мы не говорили об этих слухах. Не было необходимости. Михаил был прежним Михаилом – на дух не принимавший распад Союза и тусовки киношников-псевдодемократов, которые он неизбежно посещал.

Так случилось и в 2000 году. Я пригласил Михаила с «Августом 44-го...» на фестиваль в Москву, но дорогу мне в который раз перешёл Марк Рудинштейн, переманивший Михаила на «Кинотавр» в Сочи.

Я созвонился с Михаилом, пожелал ему удачи, сказал, что приглашу его фильм на «Золотой Витязь» в будущем году, а пока предложил ему сразу же после Сочи лететь со мной в Югославию на Эхо «Золотого Витязя». Он не раздумывая согласился и сразу же после закрытия сочинского фестиваля примчался в Москву, стрелой перебросился из Домодедово в Шереметьево, чудом не опоздав на рейс в Белград. Мы обнялись как ни в чём не бывало, я познакомил его с моим старшим сыном Иваном... Михаил ощущал комплекс вины, ругал сочинскую тусовку и сожалел, что пропустил наш, родной для него, фестиваль.

И снова мы провели вместе светлые дни в Югославии, в городке Пожиге. Среди дорогих нашему сердцу друзей-сербов – Йована Марковича и Иваны Жигон. Вспоминали, как Михаил и его гостеприимная жена Лиля в Минске забрали от меня «на часок» к себе в гости Йована Марковича и вернули его через два часа едва державшегося на ногах. Йован не мог без смеха вспоминать «гостеприимно-провокационный» метод хозяина: «Рюмка не должна быть полной, но и не должна быть пустой!..»

Михаил, похожий на большого, шумного ребенка много смеялся, шутил, пил пиво, сербскую ракию и красный черногорский «Вранац», вкушал аппетитную сербскую кухню на гриле и от души радовался каждому мгновению своего югославского бытия. Видно было, что ему здесь по душе.

Как обещал, на следующий год я поставил «В августе 44-го...» на конкурс «Золотого Витязя», но Михаил занятый съёмками нового американского фильма, не смог вырваться из кабального рабочего графика и представить свой фильм в Тамбове.

Международное жюри присудило «Августу» «Гран-при». Роскошный, скачущий на коне Витязь, полученный продюсерами, не попал в Минск, в руки Михаила и тогда мы решили отлить ещё один дубликат «Гран-при» и вручить его лично Михаилу на Витебском «Славянском базаре» в рамках дня «Золотого Витязя». По технологии мы не успели столь быстро изготовить новый приз, но чтобы не отменять торжественной

церемонии вручения, одолжили аналогичный «Гран-при» у прошлогоднего призера «Золотого Витязя» Никиты Михалкова.

Я известил Михаила о сложившейся ситуации и, вручая ему в Витебске «Гран-при», шепнул: «На, поддержи и верни Михалкову...» Михаил, едва сдерживая смех, подморгнул и «сыграл на публику благодарное лицо».

Неоднократно на протяжении последних лет Михаил повторял и мне лично, и на встречах со сцены, и в интервью журналистам о том, что он считает «Золотой Витязь» самым главным кинофестивалем в мире, кинофорумом высоких духовных устремлений, собором единомышленников. Несколько раз он говорил мне: «Я навсегда с тобой».

В хлебосольном доме Пташук я побывал всего один раз, в октябре 2001 года. С моим старшим сыном Иваном мы были гостями Минского фестиваля «Листопад», и Михаил настоял, чтобы мы непременно побывали у него, говорил, что у него есть одна важная идея и чтобы я непременно приезжал с Иваном, музыкальным даром которого он был давно очарован.

Мы провели за обильной трапезой добрых три часа. И мне стало понятно, откуда у Михаила такая плотность тела и такой неиссякаемый источник энергии. От его жены Лили. Большею хлебосольной опекуни-хозяйки я не видел в жизни: бесконечные перемены вкуснейших блюд чередовались на её столе, и требовалось обязательно всё отведать. Когда жена выходила на кухню, Михаил с гордостью расхваливал её достояние, говорил, что именно она в доме – духовное начало семьи, своим примером ведущая и его, грешного, к Храму.

Наконец Михаил объяснил, какая у него появилась «идея»: он предложил Ивану написать музыку, стать композитором его нового фильма, к запуску которого он готовился на киностудии Горького. Он сказал, что скоро сценарий будет готов и он пришлёт его Ивану. Не скрою, что и я, и Иван были польщены подобным предложением, исходящим от лучшего режиссёра белорусского кинематографа.

В марте 2002 года я позвонил Михаилу и предложил поехать со мной в Белград и в Косово. Не раздумывая Михаил ответил: «С тобой хоть на край света».

Лично я давно рвался в Косово, чтобы увидеть всё своими глазами, неоднократно просил нашего посла в Югославии устроить мне эту поездку, пользуясь тем, что мы учились с Послом в одной московской школе, но получал ответ, что это невозможно. И вот Ивана Жигон договорилась о проникновении в Косово сама. Она тоже обращалась в российское посольство, но ни дипломаты, ни военные не захотели брать ответственность за наши жизни. Тогда Ивана Жигон договорилась, что нас возьмут под охрану итальянские войска. Ивана просила, чтобы я оповестил Михаила и третьего нашего «добровольца» Дмитрия Андреевича Достоевского, правнука великого писателя, о всей опасности предстоящего путешествия, но по каким-то причинам я не сделал этого, сказав лишь Михаилу, что поездка эта будет необыкновенной и непростой.

Покидая Москву, где было достаточно тепло, и думая, что в Сербии, как обычно, будет ещё жарче, я прихватил лишь кожаную куртку. Михаил, глядя на меня, лихо скинул в Шереметьеве пальто и оставил его моему помощнику, вместе со сценарием нового фильма для моего сына. После 15 градусов в Москве Белград нас встретил девятиградусным циклоном. Не жарко... Из аэропорта, где нас ожидала Ивана Жигон, мы сразу же помчались в Черногорию, поскольку ровно в 24.00 мы должны были достичь указанного места в горах, в нейтральной зоне между Черногорией и Косовом, где нас должен поджидать итальянский конвой с охраной. Уже в Черногории, в монастыре Святого Георгия, у игумена отца Петра мы благополучно соединились с настигшими нас на микроавтобусе нашим дорогим Ивановом, матерью Иванны – Еленой Жигон, киноведом Божидаром Зечевичем, фотографом и сотрудницей Министерства по делам религии.

В монастыре температура была +1, с небес повалил снежок.

Отец Петр пригласил нас на скромную и быструю трапезу, и мы помчались дальше.

Настроение у Михаила было отменно-весёлым. Он снова в любимой Сербии, встретил дорогих его сердцу людей, он непрестанно смеялся, шутил, подтрунивал над Д.А. Достоевским, говорил не умолкая. Казалось, он совершенно не осознавал, куда его занесла судьба.

Проехали последний сербский блок-пост, дальше нейтральная зона – и КОСОВО.

Любуясь снежной фантазмагорией, высвеченной светом фар, мы неслись по черноторскому серпантину в неизвестность. Вдоль дороги десятки, сотни дальнебойных трейлеров с контрабандными грузами, припаркованных на ночлег. Даже они не рисковали двигаться в Косово ночью. Наш водитель родом из Дечан, первого косовского городка, который мы должны посетить, сказал, что уже три года после вынужденного бегства из отчего дома не был на родине, что несколько дней тому назад албанцы убили последних двух сербов в Дечанах – мать и дочь. Теперь остались только 30 сербских монахов в Дечанском монастыре, которые живут под охраной 600 итальянских солдат и три года не покидают пределов своей обители. Узнали мы и закрытую от мира информацию о том, что за эти три года в Дечанах уже погиб 21 итальянский солдат.

Михаил затих, весёлый тон проскальзывал всё реже, эйфория старта югославского турне пресеклась, наступил процесс осознания реальности. За бортом машины – минус 10. Мы, раздетые и безоружные, можем уповать лишь на милость Божию и милость добрых людей. Хорошо, если нас встретят добрые люди, а если нет?..

Мы всё чаще поглядывали на бортовые часы: вот уже 23.55, успеем ли вовремя, опоздание чревато последствиями?..

В 00.03 мы достигли назначенного места – небольшой парковочной площадки в горах. Опоздали лишь на три минуты..

Итальянского конвоя нет... Не могли же они не подождать нас три минуты..

Погасили фары... Ждём... В машине тихо, за окном крошечная тьма да свист пурги... Ждем 10 минут... 30... Вот уже час прошёл – итальянцев нет!.. 1 час 30 минут... показался свет приближающихся фар. Михаил обрадовался: «Итальянцы!»

Оказалось, что нет. Легковая машина с косовскими номерами медленно проплыла в пурге мимо наших двух машин и, поднявшись в гору метров на двести выше, развернулась в нашу сторону... постояла минуты три и, подъехав к нам, встала позади нашей машины. А у нашей машины и у нашего микроавтобуса белградские номера, что на любого албанца-косовара действует, как красная тряпка на быка. Постояв минутку, «албанец» снова поехал вверх на исходную позицию в ста метрах выше нас.

– Они нас пасут, – сказал Михаил.

– Что такое «пасут»? – испуганно спросила Ивана.

– Следят за нами, – «утешил» её Михаил.

– Ой, мне страшно, – призналась Ивана. – Они видели наши белградские номера.

– Нужно двигаться обратно в Черногорию, – сказал я друзьям.

Переговорив с нашими соратниками в микроавтобусе, мы дружно сорвались с места и на полном газу понеслись обратно в Черногорию... Да не тут-то было. Промчались мимо машины «албанца»... еще 50 метров и... забуксовали – гололёд! Мы отрезаны от дома.

Я предложил вернуться на «место встречи» и ждать, уповая на Господа. Так и сделали.

Спустя еще 10 минут дорога из Косова вновь озарилась светом фар, и из снежной феерии выкатились два бронетранспортера и джип. Словно тати из ночи, но для нас словно спасатели, в камуфляже, из снеговерти возникли фигуры двух десятков итальянских солдат. И Михаил, и мы обрадовались им несказанно, словно своим избавителям.

Интересный парадокс нашего времени: три года назад итальянские войска принимали участие в агрессии НАТО против Югославии, а теперь их готов обнять каждый из нас, даже ненавидящая врагов своей Родины Ивана Жигон..

После этого ночного испытания на границе Черногории и Косова, словно на границе жизни и смерти, – в нейтральной полосе пограничного безвременья, выбившего всех нас из привычного, поверхностного существования, смею утверждать, Михаил Пташук стал другим, стал собою. Дыхание реальной угрозы нашей жизни сдуло весь наносной слой столично-киношного сора. Порадовавшись избавителям, Михаил вновь замолчал. Было видно, что в нём совершается глубинная духовная работа. Он вслушивается в сокровенный голос своей души, вглядывается в истинное, неизбежное... в лики монахов, похожих на белых ангелов, совершающих божественную литургию, приготовление брэнной плоти к таинству своего распятия во имя Христа.

Моя видеокамера постоянно следила за Михаилом. Внутренне я спрашивал себя: «Почему я всё время снимаю Михаила, ведь он не кинозвезда?..» И продолжал вглядываться через глазок камеры в его глаза, в его душу. Вот Михаил подходит к святым иконам, к мощам, словно припадает к истине, к влекущему его горнему миру... Вот он подходит к игумену Феодосию на миропомазание, последнее в своей жизни. Остановись мгновенье. Сербский фотограф запечатлел миг проявления этой сути. Вглядитесь в это фото ещё раз, и вы увидите подлинного Михаила Николаевича Пташука: здесь смирение, чистота, здесь обнажившаяся, сокровенная суть раба Божия Михаила.

После этой Литургии Михаил подошёл ко мне и тихо, без экзальтации, по-мужски сказал: «Я очень благодарен тебе за эту поездку».

Мы проехали сквозь всё Косово с юга на север в армейском автобусе с плотно зашторенными окнами под охраной двух бэтээров и 23 итальянских солдат (такая рать оберегала всего девятерых славян). Мы вглядывались в пейзажи некогда цветущего Косова, ныне превращённого пришельцами в сплошную мусорную свалку... видели разрушенные сербские дома, храмы и погосты... Итальянцы сопровождали нас молча, в контакт не вступали, не позволяли раздвигать шторы, до тех пор пока Михаил не подчинил ситуацию своей режиссёрской воле и словно могучий белорусский ледакол не взломал сковывавший нас лёд отчуждения. Он объяснил итальянцам, кого они охраняют: «Это – великая сербская актриса Ивана Жигон. Это – русский актёр Николай Бурляев, который снимался в «Андрее Рублёве» у Андрея Тарковского. Это – правнук великого русского писателя Достоевского...» Итальянцы округлили глаза, заинтересовались, зацокали языками. Михаил не давал им опомниться, продолжал свою миротворческую режиссуру – распечатал бутылку белорусской водки и пустил по рукам итальянцев.

А потом изумлённые албанцы на обочинах наших дорог могли слышать из проезжающего мимо них кфоровского военного автобуса звуки итальянских, русских и сербских песен и крики: «Достоевский! Живели!» После этого итальянцы спокойно смотрели, как мы, раздвинув шторы, снимаем скорбные пейзажи оккупированного Косова.

Когда мы прощались с нашей охраной в Косовской Митровице, Михаил обнял и трижды поцеловал каждого из 23 молодых итальянских парней.

Наши дорогие хозяева-сербы решили устроить нам на обратном пути в Белград сутки беззаботного отдыха на горнолыжном курорте, но уже ничто не приводило в восторг некогда буйного Михаила. И мыслью и душой он оставался там, на распятом Косове.

Когда мы ехали в машине на отдых в горы, это было, в отличие от Черногорско-Косовского броска, не ночью, а днём, обнаружилось, что у Михаила боязнь высоты. Мы заметили, что он сидит, вцепившись обеими руками в спинку переднего сиденья и неестественно свернув голову вместе с шеей вправо, в сторону горы, чтобы не видеть разверзшейся слева пропасти. Нас всех забавлял его детский страх, казалось, невозможный для такого большого человека.

Когда машина забуксовала и встала, Михаил пулей вылетел из машины и не оборачиваясь пошел обратно, вниз по дороге. Благо и нам нужно было возвращаться вниз на другой подъем, мы нагнали Михаила и еле уговорили сесть в машину, уверив, что другая дорога будет не такая крутая. И потом, поднимаясь по другой дороге, все (уже чисто психотерапевтически) успокаивали его: «Мы не высоко... Это не опасно... Мы скоро приедем...»

Наше нелегальное, проделанное в полнейшей тайне паломничество в Косово завершилось благополучно. Мы вышли из подполья, добрались до Белграда, где дали большую пресс-конференцию с участием трёх послов – России, Белоруссии и Украины, и информацию о нашей косовской эпопее распространили все СМИ Югославии. Михаила приняли в почётные профессора Киноакадемии.

Прощаясь, мы договорились с Михаилом, что через два месяца, в мае, он приедет ко мне на XI МКФ «Золотой Витязь» и возглавит жюри, что он со своими учениками в Минске смонтирует из моего видеоматериала фильм о Косове и мы покажем его в рамках Кинофорума...

Этому не суждено было сбыться – через несколько дней после возвращения Михаила не стало. Фильм о Косове, а точнее о Михаиле Пташуке в Косове, смонтировала на белградском телевидении Ивана Жигон, и мы показали его на Кинофоруме в день памяти нашего друга Михаила Николаевича Пташука...

...Вот его последняя литургия и последнее в жизни помазание...

...Вот его пламенные выступления на трапезе в Дечанском монастыре... в полуразрушенной школе Осаяны... в Приштинском университете на открытии киноклуба «Золотого Витязя» в Косовской Митровице

...Вот он задает вопрос итальянскому солдату показывая на обступившие нас горы:

– Албанцы нас сейчас видят?

– Видят.

– А выстрелить могут?

– Могут.

Михаил уцелел в Косове под прицелом снайперских винтовок, но не уберёгся в Москве...

Жизнь Михаила Пташука оборвалась на вздохе, на взлёте. Оборвалась в тот миг, когда, казалось, судьба так благоволила ему: он снимал один фильм за другим и загорался всё новыми и новыми планами, он стал ведущим режиссёром Белорусского кино, у него сложились крепкие, дружеские отношения с Президентом А.Г. Лукашенко, он признавался Москвою и миром, он ещё многое бы смог... Но – человек предполагает, а располагает Господь, и этот закон неотменим.

Теперь нам осталось вспоминать этого весёлого большого человека, смотреть его замечательные фильмы и молиться в храмах за упокой светлой души раба Божьего Михаила.

Витязь русской культуры Вадим Кожин

Так случилось, что прежде я познакомился с учеником Вадима Валериановича – Юрием Селезнёвым. Я успел застать его на излёте, в тот последний период его жизни, когда он готовился написать книгу о Лермонтове. Как раз в это же время я приступал к съёмкам своего «Лермонтова». И Юрий Иванович, словно предчувствуя, что может не успеть написать свою книгу, щедро одаривал меня информацией, собранной им о великом поэте. Он словно передавал эстафету мне. И я могу утверждать, что в моём фильме присутствует очень существенная духовная составляющая от Юрия Ивановича. В наших беседах он не раз упоминал о В.В. Кожинове, подогревая мой интерес к его личности и желание познакомиться с его трудами.

Вскоре Юрий Иванович при странных обстоятельствах покинул сей мир. Его книга так и не была написана. Но появился фильм «Лермонтов», который сразу же попал под шквальный огонь нашей либеральной, «демократической» прессы. 10 мая 1986 года состоялся первый показ фильма в Доме кино, а через несколько дней, фильм и его автор были подвергнуты публичной порке на пятом Съезде кинематографистов. Сигнал был дан новоявленным критиком Плаховым, активно поддержанным моим старым приятелем режиссёром Сергеем Соловьёвым, на протяжении многих лет проживавшим возможность снять фильм о Лермонтове по достаточно пошлomu сценарию Червинского. Руководство Мосфильма запустило в производство мой проект. И вот наступила пора мести, благоприятная для С. Соловьёва и его команды, захватившей руководящие посты в Союзе кинематографистов. Началась массированная атака на фильм в центральной прессе. За десять месяцев до выхода фильма в прокат, началась подготовка общественного мнения через СМИ. За эти месяцы вышло 22 разгромные статьи и не одного положительного отклика. Редакции отказывали в публикации положительных рецензий нескольким десяткам авторов, даже таким именитым, как В. Астафьев, В. Распутин, Ю. Нагибин, Ю. Бондарев, крупнейшие лермонтоведы, критики, профессора МГУ. Фильм «Лермонтов» поделил страну на два лагеря принимавших и отвергавших этот фильм. На имя Президента Горбачёва поступали письма, под которыми стояли тысячи подписей в защиту фильма, по всей стране устраивались просмотры с яростными обсуждениями «Лермонтова».

Но ни одна положительная рецензия так не смогла прорваться к читателям. Именно в эти трудные для меня и для моего фильма времена, мне посоветовали обратиться к Вадиму Валерьяновичу Кожину. Я набрал номер его телефона.

– Много читал о Вашем фильме, – сказал Вадим Валерьянович, так, словно мы давно были знакомы. – Авторам статей и их аргументам не могу доверять полностью. Хотелось бы посмотреть фильм.

После просмотра «Лермонтова» Вадим Валерьянович стал абсолютным сторонником фильма. Обещал написать рецензию. И сдержал своё слово. Вскоре статья была им написана и передана в редакцию газеты «Советская культура». Началась пора ожидания выхода статьи, которая длилась полгода. За это время мы сблизились духовно. Часто встречались, созванивались, по долгу беседовали, кажется, обо всём на свете. Я вёл своеобразный «дневник режиссёра», надеясь когда-нибудь его опубликовать. Вот несколько записей из этого дневника.

«14 ноября 1986 года. Кожин рассказал мне, что ему уже угрожали: мол, «что Вы связываетесь? Против фильма всё руководство Союза кинематографистов! Бурляев считает себя законченным гением. Он не потому отверг сценарий Червинского, что тот был плох, а потому что он сам хотел быть и сценаристом...» Судя по голосу эти звонки весьма забавляли Вадима Валериановича: «Крепко Вы, Николай Петрович, потревожили осиное гнездо, – смеялся он в трубку».

«27 ноября. Ровно в 16 часов меня принял главный редактор «Советской культуры» А.А. Беляев. Он сообщил мне, что посмотрел фильм два раза. Остановился на том, что ему понравилось, и что нет. Интересно, что говорил он сегодня совсем не так, как в прошлый раз: часто отводил глаза в сторону, подбирая слова. Задал мне вопрос:

– Вы читали статью Кожина?

– Да, – ответил я.

– Мы смягчим её, отредактируем то место, где он пишет о космополитичности критика...

– Что-то я не припомню такого места в статье.

– Нет, оно там есть, – настаивал редактор.

Пообещал мне, когда выйдет фильм, опубликовать два мнения.

Я сказал, что ожидание выхода картины в прокат – долгое, тяжёлое испытание. Уже 20 критиков ударили по фильму и никому не позволили выступить «за».

«7 февраля 1987 года. Вадим Валерьянович согласился представить фильм на премьере в кинотеатре «Зарядье». Прибыла и наша киногруппа: актёры – И.В. Макарова, Н. Бондарчук, мой сын Иван, Усачёв, Файбышев, Цихотский, Сушков, Агеев, директор А.Т. Демидова и три её зама, композитор Борис Петров, второй режиссёр С. Петрова... В банкетном зале накрыли прекрасный стол с бутербродами, фруктами, кофе. Мы с Вадимом Валерьяновичем и со всеми друзьями произнесли безалкогольный тост за нашу встречу, за премьеру и дружно вышли на сцену. После представления киногруппы и выступления актёров, мы спустились в зал, чтобы послушать Вадима Валерьяновича. Это было поистине Кожинское, блистательное выступление. Здесь он впервые публично прочитал свою статью о фильме и сообщил зрителям, что уже пятый месяц её не публикуют в «Советской культуре».

«2 марта. Вчера, возвратившись из Мурманска, прямо из аэропорта приехал к родителям. Отец, с порога, спросил:

– Ты читал?

– Что? – насторожился я. – Опять? Где?

– «Культуру» читал?

– Когда?

– В эту субботу.

Я с сердечным трепетом взял в руки долгожданную газету. И не торопился открыть её на нужной странице: подробно разглядывал, изучал её... И, вот – она! Статья

Кожина! И рядом – Графова. И от редакции: «Два мнения о фильме «Лермонтов». Господи, сколько же я ждал этого, и дождался. Это – победа!

Читать начал с «графовского» плевка. Плевков был хилым и глупым, но встречный ветер боевой кожиновской статьи возвращал плевков Графова с удесятерённой силой. «Правота и воля режиссёра» так была озаглавлена статья Кожина. Её заметно урезали, но даже в этом усечённом виде она была сильна – единым духом уничтожала все пасквили и наветы на опального «Лермонтова». Я трижды перечитал её. Спасибо Вадиму Валерьяновичу».

«9 мая. Нас с Кожинным пригласили на творческую встречу в Краснодар. В час дня в местной писательской организации состоялась встреча с творческим составом местного Союза писателей. Нам говорили, что придёт человек 30, явилось более 100. Мы с Вадимом Валериановичем, по очереди говорили и отвечали на многочисленные вопросы три часа. Какая честь и какое удовольствие стоять на сцене плечом к плечу со столь мощным соратником.

А потом тёплое, южное, дружеское застолье в кругу писателей, почитателей и друзей Кожина. Отныне и моих друзей. Особенно понравился мне застенчивый и добрый Лихонос. Да и Вадим Валерианович за этой трапезой открывался в ином, более интимном свете: юмор и откровения. Но и юмор и откровения были истинно кожинскими: аристократическими, сердечными, неподражаемыми».

Эта «Лермонтовская» эпопея сблизила, сроднила нас. Я стал бывать в доме Кожинных, где за чаем мы вели долгие беседы о кино, литературе, истории. Вадим Валерианович погружал меня в такие таинственные пласты и повороты истории, о которых я раньше не знал. Говорили о модной в то время ориентации творческих работников на вождьделенную «самоокупаемость культуры». Вадим Валерьянович возмущался: «Ну что за бред? Они хотят сами себе вырыть яму. Достаточно сказать, что в маленькой Австрии на одну только Венскую Оперу государство ежегодно выделяет 20 миллионов долларов». Позднее, побывав в Венской Опере, я вспоминал слова Кожина, наслаждаясь высочайшим художественным и материальным уровнем этого театра. Я видел подлинное достоинство национальной культуры, в которое вкладываются не малые государственные средства.

Как-то у нас зашла речь об Андрее Тарковском, фильме «Андрей Рублёв». Я высказал Вадиму Валерьяновичу своё мнение и о великом, подлинно русском режиссёре и о его жизнеутверждающем творении. Я говорил о том, что не согласен с некоторыми патриотами, в частности с И. Глазуновым, считающим фильм «антирусским». Где вы найдёте более русскую и более духоносную, жизнеутверждающую новеллу, чем новелла «Колокол»? Мне было приятно узнать, что Вадим Валерианович полностью разделяет моё отношение.

Общания наши были общениями единомышленников, братьев по духу, борцов за русскую культуру. Как важно было для меня в то, трудное для меня время получить поддержку и подтверждение правоты избранного мною пути от самого Вадима Валериановича Кожина.

Прошли годы, и мне вновь пришлось столкнуться с наследием В.В. Кожина, и быть причастным к его воплощению. Осенью 2003 года мне позвонила Наталья Бондарчук и сказала: «Я прочла потрясающую книгу Кожина о Тютчеве. Нужно непременно поставить по этой книге фильм. Близится 200-летний юбилей. Нужно попытаться успеть сделать фильм».

Фильм «Любовь и правда Фёдора Тютчева» был снят по книге В.В. Кожина. И все мы – и создатели фильма, и зрители обязаны Вадиму Валериановичу Кожину тем, что в начале XXI века он, через телевидение, открыл нам и миру образ великого поэта, дипломата, мыслителя Фёдора Ивановича Тютчева.

На мой взгляд, критика такого уровня, как Кожин не было со времён Белинского, как впрочем, нет и теперь после исхода Вадима Валериановича. Поднимался рядом с Кожинным ещё один исполин, его ученик – Юрий Селезнёв, сведённый в могилу совсем молодым. Оба они занимались критикой на высочайшем духовном

уровне. Они оба были апостолами, витязями русской культуры, для которых главное в жизни был не временный успех у публики, а вневременное желание послужить Господу, Отечеству и Правде. Лично для меня В.В. Кожинов – пример негибимого русского воина, витязя, который абсолютно не задумываясь о том, что о нём будут думать, говорить и писать, на высочайшем, русском, духовном уровне, доказательно, без экзальтации мог говорить людям правду. Как говорил Лермонтов: «Есть чувство правды в сердце человека». И оно, это «чувство правды» всегда откликнется на ту правду, которую нёс людям В.В.Кожинов. Именно этого боялись оппоненты Кожинова. Ведь высота аристократической, русской правды В.В. Кожинова была недостижима для их критики. Нынешнее забвение Кожинова – временно. Придёт время, когда Россия будет пристальнее и без помех вглядываться в своё прошлое, в свою историю, и тогда придёт понимание того, кто содействовал исполнению Промысла Божия и Истины на Русской земле.

Савва Ямщиков – реставратор всея Руси

Со святыми упокой, Господи, душу новопреставленного раба Божьего Саввы. Россия простилась с «реставратором всея Руси» – этим званием наградила С.В. Ямщикова народная молва. Сегодня и я прощаюсь со своим близким другом.

Мы познакомились с Савелием Ямщиковым в 1963 году на съёмках фильма «Метель». Случилось это в Суздале, куда С. Ямщиков прибыл по своим реставраторским делам. Мы проживали в одной гостинице. Савелий сам подошёл ко мне и сказал, что у нас с ним есть общий друг – Андрей Тарковский. Я снимался у Тарковского в «Ивановом детстве», а Савелий начинал сотрудничество с ним в качестве научного консультанта фильма «Андрей Рублёв». Имя Тарковского стало для нас духовным паролем, сигналом к единению. Савве тогда было – 25, мне – 17 лет, разница небольшая. Мы сблизились с Савелием мгновенно и вскоре стали близкими друзьями, как говорится «водой не разлить».

На первых же шагах нашей дружбы Савелий оказал мне неоценимую услугу: помог уговорить Андрея Тарковского попробовать меня на роль колокольных дел мастера Бориски в грядущем фильме «Андрей Рублёв». Этот образ ошеломил меня при прочтении сценария. Я загорелся желанием сыграть Бориску. Но как этого добиться, когда Тарковский и Кончаловский специально для меня написали роль ученика Андрея Рублёва, Фомы, а литейщик Бориска писался с прицелом на московского поэта Чудакова. Тарковский отмахнулся от моей просьбы сделать мне кинопробу на роль Бориски, сказал, что я для этой роли мал. Не помогло и ходатайство оператора Вадима Ивановича Юсова. Тогда, как последний шанс, я использовал пособничество Саввы. Он избрал неординарный способ: сказал Тарковскому, что лучшего, чем я, Бориски не найти, и поспорил с Андреем на ящик шампанского, что тот всё равно меня утвердит. Так и произошло. Я всегда буду благодарен Савелию за его дружескую поддержку.

Многие годы мы встречались с Саввой буквально ежедневно. Совершали ежевечерние рейды по ресторанам творческих домов: Дом кино, ВТО, Дом журналистов, Дом писателей, Дом архитекторов... А глубокой ночью, когда все «дома» прекращали работать, инерция богемных посиделок частенько заносила нас в гости к Савве. Он любил быть в компании, не переносил одиночества. В холостяцких паузах: после его расставания с первой женой, болгаркой Велиной, и второй – латышкой, манекенщицей Сармой, мне приходилось жить неделями, скрашивая одиночество друга, в его однокомнатной квартирке на Симферопольском бульваре. Мы проводили вместе летние отпуска: ездили на Чёрное море, в Кизи, в Болгарию... Колесили на допотопном служебном фургоне по музейно-реставраторским делам Савелия, по просторам Святой Руси: Псков, Рязань, Печоры, Владимир, Суздаль, Новгород, Ярославль, Кострома... Я видел, с каким уважением принимают моего друга Савелия музейные работники по всей России.

Разгульная жизнь утомляла меня, но я следовал за Саввой, как за своим Вергилием, по кругам богемного ада. Как-то я прочитал своему другу стихи, навеянные нашей тогдашней жизнью:

*«Пустое время провожденье
С элитой в дымных кабаках:
До тошноты ночные бдений,
Застолья в творческих домах.
Компаний праздное веселье,
Постель чужая, боль похмелья,
Но обожали пикники
Советских классиков сынки.»*

Савва соглашался со мной в оценке пустоты данного «элитарного» существования, но молодость брала своё...

Впрочем, большую часть своей жизни Савелий Ямщиков посвящал совсем иным духовным занятиям.

Именно Савва начал распахивать передо мной новый, неведомый и прекрасный мир: древние русские города... провинциальные музеи... монастыри... храмы... иконы... Мир русской, православной культуры. Ночевали в заштатных гостиницах, сельских постоялых домах, в древних звонницах, монастырях, в избе его друга, деревенского плотника-реставратора на Онежском озере, а иногда просто на сеновале... Пересекались с замечательными людьми земли Русской, друзьями Савелия, которые становились и моими друзьями: учёный Лев Гумилёв, писатели Валентин Распутин и Валентин Курбатов, великие артисты балета Владимир Васильев и Екатерина Васильева, дирижёр Максим Шостакович, скульптор Вячеслав Клыков, псковский кузнец-реставратор Всеволод Кузнецов, кижский плотник-реставратор Борис Ёлупов, гениальный кинорежиссёр Андрей Тарковский и кинооператор Вадим Юсов, выдающиеся актёры Иван Лапиков и Анатолий Солоницын, прославленный фигурист Алексей Уланов, легендарный хоккеист Вячеслав Старшинов... Кто-то нашёптывал о Савелии Ямщикове, что он коллекционирует именитых друзей. Однако какая замечательная коллекция... Пожелал бы каждому пожить в таком духовном цветнике...

Совместная работа над фильмом «Андрей Рублёв» ещё прочнее соединила нас. Савва впервые привёз меня в Псково-Печерский монастырь и познакомил с настоятелем, Архимандритом Алипием, с которым мы подружились, и который фактически стал моим первым духовником. Навсегда останутся в памяти дни, проведённые с Саввой в Псково-Печерском монастыре. Задушевные беседы, щедрые трапезы в доме настоятеля, бывшего рядового солдата Великой Отечественной Войны, художника-иконописца, члена Союза художников СССР, возродившего из небытия сказочный Печерский монастырь. Его «Третьяковка»: удивительная русская живопись, украшавшая стены длинной, восходящей лестницы, куда мы с Саввой уединялись на тайный перекур. Благодатные ночи под иконами с лампадкой в монастырской келье, погружённой в глубокую, словно вечность, тишину. Бархатный гул колокола, помогающий душе уноситься в горние выси.

Во второй половине нашей жизни Савва, по-детски обижался на меня за то, что я в своих интервью говорю всё больше о Тарковском и очень редко о нём. Да, Андрей Тарковский был и остаётся для меня человеком моей судьбы, определившим мой творческий путь и мировоззрение. Именно он на съёмках «Андрея Рублёва» повесил мне на шею первый в моей жизни православных крестик. Он был и остаётся для меня недостижимой вершиной творческого величия. Однако сегодня, когда Саввы не стало, я полагаю на сердце руку, признаюсь в том, что дружба с Саввой и его духовное водительство оказали не менее значительное влияние на моё духовное становление. Андрей появлялся в моей жизни периодически, как солнце в оконце, а мой близкий друг Савва был рядом постоянно. Именно он выводил меня на просторы Святой Руси, помогал делать первые шаги по новой для меня дороге, ведущей к Храму, ненавязчиво руководил моим духовным, православным восхождением.

Именно Савва Ямщиков, по промыслу Божьему, стал первым в атеистической России организатором масштабных выставок икон. Представить невозможно, но это было тогда, в шестидесятые годы советской богоборческой действительности. Именно тогда в самых престижных выставочных залах Москвы Савелий Ямщиков знакомил столицу с шедеврами древнерусской живописи, издавал монографии и альбомы.

На этих выставках встречались и соединялись в единый духовный поток лучшие представители советской культуры второй половины XX века.

В молодости, Савелий был похож на русского Фальстафа: был плотен фигурой, скрывал от окружающих свои телесные страдания. В детстве он заболел полиартритом. Всю жизнь ему было трудно передвигаться, болели ноги, но угнаться за ним было сложно даже мне, более молодому и здоровому человеку. Савелий был по-русски щедр. Денег не считал, платил за всех. Он любил сытно, вкусно поесть, выпить, ценил женскую красоту, дружеские застолья, анекдоты, песни. И в каждом застолье – страстные разговоры о мировой живописи, искусстве, литературе, поэзии, кинематографе, театре, архитектуре, политике... Он был фундаментально образован и непримиримо бескомпромиссен в отстаивании своих убеждений. Спорить с ним было невозможно: он сметал противника, как бульдозер, и с шумом двигался вперёд. В своих суждениях об искусстве и о людях был строг и категоричен. Не примирим, к врагам русской культуры и любимой им России: бросался в бой с любой «нечистой силой», не соизмеряя свои возможности с административно-весовыми категориями своих противников. И всегда побеждал.

Савелий Васильевич Ямщиков всю жизнь совершал своё неукротимое, русское восхождение, свой духовный подвиг: работа реставратора и искусствоведа, выставки икон, книги и статьи, консультации художественных и документальных фильмов, ведение телевизионных программ о культуре и искусстве, соработничество с Н.С. Михалковым на поле боя Российского Фонда Культуры. Академик РАЕН, член Союза журналистов, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Президент ассоциации реставраторов России...

Истинный, бесстрашный патриот своей Родины, о котором можно сказать «и один в поле воин». Савелий Васильевич Ямщиков был подлинным апостолом Русской культуры второй половины XX начала XXI веков. Своим подвижническим служением он навсегда завоевал своё почётное место в пантеоне культуры Святой Руси и благодарную память потомков.

Памяти Стево Жигона

Десять месяцев тому назад, на исходе 2005 года, скончался великий сербский режиссёр, актёр, академик Международной Славянской Академии науки и искусств Стево Жигон. Первый лауреат высшей награды первого Международного театрального форума «Золотой Витязь» Золотой медали имени Н.Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство». В те скорбные дни в Белград от «Золотого Витязя» были направлены слова прощания с нашим дорогим другом, которые были зачитаны на кладбище, перед самым погребением Мастера:

«29.12.2005
Госпоже Елене Жигон,
Госпоже Иване Жигон,
Вице-президенту
МФ «Золотой Витязь»
Господину Йовану Марковичу,
Сербскому народу

Дорогие друзья!

Уход человека – естественное, сокровенное условие Создателя. Мгновение перехода души – мгновение Истины, обнажающей значимость этой души для мира. Значимость души великого сербского режиссёра, артиста, мыслителя Стево Жигона для сербской, славянской, мировой культуры будет отныне всё отчётливее осознаваться осиротевшим сербским театром и сербским народом, пламенным патриотом которого был славенец Стево Жигон».

60 ролей в театре, 40 в кино и на телевидении, более 50 спектаклей, и каких спектаклей! – такой творческой биографии можно позавидовать. Ему и завидовали...

Режиссёр Стево Жигон выбирал то, что было ему по плечу – великую русскую и мировую драматургию: Шекспир, Достоевский, Чехов, Горький, Нушич, Црнянский...

Стево Жигон любил Россию не меньше, чем Сербию и страдал за извращение прямых путей славянского мира. Россия высоко ценила талант Стево Жигона. Именно он стал первым Сербским Академиком Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры.

Не случайно и то, что в России, богатой именами выдающихся мастеров театра, именно сербский режиссёр Стево Жигон был избран лауреатом №1 высшей награды Первого Международного Театрального Форума «Золотой Витязь» – Золотой медали «За выдающийся вклад в театральное искусство», а спектакль Стево Жигона «Идиот» был отмечен главным призом – «Золотой Витязь», который как добрый страж стоял у смертного одра великого Мастера в момент его перехода. Стево Жигон одним из первых сербов вступивших в Международное Объединение Кинематографистов Славянских и Православных народов.

Помню нашу последнюю встречу в Москве, на сцене театра на Таганке, в момент триумфа Стево Жигона, когда Никита Михалков вручал ему нашу высшую награду. Момент счастья печального Мастера. Когда ему преподнесли, специально для него написанную в иконописной мастерской икону Спасителя, он, шутивший о том, что он человек неверующий, благоговейно поцеловал лик Спасителя.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Упокой душу новопреставленного раба Божиего, великого сына сербского народа Стево.

Вечная ему память и благодарность от любимой им России, от «Золотого Витязя» и двенадцать тысяч коллег Мастера по Международному Объединению Кинематографистов Славянских и Православных Народов...





ПОЭЗИЯ

Магомед АХМЕДОВ

Магомед Ахмедович Ахмедов – известный российский дагестанский поэт, Председатель Правления Союза писателей Дагестана. Его поэзия следует в русле национальных традиций, которые развили и укрепили его великие земляки – поэты Гамзат Цадаса и Расул Гамзатов. Один из ведущих поэтов Дагестана, пишущих на родном аварском языке. Основные мотивы его стихов – любовь к родной земле, размышления над загадкой жизни, философское осмысление исторических судеб Дагестана и России...

Живёт в Махачкале.



Мне снится Родина...

На берегу реки, знакомой с детства,
Сижусь я вновь, спустя немало лет,
И трепетно прислушиваюсь к сердцу,
Уставшему от странствий и побед.

И мысль о том, что в этих быстрых водах
Вся жизнь моя, мне душу берedit.
Но вновь тревожат прожитые годы:
« – Забудь про речку, море впереди! ».

Вдали бушует море бесконечно,
Чтоб детство заглушить во мне скорей.
Познал я море, но родная речка,
Всё ж для меня дороже всех морей!

Как будто облака терзает ветер,
Лихое время нас, людей, терзает.
Как молнии сжигают всё на свете,
Меня тревогой мысли обжигают.

Померкло Солнце, что казалось вечным.
Душа страдает о родном народе.
Я так устал от странствий бесконечных.
Земля большая из-под ног уходит.

Родной язык аварцы забывают,
И боле не поют родные песни.
И всё, что повсеместно происходит,
Ко мне приносит лишь дурные вести.



Лишь в прошлом я и счастлив и свободен,
Я в нём оставил лучшие мгновенья.
И голос мой дрожит, когда сегодня
У века своего прошу прощенья.

Но кто меня поймёт, и кто услышит?
И для кого я душу надрываю?
Рыдает сердце, грудь неровно дышит.
...Родной язык аварцы забывают.

Двое

1.

Ребёнок резвый по дороге мчится,
Смеясь от счастья.
Какая радость нынче у мальчишки,
Чтоб так смеяться?

Старик седой над посохом склонился,
Рыдает глухо.
Какой печалью он отяготился,
Упавший духом?

Смеюсь и я порою, как ребёнок,
Во дни удачи.
Как старец, сединою убелённый,
Порою плачу.

2.

Бежит мальчишка, горестно рыдая
На всю округу.
Кто смог обидеть юное создание?
Кто поднял руку?

Спешит старик, и ласково лучатся
Улыбкой очи –
Что за мгновенья призрачного счастья
Она пророчит?

Порой и я, как мальчик, от обиды
Глотаю слёзы,
И улыбаюсь, как старик забытый,
От сладкой грёзы.

В лихое время, где безверье – вера,
Где царство кулака да скрип зубов,
Где правит человек с повадкой зверя,
Я одинок, печален и суров.

Я в похвале притворной не нуждаюсь.
Я в хадж ходил, входил в священный Храм.
И всех врагов сегодня я прощаю,
Ведь так Всевышний заповедал нам.

Поэт

Михаилу Андрееву

Извечные вопросы человека,
Как эхо, повторяются в веках,
Со дня Творенья требуют ответа –
В рыданиях, откровеньях и мольбах.

Один клеймит жестокость мира злого,
Другой жалеет мёртвых и живых,
Но лишь один поэт находит слово,
Чтоб достучаться до небес глухих.

Но в час, когда услышит Бог поэта,
Толпа побьёт камнями смельчака,
А если песнь его угодна свету,
С небес карает Божия рука.

Идёт поэт, камнями побитый,
И мир несёт на согнутых плечах.
В его душе дымится поле битвы,
И свет молитвы у него в стихах.

Глядит на небеса – и только слёзы,
Страданья слёзы орошают след.
Одна земля вокруг, одни вопросы,
И эхо тех вопросов – он, поэт.

Простая песня

Добра и зла не перепутай дверцы,
Предназначение правильно пойми.
Пусть будут руки чистыми, а сердце –
Открытым перед Богом и людьми.

Доволен будь ниспосланным уделом,
И бедняком не станешь никогда.
Уйдёт во тьму твоё земное тело,
А Родина – одна и навсегда.

Час расплаты

Вот, пробил час (кто слышит – тот услышал!),
И свет померк, как сто веков назад.
Планета сатанинской злобой дышит,
И нас влекут кумиры прямо в ад.

Вокруг пальба и паника людская.
В чести бандит, убийца, сутенёр.
Империю трещат, как ткань гнилая,
И кровь кругом, и ужас, и раздор.

О, злоба дня.. А вот кумир вчерашний
Забыт сегодня и лежит в пыли.
Всё продано кругом, и жить так страшно,
А звон монет тревожит и хмелит.

Но если вдруг прозренья день настанет,
И если пробудившийся народ,
Услышав голос Бога, вдруг восстанет,
И час возмездья правого пробьёт –

Тогда они своей заплатят жизнью,
Народный гнев не в силах побороть,
Продавшие священную Отчизну,
Которую доверил им Господь.

А ныне – низвергают с пьедесталов
Кумиров героических эпох.
Горит земля – она страдать устала,
И гневно смотрит с неба грозный Бог.

Восстал единоведец-брат на брата.
Распалась нерушимая семья.
Измученные женщины во мраке
Всё молятся о детях и мужьях.

Смотри, они над трупами склонились!
Хохочет век грядущий, молодой!
Вокруг дымится свежие могилы,
И слышен женщин безутешный вой!..

В вот уже в надежде нет спасенья,
И боль клокочет в сердце у меня.
Я вижу тень грядущих потрясений,
Я слышу стоны завтрашнего дня.

Пришёл и к правоверным час расплаты,
За то, что мы забыли наш завет.
Больное солнце катится к закату.
Грядёт пора, где будущего нет.

Горная речка – не Чёрная речка,
 Это поэзии чистый родник.
 Предвосхищая желанную встречу,
 Вновь к небесам я душою приник.

Горная речка – не Чёрная речка,
 Но отчего-то припомнилось тут:
 – Пушкин склоняется смерти навстречу,
 Пулей сражён, умирает Махмуд.

Ночной цветок

День сгорел и угас,
 И уснули цветы.
 На земле в этот час
 Только сны и мечты.

И один лишь цветок,
 Что сквозь камень пророс,
 До рассвета цветёт
 Среди полуночных грёз,

Как на небе звезда,
 Как во мраке свеча,
 И поёт он, когда
 Все другие молчат.

И от той красоты
 Среди видений и снов
 Все земные цветы
 Пробуждаются вновь.

– Кто же этот цветок,
 Эй, поэт, отвечай?
 – Эта песня моя,
 Что цветёт по ночам.

Ведь поэту нужна
 Только песня одна,
 Вдохновенья исток –
 Полуночный цветок.

На той земле, где я родился,
 Звезда любви не угасает.
 На той земле, где я родился,
 Волненье сердца не стихает.
 Здесь, у родного очага я
 От одиночества спасаюсь,
 И здесь, от этого огня я
 Для жизни силы набираюсь.

Родина

Когда вдруг предают друзья,
 И от обиды сердце рвётся,
 Мне только Родина моя
 Опорой в жизни остаётся.

Она прижмёт меня к себе,
 Утешит словом вдохновенным,
 И станет вдруг светлей в судьбе,
 И грусть уходит постепенно.

Она болит в моей груди,
 Она надеждой взор туманит.
 Она придёт и защитит,
 Когда беда опять нагрянет.

Отчизна, Родина моя,
 Высокий смысл и правда жизни!
 Ведь наш народ – одна семья,
 На всех одна – любовь к Отчизне!

Мне снится Родина. В душе
 И за окном моим светлеет...
 А остальное всё уже
 Теперь значенья не имеет.

Меня спросили как-то: « – Умирая,
 Чьё имя шепчет в этот миг поэт?»
 И все вокруг застыли, ожидая,
 Каким он будет, искренний ответ.

Я замер в размышлении глубоком,
 Остановившись на земном пути,
 Взвалив на плечи подлую эпоху,
 И с чёрным одиночеством в груди.

В полночном небе звёзды задрожали:
 « – Он, верно, шепчет наши имена!»
 Холодным светом жажду утоляли
 Они во все лихие времена.

Огонь, в печи затихший, вспыхнул снова:
 « – Моё он имя шепчет в смертный час!
 Ведь нет любви без очага родного,
 И счастья нет без Родины для нас...»

И только сердце отвечало строго,
 Диктуя мне в ночи тревожный стих:
 « – Поэт пред смертью шепчет имя Бога,
 Когда грядёт его последний миг».

И я подумал, пред жестоким веком
Не изменив призванью своему:
«– Когда гнетёт безвременье поэта,
Лишь Бог даёт терпение ему».

Потом взглянул на небо – там, высоко,
Душа звучала среди миров иных:
«– Поэт пред смертью шепчет имя Бога,
Когда грядёт его последний миг».

Всадники

Ускакали за дальний хребет вдохновенные всадники,
Позабывши про тех, кто остался в домашнем тепле.
Перед каждым – большая дорога, пути и скитания.
О минувшем не думает всадник, качаясь в седле.

На горячих конях ускакали джигиты свободные,
Затерялись в бескрайней дали – не отыщешь следя.
Им подвластны и горные тропы, и степи бесплодные
В этом мире большом, где свободны они навсегда.

Ускакали... Но их имена, что в сраженьях прославлены, –
У народа в сказаньях навек сохранились они.
И до нынешних дней, вдохновлённые подвигом дней иных,
Прославляют поэты, как встарь, Агульхо и Гуниб.

Все мы – всадники в жизни, солдаты, джигиты и ратники,
И в безудержной скачке сгорят наши краткие дни.
И летят наши кони по жизни, и каждого всадника
На безумном скаку испытают на прочность они.

Конь поэта крылат, и даны ему крылья бесплотные
Для большого полёта в бессмертье на этих крылах.
...Почему же сейчас возглавляют движенья народные
Деревянные всадники на деревянных конях?

Николай Рубцов

Порой в ночи мне светят безмятежно
Зелёным светом звёзды с высоты.
Порой мне улыбаются безгрешно
В больших лугах зелёные цветы.

Любой поэт всегда стремится к звёздам,
А тот, кто не стремится – не поэт.
И вот в Гунибе русские берёзы
Листвой зелёной машут мне вослед.

Я в Вологде, я у твоей могилы
Стою с печатью скорби на челе.
Поэт, тебя любимая убила,
Ведь так бывает часто на земле.

Льют на могилу свет зелёный звёзды,
Цветут на ней зелёные цветы...
И в Вологде гунибские берёзы
Своей листвой мне машут с высоты.

И внятны мне, как и тебе когда-то,
Святые звуки песен неземных.
Они с небес струятся в час заката,
Хоть на земле поймут не сразу их.

По всей России сквозь лихие годы
Летит твой стих пылающий во мгле.
Как я хотел бы в тяжкий час невзгоды
Отдать тебе свой горький горский хлеб.

Тебе Россия памятник воздвигла –
Стоишь ты с чемоданчиком в руке.
Пальто и шарф, а за спиной видно
Тот чёрный мир, где жил ты налегке.

А впереди, где медленно светает,
Последний пароход плывёт в рассвет.
Последние поэты уплывают,
И ты рукою машешь им вослед.

Кладу я тихо на твою могилу
С высоких гор зелёные цветы,
А на вершины льётся что есть силы
Зелёных звёзд сиянье с высоты.

Расул Гамзатов

Язык аварский плакал безутешно,
Когда Поэт свои закончил дни.
Безгрешным не был ты, но был безбрежным –
Бушующему Каспию сродни.

Душа Поэта обрела свободу,
А горской тайны смысл понятней стал.
Исполнен силы своего народа,
Ты цену слову подлинному знал.

Ты Дагестан открыл для всей планеты,
Чтоб слушали влюблённые земли
Пандур аварский с ночи до рассвета,
И разомкнуть объятия не могли.

Пред веком ты стоял непоколебимо,
В стихах ни перед кем спины не гнул.
Страна любви вовек несокрушима,
Покуда о любви поёт Расул.

Твою улыбку добрую я помню,
И речь, что искромётна и легка.
Твой стих любовью к жизни переполнен,
И в каждом слове – мудрость на века.

Когда ушёл ты, песня измелъчала,
Ей до тебя подняться тяжело.
Бездарности друг-друга величают,
Они ликуют – время их пришло.

Ты друг мне был, товарищ и наставник,
Родной аварской речи океан.
...Язык аварский плачет непрестанно,
Рыдает о потере Дагестан.

Перевод с аварского Ивана ГОЛУБНИЧЕГО



Берендеево царство

На закате, когда ни одной живой души уже не встретишь на улице, когда падающее за горизонт светило успевает окрасить предметы в невозможные во весь остальной день и потому неизменно волнующие тона; когда длинные, корявые тени, похожие на тоскующих призраков, расползаются от домов и деревьев; когда две прекрасные и пугливые птицы – тишина и неподвижность – прилетают из неведомого края и складывают свои крылья – в этот час кажется, что Берендеевка – не просто обнищавшее и опустевшее село у станции, но действительно уголок Берендеева царства. Той русской сказки, где кричат кикиморы на болоте, где леший плачет в лесной глуши и где кресты, словно сотканые из золотых лучей, неподвижно парят тут и там в воздухе, ограждая Русь от злых чар и наваждений.

Но обманчив предзакатный свет, искажающий цвета и очертания. И нет больше Берендеева царства. Лишь забрезжит утро, как всё предстанет в настоящем своём виде, и то, что в сумерках казалось прекрасным, покажется вдруг жалким, что было страшным, исчезнет вовсе, а то, чего никто не видел, вдруг явится и потрясёт своим безобразием.

Те несколько переплетающихся улиц вокруг церкви называют в народе – «Лизки». Хотя у каждой улицы есть своё название, едва различимое на чудом сохранившихся ржавых табличках, приколоченных кое-где к домам, эта часть села имеет особое прозвище. Лизкой звали жившую в похожей на конуру избе слабоумную, которую сельские боголюбивые старухи почитали, однако, юродивой. Но если и допустить, что Лизка юродствовала, то уж точно не Христа ради.

Просто от самого своего рождения, а может, и от хаотического зачатия, была Лизка обделённой и убогой, так что даже говорить толком не выучилась. И всю свою недолгую жизнь – а умерла Лизка шестнадцати лет – она только и делала, что мычала. И когда стали потом вспоминать, то выяснилось, что никто и никогда кроме слов «деги», что на Лизкином языке значило «деньги», от Лизки не слышал.

Случалось Лизке и неистово кричать, словно от страшных болей. А иногда выскакивала она на улицу и пугала прохожих. Даже те, кто знал Лизку, а знало её всё село, невольно вздрагивали, когда она вдруг появлялась и дёргала за рукав, приговаривая: «Деги, деги...» Так что, стоит ли удивляться проклятиям, а то и тумакам, которыми нет-нет, да и награждалась Лизка.



Светлана Георгиевна Замлелова – родилась в Алма-Ате. Окончила РГГУ. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств.

Живёт в Сергиевом Посаде.



Но бывало это в сердцах и с перепугу. А нарочно зла Лизке никто не делал. В народе всегда не то, что любили таких людей, и даже не то, что жалели, а как-то побаивались, и, как злых духов, старались задобрить – отсутствие любви нередко восполняется страхом.

Пробовал отец Николай, живший по соседству, рассказывать Лизке о вере. Лизка внимательно слушала, а когда отец Николай умолк, сказала: «Деги, деги...» И отец Николай оставил свою проповедь.

Отчего Лизка умерла, никто не знал толком. Говорили не то что-то о сердце, не то о лёгких. Версии высказывались разные, включая самые невозможные. Так, Лизкина бабка утверждала, что Лизку де «ангелы взяли». И что будто бы она сама видела, как среди ночи появились откуда-то «люди, не люди... а в белых одежах», взяли под руки Лизку и пошли по лунной дорожке. Все знали, что у бабки роман с Бахусом, но всё равно верили. Хотели верить.

Когда Лизку хоронили, день был влажный, с изморосью. И это тоже работало на Лизкин авторитет – повторяли: «природа плачет».

Про окраину села, где стояла церковь и где ещё совсем недавно можно было услышать: «деги, деги...», стали говорить: «...это там, где Лизка жила». Потом: «где Лизка». А там и просто: «Лизки». О тех, кто жил там, говорили: «живут на Лизках».

Одним из примечательных обитателей Лизок был отец Николай, пожилой настоятель Берендеевской церкви, до недавнего времени пустовавшей, а потом вдруг наполнившейся старухами, как стакан молока, оставленный летним днём где-нибудь на открытой веранде, мошкаррой. Тому, что народ Божий потянулся в храм, отец Николай радовался. Хотя и отмечал про себя, что одни тянутся по вере, другие – от скуки, а третьи – за неимением другого места, где бы можно было, пусть на время, сбросить груз содеянного доньше, неотвязно носимый, точно горб, истязующий и уродующий.

Несмотря на пестроту и неказистость, «народ Божий» оказался сбит в такое прочное целое, что раз отколовшийся уже не мог вернуться назад, как невозможно приставить на прежнее место отбитый кусок вазы или глиняной чашки. Зато и новичков, неискушённых и не успевших показать норы, приход затыгивал и держал крепко. Точно гонимое ветром облако или стая оводов, носящихся над пажитью – в пространстве и времени Берендеевки приход не делился на личности и не имел лица. И если что-то случалось внутри прихода, трудно было сказать, кто виноват или, напротив, благодаря кому случилось.

Был отец Николай одинок – попадья умерла уже очень давно, через год после венчания, когда только окончивший семинарию батюшка лишь вступил на избранный путь. К матушке свой отец Николай исходил нежностью и любил, бывало, смотреть на неё спящую. В другой раз он жениться не мог, да и не хотел. Но образ оставившей его жены стал постепенно как будто таять в памяти отца Николая, пока наконец не осталась в воспоминании лишь её рука от запястья до локтя – белая, полная, гладкая, похожая на сахарную голову.

Жилищем батюшке служила крошечная избушка, сложенная из толстых потемневших брёвен. Такими толстыми были брёвна и такой маленькой сама избушка, что казалось, будто срублена она из огромных поленьев, наколотых какими-то великанами для исполинской печи.

Старое лицо отца Николая, опутанное морщинами и заляпанное пятнами, небрежно посаженными временем, с развевающейся паутиной волос и бороды похоже было на замшелую лесную корягу. Но глаза, отказавшиеся выцветать и остававшиеся синими, оживляли это лицо. Эстет и любитель изящного отметил бы сходство отца Николая с врубелевским Паном. Только в отличие от лукавого Пана, лицо отца Николая было наивно и сверх всякой меры добродушно – никогда не находила на него тень раздражения или недовольства.

Вокруг себя смотрел отец Николай то с восхищением, то с кротостью. Мир Божий приводил в восторг этого очарованного человека, перед которым точно приоткрыта была завеса вечности. Казалось, что, заглядывая за неё, отец Николай видел и понимал нечто, недоступное всем остальным. Оттого-то радость не оставляла его, оттого-то жил отец Николай, словно читал интересную книгу.

Сотворив мир, Господь остался доволен. И, глядя на отца Николая, можно было подумать, что он присутствовал при сотворении и приобщился Господней радости, прозревая с тех пор в каждом существе, в каждой вещи кругом себя десницу Творца.

И мечталось отцу Николаю, что, быть может, наступит такое время, когда в уединении и тишине, чтобы не отвлекал никакой суетный голос, в сосредоточении и молчании услышит он Ангельский хор и дыхание Духа. Но пока был приход, пёстрый и беспокойный, выслушивать множество визгливых и скрипучих голосов которого было долгом отца Николая.

Минул год со дня смерти Лизки, как в Берендеевке вдруг объявилась Маринка – её мать. Пьющей и оставшейся в городе без работы Маринке надлежало месяца, кажется, через три разрешиться от бремени. С тем она и прибыла на родину, посчитав, очевидно, что лучшего места ей всё равно не найти. Но родина встретила Маринку неприветливо.

В Берендеевке поджидала её целая свора имён и прозваний, которые, едва Маринка появилась у околицы, повыскакивали, точно собаки из углов и подворотен, и разом повисли на ней. Прозвища, из которых самым удобопроизносимым было «Непутёвая», отпускаясь по поводу Маринки односельчанами в награду за тот образ жизни, который она вела с юных лет и которым неизменно оскорбляла добродетельных земляков.

Рано узнавшая вино, рано вкусившая любовь, Маринка не видела и не хотела другой жизни. Когда-то Маринка была как все. Но именно это незаметное обстоятельство и определило всю дальнейшую судьбу Маринки. Когда начала она чувствовать своё тело, когда тело стало звать к ней, кокетничая и всячески стараясь привлечь к себе её внимание, Маринке вдруг вздумалось представляться перед сверстниками взрослой, а перед взрослыми – как-то по-особенному свободной. С этой целью Маринка отрезала себе косу, выстригла на лбу чёлку, как у обитателей конюшен, и при помощи таблеток гидроперита из русой сделалась ярко-жёлтой. Следующим шагом на пути Маринки к свободе стали сигареты «Прима», продававшиеся в сельпо и не отпускавшиеся продавщицей Валентиной учащимся. На селе было известно, что продавщица Валентина не самовольно попирает права юношества, но будучи в створе с директором школы и сельсоветом. Однако препятствие в её лице было вполне преодолимо – находился-таки какой-нибудь сердобольный, покупавший на деньги школьников сигареты, а после обильно угощавшийся из пачки.

Поначалу Маринка, чья неокрепшая душа сделалась заложницей крепнущего тела, «стреляла» сигареты у мальчишек, но скоро пришла к пониманию, что распоразжаться пачкой нужно самой. И как-то возле сельпо она подошла к тузлуковщику Коле и, протянув ему шестнадцать копеек, сказала как можно развязнее:

– Слышь, Коля?.. Возьми мне «Приму»...

Коля смерил Маринку взглядом и понял, что сигарета в зубах этой юной блондинки – только начало какой-то чадной феерии, в которой, возможно, найдётся и для него место.

Коля купил Маринке «Приму», и с тех пор они начали гулять. Так это называлось.

Ходили на Волчью гору, на гулянку в Погореловку – соседнюю деревню. Потом Коля увлёк Маринку в горох. Трескучие гороховые стебли кололись, точно выгалкивали вон непрошенных гостей. А Маринке нравилось и не нравилось. Коля был некрасивый, прыщеватый, с острым кадыком, глядя на который, можно было подумать, что Коля проглотил грецкий орех, и этот орех так и застрял у него в горле. Маринка смотрела на кадык и ей нестерпимо хотелось его потрогать. К тому же от Коли всегда пахло чем-то кислым, и Маринка невольно морщилась от этого запаха. Но Коля был лет на десять её старше, а Маринка льстило гулять со взрослым парнем, и она терпела Колю.

Скуку жизни можно преодолеть либо приняв её как непреложную и непобедимую данность, либо преобразив саму жизнь, либо одурманив себя. Самые несчастные люди – это те, кто рано приучился скучать, кто понял или хотя бы догадался, что земная жизнь трагична и уродлива, но, поняв или догадавшись, не нашёл в себе ни силы, ни таланта, ни дерзновения изменить хоть что-то вокруг. И несчастные до конца своих дней бывают, словно эриниями, гонимы не то тоской по утраченному блаженству, не то невозможностью утолить эту тоску...

Потом, чтобы скрыть последствия своей гороховой любви, Маринка сделала отчаянный шаг, а Коля сделал вид, что не знает Маринки. Но появились другие парни, охочие до суетных увеселений, неотъемлемой частью которых должна быть согласная на всё женщина. И феерия началась.

Мать Маринки вдовела уже много лет и на этом основании почитала себя обиженной, а потому ни во что, кроме своей обиды, вникать не хотела. Оттого, что она уж очень пристально всматривалась в себя, лелея обиду, ничего другого ей просто не удавалось увидеть. И лишь наслушавшись иногда от возмущённых товарок о поведении Маринки, мать принималась её воспитывать, охаживая полотенцем или другой какой тряпкой и повторяя те обидные слова, что уже вереницей тянулись за Маринкой по селу. Но потом этот пыл проходил, и она снова погружалась в какой-то тупой эгоизм, делая только то, чего нельзя было не делать. Так, например, нельзя было не выходить на работу – работала Маринкина мать мездрильщицей шкур на фабрике, – нельзя было не варить обед. И она ходила и варила. Да и суливший забвение Бахус давно уже тронул её сердце.

К тому времени, как Маринка явилась в Берендеевку на сносях, товарки её матери с фабрики образовали приход. Околоцерковная жизнь придавала обычным явлениям необычный смысл и окрашивала в причудливые краски. Смерть дурочки Лизки превратилась в кончину праведницы, приезд Маринки – в апокалиптическое явление блудницы. И если в Маринку не полетели камни, то исключительно благодаря прямому указанию свыше, так красноречиво и трогательно переданному евангелистом.

Отец Николай помнил Маринку и слышал, что о ней говорили. И потому, когда она появилась в храме – некрасивая, испитая, в старом лёгком пальто, не сходявшемся на животе – он поспешил к ней навстречу и, как можно более ласково, спросил:

– Ну что, Маринушка?

Отцу Николаю представилось, что Маринка пришла с покаянием. И хоть он гнал от себя ненужные мысли, но успел всё же подумать, что естественным для Маринки было бы пасть сей же час на колени и умыться слезами, воздев или заломив руки. Но Маринка, скользая глазами по верхнему ярусам иконостаса, откуда взирали вниз обеспокоенные пророки с развёрнутыми в руках свитками, сказала сильным голосом:

– Жрать нечего...

Сказала небрежно, не глядя на отца Николая, тупо шаря глазами по иконостасу, точно силясь понять, к кому бы тут лучше обратиться за куском. И казалось, что Маринке просто хотелось отговориться от назойливого попа и что своим словам она не придавала смысла, который был в них заложен. Но отец Николай, вдруг устыдившийся чего-то и с болью рассматривавший жалкую фигуру захожанки, не сомневался, что именно так, как говорила Маринка, или очень близко к тому, дело и обстояло. И для Маринки, и для её непутёвой матери, и для неповинного пока ни в чём, не успевшего даже родиться младенца.

Отступив от Маринки в смущении, отец Николай уже знал, что ему делать.

Жалования, положенного отцу Николаю приходом, по праву распоряжавшегося и хозяйством, и финансами храма, хватало одинокому и неприветливому священнику с лишком. Что было нужно старику, первым и единственным удовольствием которого была молитва? Лоскут крашенины да кус квашенины – сыт и одет. Вот почему на кухне у отца Николая, на полке с крупами, в жестяной советской коробке из-под конфет хранились российские банковские билеты. Образу жизни и скудными потребностями отца Николая жестяная коробка была обязана тем, что билеты в неё только укладывались. Но никогда не изымались. И вот впервые за всю историю своего служения сейфом жестяная коробка с башнями Московского Кремля на крышке приоткрылась для того, чтобы опустеть.

Башни Кремля перемигнулись красными звёздами, петли скрипнули деловито, старческая рука опустилась в коробку и, силясь захватить содержимое, процарапала несколько раз по дну окостенелыми ногтями. Наконец крышка захлопнулась, и пустая коробка отправилась на полку к крупам. А отец Николай отправился к соседкам.

На другой день в Берендеевке обсуждали исчезновение Маринки с крупной суммой, подаренной ей отцом Николаем. Кто-то восхищался старым священником, кто-то злорадствовал, а кто-то даже уверял, что «такие деньги просто так не дают», намекая на причастность отца Николая к интересному положению Маринки. И только приход хранил молчание. Пока наконец чей-то скрипучий голос не произнёс язвительно:

– Видать, много мы ему платим...

И хоть все знали, что отец Николай не покушался на чужое, что деньги, исчезнувшие вместе с Маринкой, действительно были его деньгами, но где-то с самого края прихода, а, может, напротив, в сердцевине его, что-то вдруг шевельнулось. Тотчас зашевелилось что-то и рядом, а в следующий миг движение передалось уже во все концы. И приход всколыхнулся. Пестрея павловопосадскими огурцами и розами, приход раскинул множество рук со скрюченными полиартритом пальцами и завизжал, заскрипел на множество голосов.

Кассу создавал приход и распоряжался ею тоже приход. И вот теперь выходило, что оторванные от дома и принесённые в церковь рубли и копейки оказались, с лёгкой руки отца Николая, в кармане у той, о которой лучшее, что можно было сказать – это «непутёвая».

В субботу на вечерню собрался весь приход. Глухо постукивая палками, пришли даже те, кому трудно было ходить. На службе вели себя заговорщицки: переглядывались, перешёптывались, те, кто стоял ближе к солее, поминутно крутились и делали знаки тем, кто пришёл позже и стоял у входа. А когда вечно суетящаяся Наталья Ивановна обошла всех и с озабоченным лицом, глядя на которое можно было подумать, что началась война и Наталья Ивановна торопится сообщить об этом, поведала о чём-то на ухо каждому, по церкви, словно лёгкий ветерок, разнеслись слова: «Не расходимся... не расходимся... не расходимся...»

Только отец Николай ничего не слышал и ни о чём не подозревал, но служил самозабвенно, шествуя мимо заговорщиц в клубах дыма кадильного, точно Сам Господь Саваоф среди предавших Его первых людей.

А когда окончилась служба, приход взял в кольцо отца Николая в притворе. Сначала никто не решался заговорить о «деле», и речь шла о пустяках. Кто-то некстати заметил, что «весна в этом году затяжная, хотя и Пасха была ранняя». Отец Николай отвечал что-то о терпении и о том, что «Господь, должно, скоро уж порадует нас солнышком». Кто-то сказал, что «сажать пора, а в огороде всё снег». И отец Николай с неизменной улыбкой ответил, что «под солнышком стает, а во влажной земле взойдёт лучше». И все эти слова – о солнышке, о тепле, о скорых всходах – ублажили старух и как будто притушили искры негодования, принесённые для того, чтобы, быв брошенными к ногам отца Николая, разгореться в пожар. Пожар той бессмысленной, но питающей душу злобы, которую для удобства и самооправдания нередко называют любовью к справедливости. Но в то самое время, когда показалось, что вот сейчас все разойдутся и нелепая история с непутёвой Маринкой будет забыта навсегда, раздалось скрипучее:

– Да уж... кабы не огород, околели бы...

И тут же, словно опомнившись и опасаясь, как бы снова не подпасть под обаяние отца Николая, старухи заголосили:

– ... Живём небогато, надо думать!..

– ... Последнюю копейку от себя в церкву несём!..

– ... А он нашу пенсию – шалаве-Маринке!..

– ... Если лишние, так уж вернул бы!..

Отец Николай пробовал что-то отвечать, но его не слушали. В лицо ему летели новые обвинения:

– ... Своих полюбовниц на наши деньги содержит!..

– ... Постыдился бы! Старый ужо!..

Кругом себя отец Николай видел то сморщенные жёлтые щёки, то налитые красные. От духоты и расплывшегося запаха затхлости закружилась голова у старика, не всегда даже и понимавшего, кто задаёт ему вопрос. Куда бы он ни повернулся, перед ним, точно нанизанные на нитку, прыгали старушечьи лица с колючими глазками,

с топорщащимися, похожими на стерню остатками бровей. Ему стало тяжело дышать, но вместе с тем вдруг нестерпимо жалко сделалось набрасывающихся на него старух. Как человеку, отправляющемуся в края благословенные, бывает жалко тех, кто остаётся в опостылевшем мирке. Он вдруг увидел, что старухи корчатся от неведомой, мучительной боли, превозмочь которую нет сил, а исцелить – невозможно.

– Господи! – вдруг воскликнул он. – Не ве...

Но закончить он не успел, потому что в это самое время старухи исчезли, и звуки музыки, от которой в восторге замирала душа, донесли до его слуха...

Когда отца Николая хоронили, день был пасмурный, влажный с изморосью. Улицы щетинились грязью, вода в лужах брезгливо морщилась. Но к вечеру прояснилось. И, не успев упасть за лес, красным масляным шаром стало солнце. Берендеевка опустела и преобразилась.

А ещё через год случился пожар в Берендеевке. Как и отчего зашлась пламенем пустовавшая избушонка отца Николая, осталось неизвестным. Спасти осиротелый дом никто и не пытался. Думали только, как бы не дать огню расползтись по соседним дворам. И уже к вечеру на том самом месте, где жил отец Николай, стояла среди груды пепла и головней обугленная печка, точно пьяная баба, сбросившая враз одежды. Но когда высох остуженный дождём пепел, когда расточился смрад мокрых углей, печку разобрали на кирпичи. И ничего, кроме церкви, не напоминало более об отце Николае. Слово его никогда и не было.

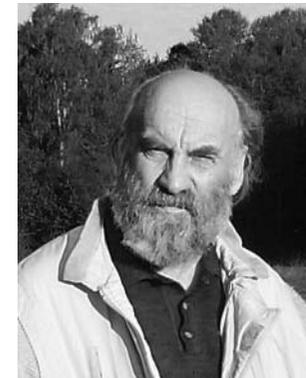


ПОЭЗИЯ

Юрий БОГДАНОВ

Юрий Николаевич Богданов – поэт, переводчик. Родился 8 августа 1944 года в г. Горький. Окончил Минское музыкальное училище им. М. И. Глинки (1964 г.) по отделению народных инструменты, работал преподавателем в музыкальной школе г. Барановичи Брестской области Белорусской ССР (1964-71 гг.). Состоял в КПСС (с 1969 г.). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького Союза писателей СССР (1974 г.). Член Союза писателей с 1989 г. Член Президиума и Правления МГО СПР.

Живёт в Москве.



Плелись венки для многих в бранном поле...

Сонет 69

О веле великий собор во Смоленске:
И пенье прозрачное льётся с хоров,
В кадьном дыму, стеариновом треске
Молитву читает седой богослов.

Из мрака выходят иконы и фрески –
Ожившие тени земных праотцев.
Восходит алтарь золотой в поднебесье –
Нисходит на грешников мир и любовь.

И словно замедлилось века движенье:
Как ниточка чувствуешь кровь плащаниц
И звуком вплетаешься в тихое пенье.

Пред иконостасом я падаю ниц,
Не видя ни глаз отрешённых, ни лиц,
Очищенных душ неземное свеченье.

Сонет 80

Мы ложились под смрадные танки,
На себе поднимая кресты
До небес... И осколками склянки
Затмевалось мерцанье звезды.

И пульсировал красно из ранки,
Заливая траву и кусты,
То ли свет занебесной вагранки,
То ли крови родник с высоты.

И пронизана звёздной шрапнелью
Наша воля – последний редут...
Пахнет мокрой предсмертной елью

Под набрякшей дырявой шинелью.
Слышен где-то далёкий салют,
А враги всё идут... и идут...

Сонет 88

Не сломленный властью, страданиями ум
Упорством накликал судьбину лихую.
От веры в себя отрекись, Аввакум,
И жить будешь мирно с Тишайшим втихую.

Борец, проповедник, поэт, вольнодум
За правду – в сражение напропалую,
Народу – служитель, святошам – не кум,
Гордыню свою не смирил удалую.

Сподвижницей духа шла рядом жена,
Прощала грехи, но умела и верить.
А горя и слёз ей хватило сполна.

Сей подвиг славянки ничем не измерить.
На муки и смерть, чтобы веру проверить,
Пошла, как за Богом, за мужем она.

Сонет 89

Российские опальные звоны
За бунт в Сибирь морозную ссылали,
Им языки да уши отрезали,
Не доказав злодейства и вины.

Набата, как явленья сатаны,
Боялись те, что власть в руках держали.
Звоны над Русью пели и стонали –
Предвестники победы и войны.

Чтоб мой народ всегда был свят и волен,
Снимали в переплавку с колоколен:
Гремела в пушках медь колоколов.

Звоны-малютки – от ворожей силы
Мы на руках, как деток, уносили:
Набатным гулом отзывалась кровь.

Сонет 90

Не поняты «Полтава», «Пугачёв»,
Не принято «Клеветникам России»!
Не черни вероломная любовь –
Друзей измены сердце надсадили.

Текущий век был для него не нов:
Морозной петлей стих передавили.
Не скрыться от фальшивых царских слов –
Враги в свинец смертельный их отлили.

Он мужественно в даль времён шагнул:
За грань веков и преходящей славы.
Небесный дар признал и вельзевул.

Ушёл вперёд легко и величаво,
Касаясь звёзд главой своей курчавой...
Звук выстрела Вселенную качнул.

Сонет 95

Земле и небу пел Ростов Великий,
И слово замирало на устах,
И тоньше становились наши лики,
Как у святых на древних образах.

С колоколами – солнечные блики
На золотых звенели куполах...
Мы к восклицаньям тихим не привыкли:
В них затаился безотчётный страх.

Во тьме веков, в лесу противоречий
Услышим истин пламенные речи,
Чтоб ум холодный светом обожгло?

Таинственным делам не даст огласку
И не подарит бабушкину сказку
Увиденное страшным веком зло.

Сонет 100

Любить буду я до скончания дней моих скорых
Славянских пейзажей задумчивость и чистоту.
Излечат они безнадежные вечные хвори
И дух мой поднимут в заоблачную высоту.

Ветрами сорвут повседневности жёсткие шоры,
Вернут бескорыстно начальную ту простоту,
Которая предкам служила надёжной опорой,
И нам не позволит утратить благую черту.

Природа пыталась века опростить человека,
А он покорял её, делал, бездумный, калекой:
Рубил, осушал и спешил всё при жизни успеть.

И не сомневался, что шёл за счастливейшей долей.
Нашёл? Оглянулся? Утратил? И не оттого ли
Не можем сердечно уже сострадать и жалеть?

Сонет 118

Попали в наших дней водоворот
Святые книги, светлые иконы:
Свозили их со всей нечистой зоны,
Где был отравлен и металл, и мёд.

Незримым светом стронций землю жжёт
И ливнем хлещет по весенним кронам...
И снова Богу молится народ,
За истиною тянется к амвонам.

Стоял истлевший на развилке крест,
За ним – в тумане мёртвый рыжий лес,
Кололся воздух радиационный.

Сползал в закат кровавый неба срез,
Пречистый лик светился у Мадонны
Чернобыльским дыханием небес.

Сонет 128

Ты нас, разумных, завсе, Боже, крый
От трисплетённого пороком зла:
Лжи, зависти, гордыни, чтоб разлад
Не подрубил духовных наших крыл.

Когда пленял святую Русь Батый,
Немало русских вражий меч пожрал:
Чабрец от крови праведной пылал,
Но пред свирепым не склоняли вьей.

Отдавшие за веру свой живот,
Живут святые Фёдор, Михаил
Черниговские... Вера в Русь живёт!

Страданий чаша! Кто её испил
За всех за нас, тот завсе будет мил
Нам – сохранившим честь свою и род.

Сонет 129

За Игоря гибель отмстить возмыслилася Ольга:
С измученных тяжкой осадой взять ещё дань –
Три голубя, три воробья от подворья... И только...
Искоростень сжечь и пленить непокорных древлян.

Узрела в очах у младенцев, по-взрослому волглых,
Зелёные сполохи мести – готовых на брань.
Но горе и радость сжимали ей сердце... Поскольку
Сбирала народы под цепкую женскую длань.

Моление идолам – стало греховно-запретным:
Желанен Христос непорочным сердцам и уму –
И стрелы летели упрямо в язычества тьму...

Украшена разумом, верой сильна беззаветной,
Хотела, чтоб Русь не была безответной –
Металась душа и, спасаясь, молилась Ему.

Сонет 130

Внук Ольги и сын Святослава – Владимир
Взял веру у греков... Не страшен Перун:
Гневясь, тот стрелой расщепляет валун,
Но князево слово колюче, как сивер.

Пока дух былинный в народе не вымер,
Не вытопчет росы ворожий табун,
Дорогу не скривит злодейский кликун...
А коль на защиту не встанем всем миром

Духовность спасём от разора в пух-прах?
Не с нравоученьем и глупым запретом
К потомкам придём... А под знаком обета –

С добром и любовью в словах и делах...
Но в поисках доли испросят совета
Иль тоже пройдут сквозь язычества крах?

Сонет 131

В сердце взрастил он своём злобные ковы...
И Святополка настигла расплата!
Глеб и Борис, убиенные братом,
Несут благодать и смиренное слово.

О, блаженные страстотерпцы Христовы,
В гибели вашей и мы виноваты:
На протяженье столетий стократно
В душах своих рушили предки основы.

Дух болен – природа сама одичала,
Сегодняшним днём подтвердилось начало –
На красном коне штурмовали мы брод.

И мчал эскадрон залихватски вперёд...
Мы братьев своих положили немало!
Но кто на суд праведный нас призовет?

Сонет 132

Феодосий, Антоний – Печерские иноки
Нарождали единое духом сословье...
Справедливости горькой святыне подвижники
Были равными с княжеской волей и голью.

Не иссушат злобу примитивные циники,
И закрепят законом в миру своеволие,
И во Храмах запляшут безумные призраки,
Да иконы стекнут, обагрённые кровью.

Возгорятся под Киевом хладные росы,
И прольются на мощи дождём проникающим:
Не живительно-радостным, не воскрешающим.

Гиблым светом пронзят нас днепровские плёсы,
Чтобы вняли гласам незаблудших, стенающих...
О, Антоний земной, о земной Феодосий.

Сонет 133

В лесах московских утлая обитель
Была твоим прибежищем простым:
И Бога чтил и соблюдал посты –
Великий делатель и душ людских целитель.

Тебе же свет поганый не постыл,
О, Сергей, духа русского хранитель
И воинов славянских ободритель –
В них веру победителей вселил.

Плелись венки для многих в бранном поле:
Отрагивали каждый свой булат...
С землёй и кровью смешан был закат –

Повержен хан в сей битве Куликовой!
Прозрел ты в мир, где нам указан путь,
И знаком огненным предназначенья Суть.

Сонет 135

Чудо сотвори, святитель Алексей,
Как твои светильники предтечи...
Ты у гроба, где лежит наш Пётр святой
Затешил молитвой жаркой свечи.

Джанибек-татарин страшен, аки змий –
Слепотой царицы рок отмечен –
Ждал с тобой, как со всевышним, встречи:
Ласкою сразил ты хана: «Не убий...»

Укротил любовным словом ярость
И очам Тайдулы свет вернул зари,
О разлад жестокий меж отцов, умри!

Чтобы чудо в каждого вселялось,
Проявись ко всем народам жалость...
Хан, Святитель, Человек, иди и зри!

Сонет 145

Навалилась лихая родня
И без права о деле судачат:
Очевидное ловко иначе,
Справедливое шумно браня.

Он почуял, что фразы – плутня,
Стал безбожник божественно зрячим:
Не захлопнула дверцу удачи
Перед смертью любви западня.

Хлеб солёный судьбы съел до крохи.
Весть несла на хвосте нам сорока:
Отвезли на забытый погост.

Дух уплыл в восходящем потоке,
Пальцы жёг оплывающий воск...
И Отечество вновь без пророка.

Сонет 147

Время духовной, иных революций:
И в атмосфере – магнитный разбой.
Мы разгребаем завалы инструкций,
Лес рубим – щепки и брёвна, долой!

Время газетных статей-эзекуций,
Чтоб ты признался, что тоже изгой,
Хоть не писал никаких резолюций –
Интуитивно поддерживал строй.

Кажется, старые песни отпеты:
В лёгком ходу анекдоты, памфлеты,
Плоские шутки, развратный интим

И наизнанку искусство, секреты...
Только народ мой не станет иным –
Горек и сладок Отечества дым.

Сонет 162

Холмы сиротские Отчизны:
Иссох лесок, исчезла гать,
Форели в речке не блистать.
Дед заразился нигилизмом.

И колорадовская рать
С чернобыльской отправят тризну
Над нашей сумасшедшей жизнью –
И к смерти надо привыкать.

Культура нынче не в чести:
С корнями русское свести,
Славян духовность уничтожить...

Уткнёмся в «ящик» пьяной рожей?
У поля, отчего спроси:
Что будем с внуками итожить?

Сонет 167

Стараюсь вековать неприхотливо:
Не брать чужие речи напрокат,
Не походить на бодренький плакат,
Вскрывать всё то, что мерзостно и лживо.

У совести не кланчил дубликат,
За временем не гнался торопливо,
С народом жил не противоречиво
И не претендовал на всеохват.

Я не чурался массового спорта,
По праздникам вино с друзьями пил,
Не выбивал дешёвенькие льготы,

Не знал, что значит в мирной жизни тыл!
Как можете: живите низко, гордо,
Но не срамите дедовских могил.

Сонет 175

Лучину вековечную не жги:
Не высветит огонь полуулыбки.
В пустынном поле не видать ни зги
И тени обступающие липки.

Не снег цветной, а праздников открытки
Под грязные ложатся сапоги...
От скрипа проржавелого калитки –
По всей округе долгие круги.

И едешь в тьму сквозь тьму между борозд,
В руках потеют старенькие вожжи,
И воют волки... И мороз по коже.

Подталкивает клячу шаткий воз,
А где-то рядом движется откос
И прошлое в телеге под рогожей.

Сонет 179

На разлив синеокой Нерли
Опустилась, как лебедь, с небес
Церковь белая – онемели
И поля, и темнеющий лес,

Отплясали в ночах метели,
Просвистел, словно лещий, экспресс...
Чтобы души во мгле уцелели,
Сквозь столетия светит нам крест,

Отражается в небе и водах:
Небосвод безмятежен и ал.
На заборе петух прокричал.

(И воспряла ботва в огородах),
Эхо долго не таяло в сводах:
Купол в утреннем солнце сиял.

Сонет 180

Под владимирским многовековым холмом
Клязьмы синь – васильковой излукою,
Надо всю российскую округою –
Купол Храма, как жаркий шелом.

Красоту не сберечь под кольчугою,
Не упрятать за тяжким щитом...
Расплатиться Руси страшной мукою,
Храм отдать супостатам – сором!

Разбивая у врат белокаменных стан,
Одолеть не надеялся гордых славян
Ни огнём, ни стрелою, ни ласкою,

Запечатать ордынскою басмою
Рты и мысли не смог сатанинский каган:
Мой народ окроплён агисмою.

Сонет 186

Возвышенно-таинственный санскрит –
Славянских слов и мыслей чистых предок –
Народам нёс тысячелетья веды,
А мы забыли древний алфавит.

Его едва ли знает эрудит,
Хотя ведёт «блестящие» беседы:
Присутствуют позиция и кредо
Но фраз кристальных – острый дефицит.

Нет, фолианты не изгрызли мыши
И слова смысл высокий не угас,
Слетевший с небеси на Мира Крышу.

Я верю в чудо, что любой из нас
Святым воскреснет, сквозь века услышав,
Отечества драгодостойный глас.

Сонет 198

Заалело небо на востоке:
Не крыла раскинула заря –
Как три солнца, шлемы! Руки в боки –
Выехали три богатыря.

Не в свои загаданные сроки:
В думе о земле, не словопря,
Вброд прошли вселенские моря,
Принесли былинные истоки.

Зашипели змеи по углам:
Вывелось Горынычей с лихвою –
Под завесой дымно-огневою

Развели задуманный бедлам...
На горе сияет белый Храм –
Колокол зовёт к началу боя.

Сонет 207

Глухие споры с каждым днём горче:
Душа черна, как заустельный скит,
Её дыханьем жарким не согрею,
Её уже ничто не исцелит.

Крошится в пыль исписанный графит –
Ямб охладел и вышел пыл хорея,
А ветер воли скоро захиреет,
Где знамя тени развернул Аид.

И космос, словно чёрная дыра,
Зрачок вонзает в душу без укора,
И над скитом лишь след от метеора,

А впереди алмазная гора,
Как аура воздушная Собора,
Бросает свет на остриё пера.

Сонет 220

Вся жизнь – игра. В игре последний кон
И карта вещая под пальцами в колоде...
И тянешь с дрожью, ощущая, вроде:
Во тьму летит крылатый фазтон.

Кто разумом вселенским одарён,
Тот нами полноправно верховодит
И страсти раскаляет рдяный горн,
И гонит мысль к мерцающей свободе.

Как ночь земная ласково-нежна
И с холодом космическим несхожа:
Два полюса – натянута струна.

И духом ощущаешь что дороже
Не Зодиаков дальних имена,
А Родина бревенчатая всё же.





Бородино – 1941

Когда гигант мысли и отец русской демократии Н.С. Хрущёв оповестил граждан СССР в 1961 году, в дни XXII съезда КПСС, об очередном проявлении «мудрости партии», состоявшем на сей раз в переименовании города Сталинска в город Новокузнецк, – я был совсем мальчишкой. Жили мы в пригороде, в «старом Кузнецке», и неподалеку стоял уже осевший частный домик – такой, как многие другие, но с табличкой, а на ней с примерно такой надписью: «Здесь жил герой Великой Отечественной Войны Виктор Иванович Полосухин».

Я часто видел мальчишкой согнутую спину дядьки (по возрасту где-то из поколения моего отца), работавшего в огороде того самого полосухинского родного дома. Теперь-то я знаю, что это был брат Виктора Ивановича, школьный учитель (к сожалению, не из моей школы), долгие годы живший вот так, по соседству с нами. (Так и не поговорил с ним ни разу, не порасспросил – да и что мальчишка мог у него спросить про войну?)

Надпись давно примелькалась, а притом тогда мне был совершенно невдомёк содержавшийся в ней нюанс: не герой Советского Союза, а – «герой войны». Лишь в наши благословенные дни довелось узнать ошеломляющую деталь: полковник Полосухин, один из нескольких военных деятелей, спасших Москву в конце 1941 года и стёрших в порошок группу армий «Центр», звания Героя Советского Союза так и не получил даже посмертно. А попытка губернатора Кемеровской области А. Тулеева несколько лет назад вспомнить подвиг Полосухина и поднять вопрос о присвоении ему нынешнего звания Герой России закончилась равнодушной чиновничьей отпиской из канцелярии тогдашнего министра обороны Сергеева (там, в «отказном» ответе губернатору Тулееву, были слова, лично мне невразумительные – якобы присвоение звания Полосухину затронет интересы «миллионов других фронтовиков» или как-то так). В общем понятен зато подтекст отписки: Полосухин был легендарный комдив, но по формуляру всего лишь полковник. То ли дело генералы Панфилов или Доватор! Тем-то после обороны Москвы присвоили «героев» посмертно. Присвоили, добавлю, совершенно заслуженно – но вот с Полосухиным всем нам сущий стыд и позор. Ведь в коротком ряду лучших военачальников периода обороны Москвы рядом с Панфиловым и Доватором любое серьёзное историческое исследование непременно называет именно полковника Полосухина (да генералов Белова и Белобородова – но они тогда уцелели).



Юрий Иванович Минералов – родился 30 мая 1948 г. в с. Калигорка Киевской области. Российский литературовед, поэт и критик, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России. Окончил филологический факультет МГУ. Пятнадцать лет преподавал в Тартуском университете, более двадцати лет работает в Литературном институте им. А. М. Горького – профессор, заведующий кафедрой русской классической литературы и славистики.

Живёт в Москве.



1.

У меня сохранилась переведённая в СССР (М., 1980) книга западногерманского военного историка Клауса Рейнгардта «Поворот под Москвой». Книга в отношении нас, русских, откровенно враждебная (этот не перехвалит), но по-немецки основательная (факты, цифры изобилуют, и притом Рейнгардт учёный, он стремился к объективности, не утаивал того, что порою стыдливо утаивают наши, и эта его книга известна в научном мире: русский перевод сегодня «висит» в Интернете по адресу: <http://militera.lib.ru/research/reinhardt/title.html>). Дальше и я буду-ка для учёной основательности цитировать издание 1980 года с точным указанием страниц.

Как пишет К. Рейнгардт, немцами «битву за Москву намечалось выиграть до наступления распутицы, то есть до середины октября» (с. 94). И со стороны природы складывалось для них удачно: в октябре-ноябре было осадков меньше нормы и температура воздуха почти в два раза выше нормы (с. 95). Сухо и не холодно (запомним).

Фашисты в лёгком успехе не сомневались и намерены были после победы вволю позверствовать: «12 октября Гитлер предписал “капитуляции Москвы не принимать, столицу советскую окружить и подвергнуть изнуряющему артиллерийскому обстрелу и воздушным налётам”, а предполагал впоследствии «затопить Москву и её окрестности, чтобы там, где до сих пор стояла Москва... образовалось огромное озеро, которое навсегда скрыло бы от глаз цивилизованного мира метрополию русского народа» (с. 99–100).

Ах ты, фашистская мразь «цивилизованная»...

Наутро 13 октября сотни немецких танков ринулись на Можайск, от которого рукой подать до Москвы. Кто-то из их генералов, помнится, грозил к вечеру быть на Красной площади. Однако 5 октября Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным определил именно Можайскую линию главным оборонительным рубежом. Перед Можайском, на Бородинском поле фашистов (как наши предки в 1812 году французов) и встретила 32-я Сибирская стрелковая дивизия под командованием В.И. Полосухина (единственная сила только что созданной «на бумаге» 5-й армии генерал-майора Д.Д. Лелюшенко). Командный пункт Виктора Ивановича был недалеко от кургана, где стояла когда-то батарея Раевского. В составе дивизии были в основном шахтёры из сибирских городов Сталинска и Черногорска.

В Черногорске после войны прошли первые шесть лет моего детства, в Сталинске (Новокузнецке) я закончил среднюю школу.

О подвигах полосухинцев есть поэма искусственно забытого поэта-сибиряка Сергея Васильева «Москва за нами». В качестве военного корреспондента он находился в эти дни в дивизии Полосухина и всё видел своими собственными глазами. Поэма была написана буквально по следам событий.

*Противник густо лез. Темным-темно.
Грозь бедой, ползли его машины,
стремясь прорваться сквозь Бородино
на гладкие можайские равнины.
И что таить – силен был наглый вор,
привыкший грабить подло и жестоко.
Тогда-то и пришла и приняла в упор
удар врага дивизия с востока.*

Сибирские стрелки Полосухина были не то недооценены, не то просто не замечены немецкой разведкой: дело в том, что буквально перед немецким наступлением они скрытно высадились с эшелонов на станции Бородино и только-только успели окопаться (кроме окопов неполного профиля было наспех сооружено несколько лёгких бетонированных пулеметных гнёзд – остатки их и сегодня показывают приезжающим на поле Бородина туристам). И вот на жиденькую линию окопов (фронт 32-й дивизии был растянут примерно на 40 километров!) ринулся абсолютно превосходивший полосухинцев по силам враг:

*Дозоры наши утром донесли,
что на рассвете, снявшись со стоянки,
вдоль насыпи сторожким ходом или
громидные лоснящиеся танки.
Держась гуськом, минуя частый лес,
навстречу ветру и навстречу буре,
или три полка: «Одиннадцать СС»,
полк «Дейчланд», полк «Великий фюрер».*

На сибиряков наступали 400 танков немецкого 40-го моторкорпуса, включавшего дивизию СС «Рейх», – всего 50 тыс. гитлеровцев, да притом эсэсовские мордвороты. В их числе имелись пошедшие служить рейху коллаборационисты-французы – для этих удар на Москву через *бородинское* поле был напоен бездной символики... Авиация (корпус Люфтваффе) поддерживала наступление с воздуха.

В дивизии Полосухина было 8593 винтовки, 872 автомата и 444 пулемёта. Были миномёты и противотанковые пушки, было даже десятка два-три устаревших лёгких танков... А главное, было 15 тыс. бойцов – в основном, природные сибиряки. Сам 37-летний полковник Полосухин был комдивом всего четыре месяца.

Но в обороне с нашей стороны стояли легковооружённые стрелки, а наступала тяжёлая бронетехника. Фашисты, естественно, были убеждены, что немедленно сомнут такую «оборону» и ринутся на не защищённую больше ничем и никем Москву.

Да и наши стратеги опасались того же... Как пишет Рейнгардт, «когда перед Можайской линией обороны появились передовые отряды немецких танковых соединений и русские не имели равноценных сил против них, Жуков рекомендовал Сталину эвакуировать Москву. 16 октября началась эвакуация большинства правительственных, военных и партийных учреждений, а также дипломатического корпуса из Москвы в Куйбышев. Эти мероприятия оказывали деморализующее воздействие на население города, возникла паника... (Зато потом в Москве на некоторое время стал воздух чище без разного рода замнаркомов, емельянов ярославских, берий и т.п. – Ю.М.) 19 октября в городе и окрестностях было объявлено осадное положение, провозглашено действие законов военного времени. В постановлении говорилось:

«Лица, нарушающие общественный порядок, должны немедленно привлекаться к ответственности и передаваться военному трибуналу для вынесения приговора. Провокаторы, шпионы и другие агенты врага, призывающие к нарушению порядка, должны расстреливаться на месте» (с. 103–105).

Жуков велел в приказе расстреливать на месте также «трусов и паникёров» в держащих оборону частях. Но создаётся впечатление, что эту свою «крутую» бумагу прославленный полководец мог бы смело оставить в кармане галифе, а не рассылать по войскам. События показали, что Москву в эти дни защищали не потенциальные «паникёры», а люди небывалого героизма.

Сибиряки Полосухина в течение шести дней отражали яростный напор немецких корпусов. Хорошо сказал об этом в своих мемуарах командарм генерал Лелюшенко: «32-я стрелковая дивизия стояла у Бородин насмерть. Каждый сражался до тех пор, пока руки держали оружие, пока билось сердце».

Недавно телевидение снова показало фильм середины 1980-х «Битва за Москву». Там уделено внимание 32-й дивизии Полосухина, но про то, что это сибиряки, не говорится (их пару раз называют «дальневосточники»). Действия сибирских стрелков показаны бегло и довольно наивно. Например, немецкие танки пошли в наступление. Полосухинцы ждут их в окопах с винтовками, карабинами и пулемётами. Возникает вопрос: что они собираются с таким оружием делать против танков? Только в одном эпизоде сержант бросает в заднюю часть фашистского танка, переехавшего его окоп, бутылку с «коктейлем Молотова», и машина загорается. Один сержант, одна бутылка, одна машина... А остальные что же делали?

Но легковооружённые сибиряки не в кино, а в реальности громили танки! С. Васильев явно не имел возможности по условиям военной цензуры раскрыть в своей поэме, какое именно «чудо-оружие» остановило немецкие танки у Бородино. То, что многое было сделано почти голыми руками героев – вооружённых в лучшем случае связками

гранат, а чаще, видимо, бутылками с бензином (которые они, бесстрашно приближаясь к танкам почти вплотную, метали именно в их уязвимые места), – мало кто знает и сегодня.

(Выше я не проформы ради упомянул про «стыдливое утаивание» самолюбивыми стратегами того, как и с чем в руках порою побеждали под Москвой наши воины. Пожалуй, только генерал Иван Иванович Волкотрубенко имел мужество однажды назвать нашей бедой и даже позором то, что в 1941 году фашистские танки отбивали не бронебойными снарядами, а этими бутылками. Кстати, в основном именно кустарно приготовленными бутылками с бензином, к которым прикручивался кусок пакли, поджигаемой перед броском, – а не заполненными в заводских условиях бутылками с «коктейлем Молотова». Этого замечательного «коктейля» – самовоспламеняющейся смеси – тоже часто недоставало.)

В поэме «Москва за нами» о действиях Полосухина против немецких танкистов поневоле говорится витиевато и туманно: почти ничего конкретного.

*Он смерть и гром послал навстречу им,
прорвавшись на русские просторы,
он сталью рвал глухие их моторы,
он обвернул их в зарево и дым.*

«Смерть и гром», да ещё некая «сталь»... На самом деле о «стали» (например, о снарядах противотанковой артиллерии) во время этого сражения в основном можно было лишь мечтать. Не имелось у стрелков ни «чудо-оружия», ни обычного оружия в необходимом количестве. Происходило другое чудо – русское чудо, чудо человеческой стойкости. Достаточно напомнить такой штрих: чтобы парализовать действия неистово бомбившей сибиряков немецкой авиации, В.И. Полосухин в какой-то момент приказал бойцам максимально сблизиться с врагом и сражаться буквально среди танков! Фашистские самолеты бессильно кружили в воздухе, не решаясь бомбить своих же танкистов и пехоту...

Был эпизод, когда танки прорвались на командный пункт Полосухина. И тогда гранаты взяли в руки сам комдив и офицеры штаба. Никто никуда не побежал, никто не струсил.

На бородинском поле уже пылали десятки фашистских танков. Бой продолжался. Только когда немецкий танковый клин отрезал железную дорогу, Полосухин усилил своих стрелков двумя артиллерийскими противотанковыми полками, которые были его последним резервом. Эта артиллерия под командованием капитана Зеленова метким огнём докончила немецкое наступление.

Как пишет в своей поэме С. Васильев, артиллеристы вступили в бой, стреляя «с открытых позиций», и первым же залпом подожгли все десять первых немецких танков (они наступали по десять в ряд). Далее в поэме говорится:

*Везут пехоту. По команде снова
гремят в лесу орудья Зеленова –
и нету сразу десяти машин!*

Так метко попадают, когда всё делается на пределе раскрытия человеческих сил...

Немцы старательно обстреляли артиллеристов «бризантными минами», и те замолчали. Но оказалось, что это была лишь военная хитрость. Поверив, что наша артиллерия подавлена, ещё девять немецких танков стали прощупывать оборону, и наши артиллеристы уничтожили их все неожиданным точным огнём! Нельзя не упомянуть, что наводчик Отрада (не путать с поэтом-тёзкой!) во время первой артиллерийской дуэли с танками фашистов потерял руку, но продолжал сражаться до конца и подбил ещё несколько машин противника.

*Обняв Отраду крепкою рукою,
сквозь гром и дым, и частый дождь свинца
сам Полосухин ближнюю тропой
ведёт в укрытие юного бойца.*

(По какой-то причине эти строки П. Васильева относил к себе другой полосухинский наводчик – Ф.Я. Чихман, удостоенный ордена Ленина.)

В итоге 15 октября эсэсовцы отошли назад и оставили на Бородинском поле 117 подбитых или сожжённых танков, 226 автомашин и 124 мотоцикла, а убитыми потеряли около 10 тысяч личного состава.

Генерал Лелюшенко был доволен и даже приказал сибирякам начать «решительные контратаки». Приказ был выполнен. Чем и как они контратаковали? Опять люди против танков!

Используя темноту и «фактор внезапности», в ночь с 14 на 15 октября сибиряки атаковали расположившихся было на ночлег захватчиков. Среди врагов поднялась должная паника, и прицельной стрельбой из винтовок и карабинов наши уложили в деревне Рогачёво почти всех фашистов, уничтожив и 21 немецкий танк. Тяжело раненный во время контратаки комбат капитан Зеленев, даже умирая, нашёл силы метнуть под гусеницу шедшего мимо него вражеского танка гранату.

Видимо, немцев «достало», и в конце концов они решили воздействовать на русских, не боящихся бронетехники, «человеческим фактором». 16 октября эсэсэвцы вдвойне озверело полезли вперёд снова. Прямо как в кино, с закатанными рукавами, под водительством офицеров в белых перчатках они двинулись в «психическую атаку».

Как пишет Васильев:

*Донельзя тонкий
противный голос в воздухе повис:
– Эй, русские! Зашьем вы помьираем?
Есть плен? Нихт гут вам помьирать!
– Сейчас мы вам перчатки замараем, –
неслось из леса, – век не отстирать!*

Атака захлебнулась: в дивизии Полосухина было много бывших охотников, стрелявших из трехлинейных винтовок и карабинов снайперски... Причём полосухинцы прекрасно поняли, что это на них психическая атака идёт, и атакующих тут же прозвали «психами».

На подмогу эсэсовцам гитлеровское командование прислало 9-й корпус – немало свежей техники и несколько десятков тысяч фашистов. А наших было уже намного, намного менее прежних 15 тысяч человек... Однако полосухинцы стояли на Бородинском поле, пока не получили приказ раненого командарма в ночь на 18 октября отойти за Москву-реку – там заняли новый рубеж. (Раненого Лелюшенко заменил на посту командарма генерал Л.А. Говоров.)

*Отбой сыграли немцы. До утра
они решили больше не храбриться.*

*Пора, товарищи, теперь уже пора
сниматься с уготованных позиций.
Укрыты раненые. Свиты провода.
Винтовочки повешены за плечи.
Разобраны на конях повода –
до отдыха буланым недалече.
Мы отошли. Но помни нас, страна! –
мы здесь стояли за тебя стеною.
Враги продвинулись. Но стороною,
как черти ладана, боясь Бородина.*

Первое немецкое наступление на столицу лопнуло. Через пару дней их у Калинина тормознул ещё и генерал В.Ф. Ватугин, а на Волоколамском направлении – войска К.К. Рокоссовского. К обороне стали переходить «непобедимые» гады...

Впрочем, как пишет Рейнгардт, «Гитлер, упоённый крупными победами под Вязмой и Брянском и большими трофеями, продолжал и в это время верить, что война

фактически уже выиграна. В беседе с итальянским министром иностранных дел графом Чиано 25 октября 1941 года он не мог сказать ничего точного о сроках взятия Москвы, но утверждал, что в военном отношении (с точки зрения людских и материальных ресурсов) Россия уже разгромлена и что, вероятно, зимой её постигнет судьба Наполеона. В мыслях Гитлер в это время был уже на Кавказе и даже в Индии, считал, что русская кампания в целом была уже закончена, так как Россия не сможет больше оправиться от понесённых потерь и «находится при последнем издыхании» (с. 113–114).

На самом же деле было совсем иначе...

Рейнгардт пишет: «В период с 10 по 31 октября советская авиация совершила около 10 тыс. самолето-вылетов в расположение группы армий «Центр», действуя даже тогда, когда немецкая авиация из-за погодных условий не могла летать» (с. 106–107). К этому внизу страницы сделано примечание русского редактора: не 10 тыс., а 26 тыс.

Редактор книги Рейнгардта добавляет в подстрочном примечании и такое: «Имеющиеся архивные документы свидетельствуют, что в октябре фашистская авиация произвела на Москву 31 налёт. В них участвовало около 2 тыс. самолётов, но прорваться к объектам бомбометания смогли только 72. При отражении налётов было сбито 278 немецких самолётов (см.: История второй мировой войны 1939–1945, т. 4, с. 101)» (с. 106).

Превосходство в силах и личном составе было у немцев всюду – за исключением, действительно, авиации, где в воздух нашими было поднято (и хоть как-то вооружено) буквально все до последнего фанерного самолётка. Кстати, уже летали и новейший бронированный штурмовик Ил-2, и знаменитый пикирующий бомбардировщик Пе-2 – но, к сожалению, пока лишь в единичных экземплярах.

2.

15 ноября при легком морозце в 6 градусов Цельсия немецкие танки снова поперли вперёд по всему фронту. Против 16-й армии Рокоссовского, состоявшей в основном тоже из стрелковых дивизий, враг бросил сотни танков. Каково этим железякам пришлось, легко вспомнить по известному эпизоду у разъезда Дубосеково, где 28 сибирских стрелков из дивизии Панфилова за 4 часа уничтожили 18 тяжёлых танков, метким огнём перестреляли около сотни немцев и в итоге вынудили наступающую колонну прекратить движение вперёд на этом участке.

18 ноября 78-я дивизия сибирских стрелков была брошена в бой и... контратаковала наступающую немецкую танковую группу. Легковооружённые люди отбросили назад немецкие танки!

В ноябре на клинском направлении против наших 56 танков было 300 танков противника, на волоколамском направлении наступало 400 немецких танков – и т.д. и т.п. В целом же советская Ставка смогла в ноябре противопоставить немецким танкам (вчитайтесь!) 35 стрелковых, 3 мотострелковых, 12 кавалерийских дивизий и только лишь 3 (три) дивизии танковых. Притом из числа советских танков «90% были лёгкими танками и танками устаревших типов» (Рейнгардт, с. 175). Были у нас и первые наши Т-34, но было-то их – кот наплакал! Вывод ясен: против немецких танков по-прежнему сражались сибирские стрелки (особый героизм в те дни проявили 316-я и 78-я дивизии) и кавалеристы (генералов Белова, Доватора).

Рейнгардт: «В донесении штаба дивизии СС «Рейх» отмечалось:

“Бои в последние дни были самыми тяжёлыми и кровопролитными за всё время восточной кампании”.

Речь шла главным образом о боях против 78-й Сибирской дивизии, которая пыталась контрударами локализовать прорывы немецких войск в своей полосе действий. Гальдер отмечал 21 ноября, что Бок также был сильно потрясён этими ожесточёнными боями» (с. 184).

Как, однако, это выглядело – если отбросить фашистские эмоции?

Официальная история Великой Отечественной (видимо, из ложно понятого ведомственного самолюбия) старательно избегает конкретизировать, что же за силы такие сражались с наступающими немецкими танками. В Военной энциклопедии, обеих

Больших советских и т.д. просто говорится о неких «мощных силах» сосредоточенных в ноябре 1941 года Ставкой. На деле в ноябре было примерно так, как и в октябре. (Любопытно, что в последние несколько лет современные авторы, пишущие об обороне Москвы, особенно возлюбили «катюши», которые по их воле теперь якобы появляются в Подмоскovie то тут, то там и всюду несут смерть захватчикам. Однако в реальности 1941 года «катюш» было еще очень мало... А вот, к слову сказать, допотопные *тачанки* с пулемётами – те в прибывших с востока дивизиях по-прежнему кое-где имелись).

Вот на Москву рванул свежий немецкий 24-й танковый корпус. Что ему противопоставляется нашими? А вот что (ибо больше противопоставить явно и нечего):

«Командующий Западным фронтом немедленно начал переброску 2-го кавалерийского корпуса из района Серпухова в направлении на Каширу, чтобы стремительным контрударом отбросить передовые отряды 24-го танкового корпуса. Жуков лично детально обсудил с командиром кавалерийского корпуса генералом П.А. Беловым план операции и затем напряжённо следил, удалось ли войскам Белова вовремя подойти к Кашире» (Рейнгардт, с. 196). Повторяю: русский кавалерийский корпус был брошен против немецкого танкового корпуса. Кавалерия против танков... Немцы уже видывали такое в 1939 году в Польше и славно поразвлеклись тогда, давя гусеницами и расстреливая из пулемётов «атаковавших» их польских гусар. Но тут, под Москвой, были русские, они не махали сабелями, а пытались подобраться поближе и метнуть в танк, в одно из его уязвимых мест, бутылку с горючей смесью (лишь изредка – знаменитую связку гранат под гусеницы: гранат в эти дни катастрофически не хватало). Можно представить, как всадники или спешивались, или заставляли лошадей по колено в снегу рваться вперёд да уворачиваться от танковых гусениц и выстрелов, сколько наших при этом гибло...

Немецкий танковый корпус был разбит русскими кавалеристами!

На месте этого невероятного сражения в самом его конце оказался молодой военный журналист, в будущем полковник и член Союза писателей. Уже в старости он вспоминал, как потрясло его тогда огромное пространство, на котором была в беспорядке разбросана горячая немецкая бронетехника. Всюду валялись трупы фашистов. По полю победы медленно расхаживали заиндевшие конники с клинками в руках...

Рейнгардт цитирует слова «представителя министерства иностранных дел при штабе 2-й армии графа Босси-Федриготи»:

«Солдат на фронте видит только, что каждый день перед ним появляются всё новые и новые части противника, что дивизии и полки, которые считались давно погибшими, снова вступают в бой, пополненные и окрепшие, и что, кроме того, эти русские войска превосходят нас не только числом, но и умением, так как они очень хорошо изучили немецкую тактику» (с. 204).

Ну, про число министерский явно загнул, а умение – это умение... Всего вермахт потерял под Москвой 777 танков – по Рейнгардту, с. 204 (а я уверен, что на самом деле гораздо больше!).

На уцелевших танках «сверхчеловеки» потом от нас удирали, а некоторые даже удрали – см. ниже.

В конце ноября немцы перешли в Подмоскovie к обороне по всему фронту. (А на юге другая немецкая группировка 28 ноября была выбита войсками Тимошенко из Ростова.)

3.

Наступил декабрь. 4 декабря наконец-то ударил столь «любимый» западными военными историками русский мороз (хотя, между прочим, давно известно: чтобы бить на морозе, надо самим быть на морозе...). Пару дней в Подмоскovie доходило в среднем до минус 28 градусов (кое-где было и за 35°).

Немцы уже несколько дней пребывали в глухой обороне, а малоподвижный образ жизни способствует переохлаждению, простудам и т.п. Бедные фрицы! Впрочем, фашисты пытались «согреться»: их танки и мотопехота 1 декабря в огромном количестве

прорвали было наши позиции. И снова у них на пути встали 78-я Сибирская дивизия и 32-я дивизия Полосухина.

В моей книге «Река времён» (2008) есть стихотворение «Сугробы». Оно об этих днях.

*Заиндевели Подмоскovie.
Снег белый даже на войне.
Машины бродят над рекою
с крестом тевтонским на броне.*

*Сковал просторы смертный ужас...
И солнце в эти дни над ним
висит прохваченное стужей
и светит взглядом ледяным.*

*Танк подошёл и люком лязгнул.
Стрелок слетел, блеснул ведром
и стал рубить по твёрдой Клязьме
трофейным русским топором.*

*Повылезали, разминаясь,
нужды справляя и дымя,
другие тридцать два мамая –
собой украсив утро дня.*

*Вояки жрут и тараторят.
Мол, русиш швайн, мороз суров...
В серебро одетые просторы,
да ворон зырит на сугроб.*

*Фашисты б долго проболтали.
Но по команде в миг один
сугробы белые восстали.
Под маскхалатом карабин.*

*Увидели, оставив хохот,
как во весь рост на них идёт,
выцеливая зверя с ходу,
сибирский лыжный разведзвод.*

*...В те дни из танков стали гробы.
Наш контрудар, а у реки
ожили русские сугробы –
пошли сибирские стрелки.*

*Гудериан. Щемило сердце.
Он зыркнул зубом золотым,
в машину сел и шваркнул дверцей,
и мутрно смотался в тыл.*

Контратаковали по-сибирски... А через несколько дней началось наше неостановимое наступление по всему фронту.

Наступали на немецкие танки и мотопехоту в эти дни (опять вчитайтесь!) 84 русские стрелковые дивизии, 23 кавалерийские и только 3 танковые (Рейнгардт, с. 239). Цитируемый мною немецкий военный историк не без пафоса повествует:

«Соединения 10-й армии, брошенные буквально из вагонов в бой, во взаимодействии с оперативной группой Белова атаковали незащищённый восточный фланг

танковой армии Гудериана и уже 7 декабря овладели Михайловом, вызвав панику в немецких войсках».

По «природной зловредности» своей русской природы не могу не вставить: в вагонах не перевозят танки и т.п., в вагонах были опять-таки легковооружённые сибирские стрелки! Они-то и атаковали, прыгая прямо из вагонов, «беззащитных» танкистов Гудериана – а взаимодействовали с ними кавалеристы Белова...

«2-я танковая армия, атакованная с трёх сторон, – продолжает Рейнгардт, – во избежание окружения была вынуждена, обогнув Тулу, отойти в западном направлении».

Страсти-то какие! Ну, сибирячки! чуть пешком не окружили доблестную армию, состоявшую из «чистокровных арийцев», засевших в быстроходные железяки на гусеницах... (Тут, впрочем, интересно и «обогнув Тулу»: мама у меня корнями тулячка, и от тамошней родни я хорошо знаю, как мужики тогда, разобрав оружие из арсенала, отбили попытки бедных «арийцев» захватить город).

Слово Рейнгардту: «В тяжёлой обстановке в полосе действий 10-й мотопехотной дивизии, которая под ударами 330-й стрелковой (! – Ю.М.) дивизии в районе Михайлова вынуждена была отойти (! – Ю.М.), бросив своё тяжёлое оружие (ну и дела!!! – Ю.М.), Гудериан отдал 9 декабря следующий приказ:

«Мои боевые товарищи! Чем сильнее угрожают вам войска противника и зимние морозы, тем крепче вы должны сплотить свои ряды. Сохраняйте по-прежнему железную дисциплину. Каждый должен оставаться в своей подразделении, и каждому надлежит как можно лучше использовать свои машины и оружие, обеспечивая тщательный уход за ними» (с. 249).

Ухоженные машиныгодились немцам буквально в ближайшие дни! Всё делали с фашистами сибиряки – только одного не смогли сибиряки: угнаться пешком за удирающими немецкими танками Гудериана.

От сибирских стрелков командование требовало вести преследование драпавшей 2-й немецкой танковой армии, но они её не догнали – «не располагая танками», – как пишет Рейнгардт (с. 250). Скорости у пешехода и машины несопоставимые... Фронтное начальство, однако, осердилось на советских бойцов и даже «выразило недовольство».

Оборзело – ей-Богу, оборзело начальство от военных успехов!..

Впрочем, и бойцам нашим в эти дни любая боевая задача казалась выполнимой. Например, в ноябре у деревни Акулово сибирские стрелки Полосухина придумали создать из соломы, хвороста и т.п. широкий барьер длиной в полкилометра и подожгли его под наступающими немецкими танками. Танки стали поворачивать от огня и... подставили свои уязвимые бока советским противотанковым пушкам и ружьям. Всюду на фронте возникали в те дни подобные «народные придумки».

Отступающий Гудериан кипел от обиды и «нёс» собственных солдат: «У нас остались, собственно, только ещё вооружённые шайки, которые медленно бредут назад» (Рейнгардт, с. 254). Ну, не надо, генерал, – не так уж медленно...

12 декабря в гитлеровские войска завезли из Германии какие-то новейшие «красногловочные гранаты», якобы очень эффективные против брони советских танков (Рейнгардт, с. 254). Но не помогло и чудо-оружие: мало было в наступавшей советской армии танков, не во что было сии гранаты метать...

Как оценивать историческое значение победы под Москвой зимой 1941 года? Об этом я уже писал не раз, потому выскажусь лишь вкратце. Мы в 1941 году (когда с Западом Гитлер в целом уже «разобрался») всего за пять месяцев покончили с немецким «блицкригом» – уже в декабре уничтожили под Москвой, по сути, не просто мощнейшую группировку вермахта, а объединённые силы порабощённой Германией Европы. (Вот и Рейнгардт, так сказать, с чувством исторической обречённости пишет: «Поворот под Москвой»). В определённом смысле кончилось для гитлеровцев именно в декабре 41-го – дальше пошла затяжная и тяжёлая борьба вроде бы «на равных», но у них уже никогда больше не хватило духу снова сунуться к Москве, а неглупые люди в стране теперь понимали: мы их дождём, мы победим. Всего через пять месяцев! Именно наша Великая Отечественная Война спасла весь мир от порабощения, а кое-кого от тотального физического уничтожения. Фактически спасителем этим «в

одиночку» явился именно СССР, ибо «помощники» более или менее заметно зашевелились лишь тогда, когда уже всему миру стало ясно, что русские и сами справятся. (С тех пор и по сей день всякого рода западные и восточные спецслужбы, «пятые колонны» и т.п. неустанно, многообразно и изопрённо нас «благодарят» за своё спасение. Но главная их «благодарность» явно впереди).

А Виктор Иванович Полосухин погиб 18 февраля 1942 года. В те дни наше контрнаступление уже выдыхалось. Люди устали, техники же по-прежнему не хватало. Однако мы неуклонно теснили фашистов.

Сохранилось последнее письмо этого сильного человека, адресованное семье, в родную Сибирь. «Я иду дальше и дальше на Запад, – писал он. – Как закончим с победой войну, так я опять буду с вами... Чувствую я себя хорошо. Погода стоит серьёзная: мороз хороший, наш, русский, снегу достаточно, столько же, сколько и у вас... Немцу приходится тяжело драпать на Запад, ну а мы его догоняем и бьём».

16 февраля в дивизию пришёл приказ о награждениях. Сорок человек, в том числе и он, комдив, были удостоены ордена Боевого Красного Знамени. Однако получить орден Полосухин так и не успел.

Разведка обнаружила в роще неподалёку скопление противника. Комдив взял бинокль и вышел – как оказалось – на простреливаемое место. Из рощи ударил пулемёт...

Узнав о гибели комдива, полосухинцы немедленно разгромили засевших в роще мерзавцев со всей их вшивой «бронетехникой»!

Фашисты и их приспешники прокляты и убиты. наших героев мы должны вечно помнить. Да и прочему человечеству – спасённому ими от фашизма – не грех бы помнить русских героев...

В.И. Полосухина похоронили в Можайске. А орден и прочее... да нужны ли они, официальные награды со стороны власть предержащих? Ведь никто не властен отменить того, что полковник Полосухин, мой замечательный земляк, с 1941 года – подлинный герой родной страны, герой нашей России. Вечная ему память.

*И вот редут Раевского... Курган.
А рядом дот, окопы в поле чистом.
Где Бонапарту окорот был дан,
сибиряки размазали фашистов.*

*Всё далее Великая война.
Слух носится о новом интервенте.
Всё чаще атакует ордена,
кто доблестно громил врага в Ташкенте.*

*Лихое племя то уж не придёт
и не спасёт... Ан нет, всё в Божьей воле!
Двенадцатый и сорок первый год
невидимо живут на этом поле.*





ПОЭЗИЯ

Юрий КОЛОДНИЙ

Юрий Николаевич Колодний – родился 16 мая 1958 года в станице Калининской (Поповичевской) Калининского района Краснодарского края. Окончил два факультета Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург). Автор четырнадцати поэтических книг и многочисленных публикаций. Имеет общественные награды. Член Союза писателей России и Международного сообщества писательских союзов. Член Высшего творческого совета МОО Союза писателей России. Член-корреспондент Академии Российской словесности. Член региональной общественной организации «Кубанское землячество» в городе Москве.

Живёт в городе Одинцово Московской области.
Персональный сайт – [http // www.kolodnij.narod.ru](http://www.kolodnij.narod.ru)



И живу я, пока ты, Россия, со мной...

Звени, любви моей строка...

Где тело брэнное не вечно,
А слава Бога высока,
В душевной музыке сердечно
Звени, звени, любви строка.

Как голос совести, свободы,
Как память сердца на века,
Балладой, песней или одой
Звени, любви моей строка.

И верит в Божию свободу
Душа и сердце казака.
Ты будь верна, свети народу,
Звени и пой, любовь-строка.

Россия

Ты, Россия моя, синева над рекой.
Здесь родные края, в них душа и покой.

Здесь леса и моря, перезвон чередой.
И пылает заря над берёзой седой.

И луга, и поля, дышит всё добротой.
Тихо плачет земля под иконой святой.

Купола, как свеча, вознеслись над страной.
И живу я, пока ты, Россия, со мной.

Мать-Россия моя, храм под светлой звездой.
Здесь родные края, в них душа и покой.



Матушка – Земля

Жизнь пройдёт – шампанское и только –
Брызги на забытом корабле.
Что-то мне не сладостно, а горько
На бескрайней матушке-земле.

Русь в доспехах, ветер дует грозно,
Боль в душе, разлитая во мгле.
Что-то мне печально и тревожно
На родимой матушке-земле.

Золотая звонница

Золотая звонница, не тревожь поля.
Плачет, Богу молится русская земля.

Плачет, не смеётся, серебро даря.
Перезвоном льётся алая заря.

Не буди печали, праздничный гонец.
Красный Крест вначале – золотой венец.

В доме чиста горница – расступись, беда.
Плачет, Богу молится русская земля.

Родина

Холмы и бескрайние дали,
Тягучая глина дорог.
Неужто мы души продали
За сладкий, словесный пирог?

Безлюдны поля и овраги,
Поруганы славы места.
Как будто чужие варяги,
Размыли мы облик Христа.

Забыли кресты и иконы,
Где память – неясный урок.
Не песни – далёкие стоны
Слышны, как могильный зарок.

Разбита судьбою ограда,
Былое бедою спешит.
В прохладе церковного сада
Над вечностью ворон кружит.

Скучает без рыцаря дама –
Берёза над тихой рекой.
Великая русская драма –
Былинный могучий покой.

Душа

Разбита хрустальная ваза,
Цветы на слепящем снегу.
Сегодня душа мне сказала:
Я больше так жить не могу!

Искриться и лгать не умею,
Казаться в любви не хочу.
От томного взгляда робею,
Тяжёлую ношу влачу.

Хочу прокричать, но не смею,
Пытаюсь тебя я понять.
От ран бесконечно немею,
От холода дрожь не унять.

В потоке бесцветной морали
Стоим за мечтою опять.
Откроются чёрные дали,
Не надо на душу пенять.

Разбита хрустальная ваза,
Осколки на рыхлом снегу.
Сверкает, как молния, фраза:
Я больше так жить не могу!

* * *

Костёр затухает на бренной земле.
Гнёт ветер могучие кроны.
Не видно ни зги. Искры гаснут во мгле.
Рвут душу тяжёлые стоны.
Пою для народа, пою о стране,
Где духом овеяны годы.
Сегодня не ты и не я на коне,
Отчизну терзают невзгоды.
Но верю, с рассветом спадёт пелена,
Пред взором откроются своды.
С любовью и верой восстанет страна,
Как гимн доброты и свободы.

В смирении души – покой

В смирении души – покой...
Гордыня нас в пути терзает.
Боль разливается рекой,
То вдруг внезапно исчезает.
Гнев размывает берега.
Сжигая сердце, холод льётся.
Покой душевный на века
Смиренномудрием зовётся.

* * *

Казаться быть я не хочу.
«Быть или не быть?» – судьбы мгновенье...
Зажгут потухшую свечу:
Молитва сердца и смирение.

На солнце блики. День в ночи.
Рвут душу тяжкие сомнения.
И давят тёмные лучи
В минуты скорбного затмения.

Душа услышит свет зари.
И станут вечностью мгновения.
Гори, свеча, свеча гори,
Огнём любви и вдохновения!

За всё любовь благодарю!

За всё любовь благодарю!
За смех, за горестные слёзы...
За предрассветную зарю
Небесной музыки, за грёзы.
За убегающий ручей,
За аромат цветущей розы.
За теплоту святых лучей
В садах поэзии и прозы...
За всё любовь благодарю!



Ценность жизни между прошлым и будущим

Размышления о книге Д.В. Скрынченко
«Ценность жизни по современно-философ-
скому и христианскому учению» – М., 2010.

Само название этой книги – «Ценность жизни по современно-философскому и христианскому учению» – говорит о многом. Вечные и непреходящие ценности человеческого бытия на заре третьего тысячелетия обретают особый смысл, особое звучание в условиях нынешнего духовного кризиса западной цивилизации. Больше века отделяют 2-е издание этой книги, вышедшей в московском издательстве «Либроком» накануне 2010 года, от 1-го издания, петербургского (см. Скрынченко Д.В. «Ценность жизни по современно-философскому и христианскому учению» – СПб.: Тип. Монтвида, [1908]. – 164 с. – «Христианство, наука и неверие на заре XX века» – Вып. 7). Работа над книгой застала её автора Дмитрия Васильевича Скрынченко в Минске, где преподавал он в духовной семинарии, и успел проявить себя как незаурядный публицист и редактор газет «Минские Епархиальные Ведомости» и «Минское слово».

Семейные корни Дмитрия Васильевича Скрынченко – с Воронежской земли, которая дала миру писателя Ивана Бунина. Как и у многих российских интеллигентов – таких, например, как Николай Бердяев, Михаил Булгаков, Марина Цветаева – предки Дмитрия Скрынченко принадлежали к духовному сословию, «колячкным дворянам». Так, прадед Дмитрия Скрынченко, Иван, был сельский пономарь, а дед Андрей и отец, Василий Андреевич, – псаломщики.

Ещё в детстве поставил он себе цель «...добиться всеми силами получить высшее образование...» (см. Скрынченко Д. «Мои воспоминания». – Нови-Сад. – 1932. – С. 4). Чтобы учиться на церковный кошт, Дмитрию Скрынченко приходилось всегда быть первым учеником. Незаурядные способности и необыкновенная целеустремленность помогли ему успешно пройти курс обучения в Воронежском духовном училище и семинарии, а после окончания семинарии продолжать учёбу в Казанской Духовной академии. Итогом многолетнего труда и духовных исканий 27-летнего выпускника академии стало сочинение «Ценность жизни по



Владимир Анатольевич Скрынченко – родился 21 января 1949 года в Киеве. Окончил Киевский политехнический институт. Имеет свыше 50 публикаций (кроме научных и интернет-изданий) в печатных и интернет-изданиях Москвы, Киева, Минска, Воронежа, Джорданвилля и Буэнос-Айреса. Интересы: история, искусство, оперная музыка.

Живёт в Киеве.



современно-философскому и христианскому учению», за которое Дмитрий Скрынченко удостоен был звания кандидата богословия с правом преподавания в духовных семинариях.

Очевидно, сама историческая «эпоха рубежа веков» – XIX и XX – заставила скромного преподавателя латыни выйти далеко за рамки своей педагогической деятельности, взяться за перо и погрузиться в дебри философских теорий своего времени. Россия стремительно входила в эпоху монополистического капитала и социальных потрясений. Ускорение темпов жизни, ломка старых устоев неминуемо влекли за собой девальвацию прежних духовных ценностей.

«Дети рубежа веков», особенно студенческая молодёжь, остро ощутили кризис воспитавшей их культуры. Они с презрением отвергли идейное наследие прошлого – утилитарную философию, умеренный либерализм и плоско-натуралистическое искусство.

Бесы агрессивного атеизма и дехристианизации, уходящие корнями в эпоху Просвещения, повергли этих так называемых образованных людей в пучину мистики, пессимизма и эротики в стиле романов Арцыбашева. Расплатой за утрату жизненных ориентиров неминуемо становились самоубийства, волны которых прокатывались по всей России. Именно так, полагал Дмитрий Скрынченко, «люди отстраняют от себя вопрос о смысле жизни...» Как опытный педагог, Дмитрий Скрынченко усматривал корни пессимизма в дисгармонии между чувственным и умственным восприятием быстро меняющегося времени на рубеже веков. Потому-то он и настаивал на воспитании чувств (почти по Флоберу) тех, «кто посетил сей мир в его минуты роковые...», чтобы поддержать их в бурную эпоху перемен. Чисто педагогический аспект мысли Дмитрия Скрынченко здесь совершенно очевиден.

Уже тогда, на заре XX века, Дмитрия Скрынченко занимал вопрос, почему современная ему философская мысль бессильна решить вопрос о ценности жизни. Пришлось ему выступить и против властителей дум современной эпохи в лице Толстого и Шопенгауэра, Ницше, Дюринга и Леопарди, которым внимал весь мир.

Анализируя теории своих оппонентов, Дмитрий Скрынченко обращает внимание на то, что они, прежде всего, отбросили религиозную основу жизни, ограничиваясь лишь понятиями чувств и страдания, которые и определяют у них ценности жизни, причём, вопрос о смысле жизни даже и не ставится. Это опасное заблуждение своих оппонентов Дмитрий Скрынченко опровергает, опираясь на идеи В.И. Несмелова, выдающегося православного философа (см. Несмелов В.И. Наука о человеке. – Казань, 1898. – Т. 1). Следуя православной традиции, в соответствии с которой выработка стратегии нравственного созидания вне Православия невозможна, Дмитрий Скрынченко сформулировал чисто христианские критерии ценности жизни неразрывно с её смыслом, который понимается как стремление человека к Богу, как нравственно-му совершенству. Он утверждал, что не просто чувства придают человеку полноту и необходимый смысл жизни, но религиозные и нравственные чувства, поскольку заложены они в самой природе человека. Не земные блага, но душа и её совершенства определяют вечные ценности жизни человека на Земле.

И, как вывод: только христианство даёт истинный смысл, цену и счастье жизни.

«Презри землю, возжелай неба» – так зовут нас лики святых в церкви...

Уже тогда, на заре XX века, опираясь на свои философские выводы, Дмитрий Скрынченко предвосхитил во многом основные контуры современного ему западного общества потребления. Погоня за наслаждением и курс на потребление, как и полагал он, опустошают душу и обесценивают жизнь человека. Не укрылись от него и проблемы соотношения прогресса и нравственности. Неподкрепленный верой в Бога прогресс просто опасен для человека (вспомним, хотя бы, Хиросиму и Нагасаки).

Этот труд Дмитрия Скрынченко, начатый ещё в стенах Казанской Духовной Академии, аккумулировал, пожалуй, всю его жизненную философию и личный опыт. Кандидатская диссертация по богословию и стала фундаментом его величественного здания «Ценности жизни...»

Неотделим труд от его творца. Вся дальнейшая жизнь Дмитрия Скрынченко, все превратности его горькой судьбы в годы революции и гражданской войны, тяжкий

крест изгнанничества, который нёс он на чужбине, лишь подтверждение верности его духовным идеалам, воплощённым в его труде. Он выстрадал их всей своей жизнью.

Статус эмигранта лишил Дмитрия Скрынченко семьи и Родины, на долгие годы «законсервировал» его труды в спецхранах. Чтобы утолить боль разлуки с семьёй, Дмитрий Скрынченко постепенно втягивается в общественную и религиозную жизнь русской эмиграции в Югославии. Разлука с Родиной, неуверенность в завтрашнем дне, нерешённость жизненных проблем вынуждали эмигрантов объединяться. Видное место принадлежало Русской Матице, вокруг которой сплотились граждане бывшей Российской империи для национально-культурной работы. Дмитрий Скрынченко 14 лет подряд возглавлял Русскую Матицу города Нови-Сад, и главной его заботой на чужбине стало стремление сохранить священное пламя русского национального духа, его любви к Родине, её духовной культуре и передать это грядущему поколению.

С апреля 1945 года Дмитрий Скрынченко, уже 70-летний старик, работал в Обществе по культурному сотрудничеству Сербской Войводины с СССР на скромной должности библиотекаря. Продолжительная болезнь сердца уже давала себя знать. Потому и торопился выступить перед аудиторией: чувствовал, что в последний раз. Свою лекцию Дмитрий Васильевич посвятил 800-летию юбилею Москвы.

Неоцененный ушёл он из жизни, а на Родине труды его по-прежнему пылились в спецхранах и не были доступны читателю. Дмитрия Скрынченко приютила сербская земля, где прошли 28 тяжких лет его эмигрантской жизни. Он похоронен в «русской парцелле» (на русском участке) Успенского кладбища города Нови-Сад. Осенью 2002 года на месте захоронения был восстановлен православный крест.

Справедливость, однако, хоть и век спустя, но восторжествовала!

И пример тому – выход в свет 2-го, московского издания книги, которая начала свою новую жизнь в III тысячелетии. Дореволюционная орфография, изобилие в книге непривычных для читателя знаков и оборотов речи лишь передают дыхание того времени, когда была она создана. Однако, «Ценность жизни...» – не просто литературный памятник «эпохи рубежа веков». Время подтвердило непреходящую ценность идей, заложенных в труде Дмитрия Скрынченко, их насущную потребность и для III тысячелетия.

За прошедшее столетие человек успел побывать на Луне и покорить атом. Но его, как и в прошлом, мучают все те же вопросы о смысле и ценности жизни.

Под любым наркотиком достанет человека, особенного молодого, непосильность жизни без смысла. Ложь убивает, молчание предаёт. Но – ответ есть, если есть вера...

И сейчас утрата веры в ценности жизни, её идеалов приводит к преждевременному уходу из жизни многих людей, особенно молодых, на постсоветском пространстве. И выход из этого порочного круга – на пути к Богу, из круга бездушия – в новый мир любви.

И, как прежде, актуально звучат слова апостола Павла: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлёк вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу».



ПОЭЗИЯ

Мара ЛЕВИНА



Мара Левина (Мария Николаевна Островинская) – родилась в России. Писать стихи начала в юности, но быстро перестала. Время для них пришло гораздо позже, когда, видимо, и положено ему было. В 2008 году вышла маленькая, но очень дорогая для автора книжка стихов. Благодарна друзьям за помощь в её издании. Живёт и работает в Минске.



...В жизни увидеть толк...

Маленький местный подвиг:
утром подняться с постели,
выпить несладкий кофе,
выйти на улицу. В дождь.
И не спасает зонтик
от мокрой, холодной шрапнели,
если идёшь по дороге
или трамвая ждёшь.
Ветер гоняет ведро,
в лица швыряет листвою.
Осень залезла погреться
мне под подкладку пальто.
Люди стремятся в метро,
словно стада к водопою.
Там, где не видели солнца –
сухо, тепло и светло.
В длинном стручке вагона –
hotoобъединенье...
Лужу напустит зонтик.
Точно слепой щенок.
Десять минут разгона,
Бега и торможенья.
Маленький местный подвиг:
в жизни увидеть толк.

Примят матрас листвы мышьиной лапой.
Опробован на мягкость и упругость.
Зимой на нём печалиться и плакать,
надеясь... На лисью тугоухость.
На то, что под лосиною ногою
не потечёт и не поедет крыша
родной норы. На то, что быть героем
не страшно. И тебя Поляна слышит.
Так ждать весны за прутником-засовом.
Она придёт – всё будет, как хотелось:
закрыт пролёт по небу хитрым совам,
а на твоей груди – медаль за смелость.
Заполнят все кладовки и амбары
созревших зерён сладостные ливни.
А счастья – завались. И просто даром.
Ах, эти мыши... Как они наивны...

Как-то суетно жить, добывая себе на еду.
И, пожалуй, неловко писать резюме, отмечая,
что тогда-то, в неярком советском году
ты родился и жил. Я сама в сотый раз начинаю
описание жизни. И даты. Когда. И кому...
Что чужому уму говорят эти числа и сроки?
Зашифрован мой код, и порою сама не пойму:
я живой раритет или памятник мёртвой эпохи?..



ПРОЗА

Владимир ГЛАЗКОВ

Исток

Если бы Юрию Андреевичу Спирину сказали, что для него в городской «Дом траура» уже завезли гроб, он бы не дрогнул. Юрий Андреевич устал жить. Устал от побудок, планёрок, рекламы, хамства, политиканства – от всего этого топкого и невнятно бормочущего болота. Устал смертельно.

Девять лет назад остался он без кола, без двора. Без семьи, то есть. Перебрался в крохотную отдельную квартиру заводской «гостинки», привёл её в мало-мальский порядок, и началась эта самая жизнь. Началась, впрочем, не сразу – оптимизм и перспективность в его сорок два ещё светились. Сгоряча он пытался загасить горечь от ухода жены коротенькими историями, но к историям всё ошутимее стала подмешиваться скука, а за ней – раздражение, и Спириин, вдоволь наиздевавшись над своим, уже нелепым в его возрасте романтизмом, стал осваиваться с ролью холостяка. Жизнь потекла размеренная: с трудовым распорядком, магазинами, прачечной, ужинами под бубнящий телевизор и кофепитиями под пустые мысли. И однажды, глядя через заплаканное окно на нудный октябрьский дождь, Спириин буднично зафиксировал, что ему ничего не хочется. То есть – вообще ничего. Это и не огорчило. Но удивило. Показалось странным. Спириин хмыкнул. И вдруг явственно осознал, что внутри у него – пустыня. Он сосредоточенно обшарил пустыню внутренним взором и не смог ни за что зацепиться. Ни единого желания; безмолвная хлябь равнодушия. Решил, что это – от настроения, но тут же досадливо скривился, уловив собственное лукавство. Долго сидел, слушая монотонный звон капель по подоконнику, пожал, наконец, плечами и побрёл к дивану.

Какое-то время он вскользь возвращался к своему открытию, отмечая умом, что всё – глубже – не от унылого октября. Удивляло, что не только мысли, но даже еда, сон и прочая физиология тоже стали чем-то механическим, кривошипно-шатунным. Попытка свалить всё на возраст успеха не имела; организм послушно выполнял все виды команд и не капризничал. Всё бы и продолжалось своим чередом, но в пятницу, шагая мимо чумазных корпусов, Спириин вдруг споткнулся и оцепенел. Сумрачно оглядел заводские пространства, бетонные эстакады с артериями кабелей, труб и злобно спящими перепускными клапанами и понял, что он – Божье творение Юрий Спириин – уже давно раздавлен этим железным, натужно чавкающим чудовищем. Нет,



Владимир Тимофеевич Глазков – русский, потомок донских казаков. Родился 15 июня 1949 года в городе Новоаннинский Волгоградской области. Пишет стихи и прозу. Публиковался в различных сборниках, в том числе во втором выпуске сборника стихов «Я вижу сны на русском языке» как лауреат Второго международного поэтического конкурса «Я ни с кем никогда не расстанусь!..», а также альманахах, журналах России и Украины – «Великороссь», «Камертон», «Склянка часу» и других.

Живёт в городе Черкассы на Украине.



не зря вызывали в нём тихую ярость два слова: прогресс и цивилизация. Но конвейер, дёрнувшись, опять запустился; и был вечер, и было субботнее утро. Бреясь, Спириин думал о том, что в десять надо забрать из починки туфли, купить лезвия... творог... что-то, вроде, ещё... Выходя из подъезда вспомнил: батарейку к будильнику.

Утро было сухим, ясным и неожиданно тёплым. По бульвару, срываясь от светофоров и сметая с мостовой листья, летели автомобили, гремели и хлопали в жестяные ладоши битые троллейбусы. Спириин направился, было, к остановке, но передумал и перешёл на каштановую, обрамлённую густыми кустами, аллею. Людей на ней не было; сиротливо стояли скамейки в утренних грудах пустых бутылок. «Мобильно-пивной имидж, – мелькнуло презрительно. – Диктатура скотства». Когда-то он любил бродить по этой аллее. Размышлял, строил планы. Писал стихи. Боже мой, за два года – ни строчки! Куда всё девалось? Куда девался он сам – Юра Спириин – с фантазиями, любовью, восторгом? Коротко вскинул руку, взглянул на часы. Неторопливо прошёл ещё шагов двадцать и опустился на скамейку. Вытянул ноги, засунул руки в карманы куртки.

Бульвар жил. Толклись люди. Выли троллейбусы. Осыпалась листва каштанов, орали вороны. Почему же всё это не холодит и не греет, куда он пропал – внутренний резонанс, где оно – жизнелюбие? Нахохлился, вспомнил дёрнувшийся конвейер. Юру Спирина – думал отвлечённо – со всеми потрохами всосала технологическая утроба. И что? Скривился. Выбираться бы надо из этой ямы, а как? Зацепиться не за что. Туфли... Лезвия... Корова жвачка... Бытие, сохшееся до быта. Два дня Спириин бездельничал. Размышлял о Психосе, Танатосе и Эросе. Искрал зацепки, аукал в себя. Но ничто не отзывалось в душе. Молчала пустыня. И месяц... И три... И ещё три... Крошилось время в кривошипно-шатунных днях.

Восьмого апреля после планёрки начальство велело Спириину задержаться. Начальство было юным, по-хозяйски бурлящим, но ещё без накипи беспардонства.

– После Пасхи, Андреич, придётся в командировку ехать. Как Вы?

Спириин внутренне усмехнулся вопросу.

– Куда? Зачем?

– С наладкой там нелады, так что недельки на две. В этот... в Перевозинск. Там-то, уж, наверняка не были.

– Да, – кивнул Спириин. – В командировке не доводилось.

В Перевозинске он родился. Провёл там всё своё школьное детство и приезжал только однажды – на встречу одноклассников. Тридцать лет назад. К делу это не относилось, и распространяться Спириин не стал. После праздников оформил бумаги, собрал дежурную сумку и отправился выполнять поставленную задачу.

Отправился поездом через Москву. В столице тоже не был давно, но махнул рукой, нырнул в метро до Казанского, и уже через три часа покачивался в пустом купе, глядя сквозь грязнёное окно на весенние перелески. «Еду, – думал с некоторым удивлением. – А ведь когда-то манило». Что-то, конечно, курилось в чувствах; походило на дымок угасающего костра. «Да, – подумал вяло, – дымок». Поезд загромычал по стрелкам, проскочил, не сбавляя хода, полустанок; мелькнули белёные строения. Спириин лёг, расслабленно вытянулся. Стрелки... Память потащила неожиданно далеко. Хмыкнул: «Андреич... А был Юриком». Был. Так его неизменно называли родители. Отчётливо вспомнилось замешательство, когда впервые распознал в своём имени новый оттенок. Мама привела его в школу. В классе было битком народу, шла первая переключка, Юрик косился на рыжую девочку слева, слышал свою фамилию и... «Юрий». Не понял. Отозвался, когда мама шепнула: «Что же ты?» А потом долго злился на эту рыжую «Сухову Марию», которая следом за ним без заминки звонко выкрикнула: «Здесь!» До четвёртого класса она была Малашкой, потом – Машей, с восьмого втайне стала для него Машенькой. Спириин вздохнул. Усмехнулся вздоху, качнул головой. Кто знает, как всё сложилась бы, если бы не его восторженная робость перед этой девочкой. Если бы не Серёга, нарядившийся мушкетёром, с которым она протанцевала весь новогодний вечер. Если бы не Игорь, не красавчик Сашка Бутов. Если бы, наконец, не она сама: не тот эпизод со Стасом. Он увидел их майским вечером перед воротами городского сада. Не подступил бы, но Машенька махнула призывной рукой.

Подошёл уже весь подобранный, мрачный, а она, увидев и поняв... Станислав, студент из Ленинграда, приехавший к ней! в гости. И... Юрик – так она назвала его. Он возразил, но она смеялась: «Юрик, Юрик», хлестая его детским именем, как пощёчинами. Потом выяснилось: Стас был её двоюродным братом, потом она искренне жалела об этом розыгрыше, но это было потом. А ещё через пять лет была встреча выпускников и их последняя встреча. Машенька уже родила дочь и, идя после ресторана по ночному Перевозинску, вдруг взяв его за руку, грустно сказала: «Упустил ты своё счастье, Спириин». Сердце качнулось, но ответить было нечего, и он промолчал...

Машенька, да. С ней соразмерялось многое. Но было что-то ещё, что вызывало неутолимую жажду, и это что-то имело имя собственное: «Хочу». И без принуждений складывалась главная, сокрытая и сокровенная жизнь – с пролётными ночами, с романтикой страстей, с восторгами и страстями, с желаниями вкушать, понять, осмыслить... Целью становился не результат, а путь. Плохо, если желания не реализуются. А если их вообще нет – желаний?

Опять громыхнули стрелки. Спириин повёл плечами: «Нет и пути». Поднялся, распаковал бутерброды, сходил к проводникам за постелью и чаем, неторопливо поужинал. Ворошились мысли, но ворошились академически холодно, под колёсный стук и начинающий густеть пейзаж. Что-то, однако, густело и в пустом купе полупустого вагона. Уже расположившись ко сну, уже в полудрёме Спириин мельком подивился: привиделось, что назад уносится не пространство, а время, и эта мысль не показалась банальной. Спал, как всегда в поезде, – урывками.

В Перевозинске уже всю гуляла весна. Раннее утро искрилось в кронах низкорослых акаций, в палисадниках готовилась взорваться сирень, на зелёном газоне у гостиницы ребячились молодые собачата. Спириин поднялся по тронутому временем крыльцу, толкнул стеклянную дверь и в пять шагов оказался у стойки с заспанной администраторшей. Времена с табличками «Мест нет» давно канули в Лету; Спириин без труда оформился и поднялся на второй этаж в пустой двухместный номер. Накаляющее солнце пронизывало его насквозь; рассыпалось в гранёных плафонах бра и массивной пепельнице на узком журнальном столике. Спириин взбодрился. Распаковал сумку, привёл себя в порядок, принял контрастный душ, с удовольствием растерев и смыв вагонную ночь. Теперь – завтрак и на завод. На этом заводе раз в две недели старшеклассники учились рабочим профессиям. За прошедшие годы заводик стал заводом: разросся, поднял стеклянные фонари новых корпусов, снабжал перевозинцев ходовой продукцией, развивал кооперацию. Спириин пробыл там до обеда. Перезнакомился с руководством, разобрался в монтаже установки, дал задание главному энергетик на перекоммутацию трёх сетей. Энергетик, как и все, с кем довелось встретиться, был незнаком, но понятлив, открыт и радушен. За обедом в заводской столовой пообещал управиться за сутки и предложил гостю познакомиться с городом, особо рекомендуя центр и городской сад. Спириин благодарно кивал и соглашался. Это совпадало с его планами: надеялся какое-то время остаться наедине с городом. Отобедав и выйдя из проходной с приглушённым, но тёплым настроением, безотчётно пошёл нелюдными улицами к школе.

Школа занимала два двухэтажных здания давней, ещё довоенной постройки, крепко стоящих на обширном подворье, половина которого была засажена фруктовым садом. Двор был пуст, уроки закончились, и вообще мало что изменилось. Спириин сел на простенькую скамейку в тени развесистой яблони и неожиданно вспомнил утро, когда сажались эти деревья. Да, был городской апрельский воскресник, все веселились, таскали саженцы, воду, гребли мусор, перехватывали лопаты. Вспомнил дядьку в мятом плаще, его едкую фразу об общественно-беспольном труде и короткую гнетущую тишину. «Дурак», – запоздало ответил дядьке Спириин и улыбнулся старым, но свежеподбеленным стволам. Исподволь перебирал разное: с неясной грустью думал о том, что с этого подворья отправлялся на фронт отец, что вон в том угловом классе первого этажа был приёмный покой эвакогоспиталя, где принимала раненых мама, что в актовом зале оперировали измученные хирурги, а потом в том же зале его принимали в комсомол, а потом вручали аттестаты. С памятью и психикой происходило что-то не очень понятное. В глубоком тёмном колодце вдруг возникал звук, отрывался

от дна и, разрастаясь, поднимался к поверхности, обретая уже узнаваемую плоть. И уже слышалось царапанье столовских ложек и праздничный гомон голосов в первое утро их взрослой жизни. Они вернулись в тот зал, встретив выпускной рассвет, и увидели чудо: три алюминиевых бидона со сливочным мороженым, которое можно было черпать и есть просто ложками. Но теперь сквозь царапанье и веселье прорывалось стальное звяканье инструментов и краткие повелительные голоса. Откуда они в его колодце, что ещё лежит там – на дне? Генетический ил? Фрейдовское «Оно»? Душа? Спириин вздохнул, разгладил ладонью лицо. Солнце уже заглядывало под яблоню, время бы и возвращаться, но он пошёл дальней дорогой – через пешеходный мост над железнодорожными путями, мимо кинотеатра «Родина». На высоком фронтоне увидел кирпичную вязь «1911», и опять память выплеснула: тут был оптовый купеческий дом. Откуда в нём это? И с чего бы такая отрада под сердцем?

Он шёл домой. Домой? Подумал с горчинкой, что этот дом в тихом переулке давно уже не его. Чуть присевший, с резными двцветными ставенками; за невысоким штакетником – уютный дворик. Как это было здорово – смотреть с раскладушки в звёздное летнее небо, какие игры выплёскивало воображение, как нежно перехватывало дыхание от восторга единства с этим бархатным миром. Спириин долго стоял, вслушиваясь в себя. Сыгралась жизнь, в неполный срок сыгралась. Деревья посажены. Кооператив построен. Сын за тридевять морей, внучка – за тридевять земель, и никому ты, Юра, уже не нужен. Идти не к кому и некуда, и нет его – пути без желаний. Взойшло Бунинское: «Что ж! Камин затоплю, буду пить.../Хорошо бы собаку купить». Хорошо бы застрелиться на этом дворе, – подумал мрачно. Мудрец, конечно, Иван Алексеевич: «Всё ритм и бег! Бесцельное стремленье!/Но страшен миг, когда стремленье нет». Камин, что ли соорудить? Спириин хмыкнул, вспомнив свою конурку. Окинул переулок прощальным взглядом...

Через заросший, но ухоженный скверик вышел на центральную площадь и остановился. Непременный памятник Ленину перед фасадом бывшего райкома со сталинскими колоннами, на противоположной стороне – хрущёвская пятиэтажка, угловой куб старого универмага и две современные стекляшки, где сновал народ. «Землянки», – оформилось в сознании слово. Зацепился взглядом за ветхий особняк с высоким крыльцом. И вдруг увидел его новёхоньким! И стоящие перед ним три «ЗиС-5», и колыщущуюся трёхголовую змею людской очереди за солью. И вместе со всеми вскинул голову к жаркому небу, испытывая безотчётный ужас от растущего надсадного воя, слепящих бликов кабин и хищного излома крыльев пикирующих самолётов. И увидел густой частокол пыльных фонтанов среди мечущихся людей, и стриженую девушку, бегущую нелепо, с припаданием на левую ногу; пуля отхватила полкаблука. Спириин яростно мотнул головой. Неспешно, но уже хмуро оглядел площадь, стиснул зубы; показалось, что сквозь асфальт проступает кровь. По-новому – осязаемо – понял: на этой площади могла оборваться не мамина, а его жизнь. Мог не вернуться с фронта отец. Мог сгнать дед. Всё могло споткнуться ещё при князе Владимири. И через уймищу лет не родился бы и его сын, и не чеканил бы шаг на плацу, принимая погоны и кортик, и не было бы больших печалей и малых радостей. Когда-то подобные мысли вызывали внутреннюю дрожь. Давно это было. Давно... До самой гостиницы брёл, не поднимая головы, физически ощущая отсутствие жизненных сил. Решил, что в ужин надо принять водки. Но этот день был не конвейерным.

Он намеревался взять ключ от номера, шагнул к стойке и оцепенел. Нет, эта молоденькая женщина никак не могла быть Машенькой. Но лоб, разрез глаз, тонкий с горбинкой нос, неповторимая припухлость чувственных губ и – главное – взгляд! Он одолел себя, подошёл, глянул на табличку. «Артюхова Дина...». В Перевозинске это было, наверное, единственное имя. Так Машенька называла дочь.

– Здравствуйте, – вздохнул Спириин. – Двадцать второй.

– День добрый, – приветливо улыбнулась Дина, и от этой улыбки у него сжалось сердце.

Стиснул ключ в кулаке, и не смог отойти.

– Ваша мама... Мария...

– Антоновна, – пришла на помощь Дина. – Вы что, знакомы?

Спириин почувствовал, как помимо воли растекается по лицу улыбка.

– Если её девичья фамилия Сухова...

Увидел в карих глазах вспыхнувший интерес и, запнувшись, закончил:

– Мы... сидели за одной партией.

Всё дальнейшее походило на сорвавшуюся лавину. Дина молча подняла трубку, набрала номер.

– Мама? Как хорошо, что застала... Нет, всё нормально, но загляни ко мне на работу.

Спириин не успел возразить, он вообще ничего не успел. Смотрел в распахнутые глаза, воспринимая голос из них:

– Это близко, можно даже не подниматься в номер...

Очнулся. Качнул головой.

– Думаете, она обрадуется?

Как удивительно похоже дрогнули её брови!

– Вы... – тихо произнесла, – Юра. Я знаю.

Легко поднялась и весело предложила:

– Давайте пить чай.

Чайник закипеть не успел. Дина хлопотала у столика в холле с салфетками, тремя чашками-ложками, сахаром, когда дверное стекло блеснуло в закатном солнце, и Спириин вжался в кресло. Тридцать лет не проходят бесследно: смяли они и её лицо, развели густые локоны, заметно округлили фигуру, тронули полнотой стройные ноги, но образ... Он узнал бы её среди сотен женщин. Узнала его и она. Узнала сразу, с мимолётного взгляда. Шагнула к столику и, не сводя глаз, молча опустилась в кресло напротив. Положила на колени сумочку. И вдруг заплакала. Слёзы катились с ресниц прозрачной дробью, оставляя на щеках блестящие дорожки, падали, падали на высокую грудь, расплываясь на светлом плаще тёмными пятнами. Спириин проглотил тугой комок.

– Машенька...

Не отдавая отчета, поднялся, шагнул, прижал к себе её горячую голову.

– Ну что же ты так... зачем?..

В этот вечер Спириин забыл обо всём. О заводе, о своих дневных видениях, командировке, смыслах и бессмыслицах Бытия, обо всём, что именуется реальностью. Вне этой реальности они втроём просидели в холле до ночи, вне её он забрал свои вещи из номера, вне её проводил Машеньку до знакомой калитки коттеджа с диковинными когда-то жалюзийными ставнями. И всё время они что-то рассказывали друг другу, проживали наново и совместно то, что было в прошлом, но не прошедшем, что огорчало и радовало, возвышало и низвергало...

Он опомнился у этой самой калитки. Понял, что уже ночь, что держит свою сумку с вещами, что сейчас войдёт в этот с детства знакомый и пустой теперь дом. Понял и похолодел. Тронул под локоть.

– Маша...

Она глянула, открывая калитку. Освободила локоть. И как тогда – в юности – отрезвила иронией:

– Не бойся, Спириин. Покушаться на тебя я не буду.

В иронии почудилась грусть.

Они без умолку проговорили до утра. Спириин дивился странностям совпадений. Одной из них было то, что Машенька осталась одна почти в то же время. Муж её в перестройку стал мотаться по вахтам, а десять лет назад всю их бригаду расстреляли из автоматов прямо в квартире перед самым отъездом домой. Из-за денег, конечно. Спириин играл желваками, но Машенька, заметив это, вздохнула.

– Царство небесное, но натерпеться мне от него пришлось. Если б не Дина...

– Была нужда выскакивать, – буркнул он.

Ответ он услышал через неделю. Ответ был убийственный, но эта неделя взломала его пустыню. Следующим вечером они отправились в гости, и Машенька познакомила его с зятем и замечательным светлокудрым внуком, и Спириин ощутил тепло не жилья, а дома, а потом пошли дни вприпрыжку.

На заводе всё складывалось более чем. Спириину выделили небольшую бригаду, и он занимался необременительным делом: ставил задачи и мог отправляться на четыре

стороны, посмеиваясь надписи на робе бригадира: «Не стой над душой». Поэтому, когда Машенька вечером третьего дня сказала, что до завтрака они отправятся в церковь, Спириин возражать не стал. В этой церкви его – двухмесячного – крестили, но после этого он был там всего пару раз. Редко, впрочем, бывал и в других храмах; к религии относился, как ко всему – здраво: считал, что между ним и Богом посредники не нужны. Но утром, когда ступили за церковную ограду, он вслед за Машенькой и неожиданно для себя перекрестился, на что она улыбнулась и негромко спросила:

- Причащался когда-нибудь?
- Нет, – отчего-то смутился он.
- Это несложно.

Глянула на него и добавила:

- Но трудно.

Зерно вошло, пока длилась служба, и он тоже стал в короткую очередь. Ритуал, в самом деле, оказался несложным, но, исповедавшись, приняв причастие и уже выйдя во двор, Спириин спросил:

- Ты тоже всю правду батюшке отвечала?

Машенька укоризненно качнула головой.

– Исповедуются не перед батюшкой... Ты, как большинство технарей, всё путаешь: Церковь – с храмом, религию – с Верой, Любовь – с сексом. Большие буквы – с маленькими.

– Не всё, – возразил Спириин. – Но ты права: признаваться в своих грехах вслух довольно трудно.

- Трудно раскаяться. Если не путать раскаяние с оправданием.

Он возвращался к этому целый день. Вспоминал вопросы молоденького священника. Анкетный набор грехов – таких же кривошипно-шатунных. Значит и там – в духовном – такой же шаблон? Пожимал плечами. Перебирал в памяти Библию. Канта. Фрейда. После работы, зайдя за Машенькой в техникум, поделился своим открытием.

– Знаешь, перед тобой я бы тоже смог исповедаться и ничего бы не скрыл. Хотя грешен не по-пустому.

- Это от уверенности, что не воспользуюсь исповедью?

– Это от неуверенности распознать истинный грех. О самом, похоже, тяжком меня не спросили.

- А сам не догадался сказать?

- Сказал бы. Но осознал его поздно.

Они возвращались уже знакомой дорогой – через «стекляшки». Цвела сирень, запах накачивал волнами. Машенька остановилась, заглянула в его лицо.

- Покаяться никогда не поздно.

- О, женщины, – усмехнулся Спириин. – Всё-то вы знаете.

- Не строй женщин в одну шеренгу.

И остановила взглядом готовую сорваться шутку.

- А грех твой я знаю. Жизнь, Спириин – дар Божий, её нельзя отвергать.

Он похолодел. Хотел возразить, сказать, спросить, но Машенька опять опередила.

- Придёт время, покаешься ты и в нём.

Взяла его под руку, повлекла.

– Ты умён, Спириин, но не мудр. Где-то я слышала, что умный сможет выбраться из любой ямы. А мудрый туда не попадает.

- Демагогично, – откликнулся он. – Хотя интересно.

И тут же вспомнил о яме, в которую угодил сам. Привычно скривился. Остаётся воспользоваться умом; дожидать в этой яме по-прежнему не хотелось.

Что-то исподволь в нём воскресало, но он не углублялся. Днём занимался делом, после работы торопился к ней в техникум, веселился с сумками, чистил картошку, что-то приколачивал, подправлял, и всё это неожиданно согревало... Встречались с одноклассниками и знакомыми, гуляли в городском саду, смеялись просто так – от хорошего расположения духа. Возвращались поздно, пили мятный чай с печеньем и пикировками, желали друг другу спокойной ночи и расходились по комнатам. Но возник день. Зарывшись в шум и лязг, придирчиво послушав мерное посапывание

запущенной накануне машины, Спириин обмер от слов директора, что завод уже готов подписать акт приёмки.

Машенька поняла всё ещё там – в своём методкабинете. Не подала виду до самого дома и, только войдя в комнаты, кивнула на телефон.

- Звонить ребятам?

Улыбнулась грустно, почти обречённо.

- Не англичанин же ты, в конце концов.

- Не англичанин, – кивнул Спириин.

Глянул с надеждой.

- Можно ещё потянуть день-два. Или три.

Обжёгся странным Машенькиным взглядом. Помолчал, пытаюсь сообразить, взвесить. Запнулся:

- Уезжать не хочется.

Она не ответила. Ушла к себе; Спириин вслушивался в уже знакомый скрип створок шкафа, сидел на тахте, безвольно опустив руки, разглядывая багровый узор ковра, на котором лежало пятно заходящего солнца. Машенька возникла в дверном проёме почти неслышно; он поднял голову, долго глядел на неё – тихую, домашнюю. Так уже было! Давным-давно, ещё в девятом, когда они вернулись после прогулки сюда – в тепло, в уют вкусно пахнущего дома. У Спирина щипнуло под ложечкой. Да! Машенька вошла в коротеньком бежевом халатике и так же склонила голову к дверному косяку. Он увидел её – прежнюю, хотя теперь халат был голубым и длинным, и перед ним стояла не девочка, а зрелая женщина. Но и сейчас она улыбалась. Немного странно – приветливо и с грустинкой.

- Спириин, – шепнули её губы. – Зачем ты тогда так обидел меня?

Она подседа к нему на тахту, заглянула в лицо.

- Тогда, в августе... Я чувствовала, я извелась за те три недели.

Глаза вдруг блеснули почти яростно.

- Не смей мне лгать! Мне Галка сама рассказала. Всё.

- Что? – выдохнул Спириин. – Что рассказала?

Он понял, о какой Галке речь. Девочка из соседнего класса, влюблённая в него страстно, до стихов и безутешных слёз. Он жалел её, жалел искренно, и там – в туристическом лагере наивно пытался избавить её от иллюзий на свой счёт. Что она могла выдумать? Он смотрел в Машенькины глаза почти с ужасом, уже догадываясь, от чего так безвозвратно всё тогда изменилось. Блеснул ответный ужас: причина открылась и ей.

И сомкнулась пропасть времён.

Перед ним сидела та Машенька – девочка, звавшая к сокровищам мира. Кровь ринулась в его лицо.

- Ты поверила...

Он пожалел о своих словах. Машенька опять – как в гостинице – безмолвно заплакала. Это было выше его сил – смотреть на её слёзы. Как маленькую привлёк к себе; она уткнулась в плечо и вздрагивала, вздрагивала... Жёг ладони жар её склонённой спины, хмелил запах волос, Спириин глядел в угол стен и ничего не видел, ощущал в себе юные пульсы юной жизни, и они ликовали в нём, орошали и превращали пустыню в оазис. Машенька повела плечами, подняла на него влажные, припухшие от горьких слёз глаза. Успокаиваясь, вздохнула.

- Поцелуй меня, Спириин...

Она не тронула его объятием, покорно и бездыханно ждала, когда он насладится солёной сочностью её губ. Долго заглядывала в самую душу. А потом тихо и без робости прошептала:

- Я ждала этого... тридцать пять лет.

У Спирина замерло сердце. Но Машенька тыльной стороной ладони отёрла от слёз щеку и легко улыбнулась.

- Не сумела я стать твоей первой женщиной...

Он, видно, тоже ждал этого всю жизнь. С того памятного марта, когда они сидели в этой же комнате, не смея коснуться друг друга, когда уже за полночь к ним вышла мама, укоризненно качнув головой, после чего оставалось лишь опрометью, с горящим

лицом бежать домой... Не смея поверить, погладил её плечо, шею и безотчётно, не отводя глаз, медленно опустил под ворот халата. Это было продолжением того – перевозданного и прерванного. Было ярким, но не слепящим, а светлым. Упиваясь росною влагою глаз, осязал податливую тяжесть, взвешивал её робкой ладонью, гладил, обегал пальцами. Машенька, неуверенно отстраняясь, миролюбиво вздохнула:

– У тебя может выпрыгнуть сердце.

Помолчала. Тихонько позвала:

– Эй... ты где?

Спирин зажмурился и резко открыл глаза. Убирая руку, молвил:

– В небе.

Она печально провела пальцем по его щеке.

– Это всего лишь грудь.

– Это твоя грудь, – откликнулся он одними губами.

Она закрыла глаза. Долго сидела молча.

– Я старая остолопка, Спирин.

Решительно глянула ему в лицо и внятно сказала:

– Но и старая жила бы с тобой одной жизнью.

Так же решительно поднялась.

– А ты – старый остолоп.

– Да, – весело отозвался он, легко вставая, – мы два сапога.

Обнял за плечи и отважно поцеловал в губы...

Ждал её в пахнущей свежестью постели, смотрел на шкаф с книгами, на ещё светлое окно и пропитывался давним, но, оказывается, не сгинувшим юным пылом и юной робостью. Увидел на полке обрезной корешок томика Пушкина – свой подарок к её пятнадцатилетию, и возликовал, будто подарил его день назад. Услышал шаги, застыл. Она вошла в лазурной, почти воздушной сорочке. Споткнулась о его взгляд, оправляясь от смущения, подхватила пальцами длинный подол и присела в реверансе. Спирин вскинулся.

– Постой, – взмолился. – Постой...

Она кротко выпрямилась. Не отпуская подола плавно, с едва различимым кокетливым изгибом, сделала вальсовый оборот. Под тонкой бязью светилось налитое жизнью тело, яркая синяя лента стягивала глубокое декольте, подхватывала раскосые груди.

– Машенька...

Потянул одеяло, освобождая ей место. Она подошла, неторопливо легла и так же неторопливо вытянулась. Повернула к нему пылающее лицо. С грустной иронией отметила:

– Ты всё так же меня боишься.

– Себя, – откликнулся он. – Я всё так же боюсь себя.

Приподнял одеяло, неловко пытаюсь укрыть, и она покорно придвинулась. Заботливо оглядела, обняла, вжалась доверчиво и призывно, и его робость, опасения, стеснительность – всё, всё полетело прочь. Машенька улыбалась.

– Ну? – сказала ласково. – Здравствуй, что ли?

– Здравствуй, – ответил безоблачным вздохом.

В пустыне вставал девственный, восхитительный лес, где не было торных троп, где каждый шаг опять был первым, где всё пройденное и найденное не имело значения, потому что это был новый лес, с новыми тайнами и находками. Приподнялся на локте, склонился, осторожно поцеловал в горбинку носа. Распустил тесьму, опять сверился с её лицом. Повёл ладонью вниз – под ткань – и Машенька безвольно обмякла. Трепетала лишь жилка на шее, и за эту жилку он готов был выжать себя до капли. Стал убирать руку, но она открыла глаза. Жалобно улыбнулась. Она боролась с собой. А он любовался ею, и этой борьбой, ощущая и в себе ту же неспешную жизнотворящую сладость. Наконец глубоко вздохнула.

– Сейчас.

Легко поднялась, скинула руки и смахнула с себя бирюзовое облако. Легла, чуть повернулась к нему. Положила на грудь горячую ладошку.

– Будем жить, Спирин...



ПРОЗА

Вера СОКОЛОВА



Вера Александровна Соколова – родилась в Москве в 1984 году. Окончила Литературный институт имени А.М. Горького в 2006 году. Научный сотрудник Дома Русского Зарубежья имени Александра Солженицына. Живёт в Москве.



Закончится даже дорога. Дорога домой...

Вот синее небо над нами,
Вот белый стежок самолёта
На этой небесной глади,
Расстеленной поверх крыш.
Вот чьи-то быстрые пальцы вышили облака.
Но если однажды утром устанет эта рука,
Отложит свое рукоделье...
Пыль слоем покроет дом,
В котором живём и смотрим
На небо с тобой вдвоём.

Снежная королева

А мне оставили метель
На затянувшиеся годы,
Сказали: «Вы – одной природы».
Ушли. Оставили. Капель...
Капель не омрачит мой взгляд.
Январский воздух стыл и звонок,
Так будто зеркала осколок,
Он ветром режет по глазам – Ушли.

Трир. Постскриптум

I

Вспоминая тот путь, возвращаюсь мыслями к Триру.
И понять не могу, за что его полюбила,
Что меня привлекло
В тех камнях как доспех тяжелых,
В тех камнях как плечи массивных,
В тех камнях как скулы суровых
У римских солдат.

II

Маленький город Трир,
Невыросший в столицу Константина...
– Ты, покоривший мир,
Знавший Отца и Сына
И Духа, зачем оставил
Город, в котором рос?
Он – исключенье из правил,
Он – плоть твоих римских грёз.
Камни его собора славят тебя поныне.
Но твоё детство скромно, тихо хранят мостовые.

Новгородских церквей белая теснота,
Ветер дует с реки.
Под платком согреваю руки...

Время живёт во мне,
Давит мне на висок.
И хронометр его – голубая жилка.

А кладбище всё под снегом...
Не помню: был или не был
С утра снеговой покров.
Но ясно я различала,
Что жизнь началась сначала,
С самых азов.

Бессмертие. Качает веткой клён.
И чёрный крест из диабаз
На основанье закреплён,
Где перечислены все разом:

Прапрадед и его родня.
Но место на вершине камня
Оставлено здесь для тебя
Для фотографии из ранних.

На ней не видно седины,
Лицо способно на улыбку
И там, где прошлое как сны,
В портрете больше нет ошибки.

Закончится сердце, струна оборвётся, звуча.
Ничто не вернётся, ничто не вернётся. Стуча,
Колёса вагонные мнут полотно под собой.
Закончится даже дорога. Дорога домой.





Гурген БАРЕНЦ

Русское ружьё Отрывок из киноповести

*Здесь турки прошли:
Всё в руинах и трауре...*
**Виктор Гюго, «L'Enfant Grec»
(«Греческий ребенок»)**



Гурген Баренц (Гурген Сергеевич Карапетян) – родился в 1952 году в Ереване. Поэт, переводчик, журналист, литературовед. Кандидат филологических наук, специалист по русской и армянской литературе. Автор более тысячи публикаций в различных периодических изданиях. Составитель сборника произведений русскоязычных армянских писателей «Лоза и камень» (Ереван, 1985). Автор нескольких сборников переложений сказок народов мира на армянский язык. В 2010 году издал однотомник избранных стихотворений «Уроки Дороги». Пишет и публикуется с 1978 года. Живёт в Ереване.



и тяжело переводя дух: он бежал во весь опор с дальней, северной окраины села.

Изрядно подвыпившие, раскрасневшиеся от вина и наперебой галдевшие турецкие солдаты-башибузуки, которых было больше двадцати, мгновенно протрезвели, разом замолчали. Их охватил какой-то панический ужас, они в течение одной неполной минуты, расталкивая друг друга локтями, выскочили во двор, вскочили на своих лошадей и дали стрелкача – только пыль стояла столбом.

То, что турки боятся русских, как огня, было общеизвестно, об этом рассказывались и пересказывались бесчисленные случаи-были, они рассказывались и повторялись бесчисленное множество раз, обрастали новыми подробностями и становились полуполюгендами, притчами и беседами.

Старые люди рассказывали, как ещё в их молодые годы маленький русский конный отряд в двадцать человек среди бела дня напал на десяти тысячное турецкое войско, перебил более тысячи османов, обратив остальных в бегство. Земля слухами полнится. Возможно, они имели в виду румынского воеводу Иоана Воде, его ещё называют Иоаном Армянином (именно так называл его Кантемир) или Иоаном Лютым – этот конкретный его подвиг сохранила история. Возможно, речь в их рассказах шла о других подобных сражениях. Это многим покажется невероятным, невозможным, но подвиг этот вовсе не был единственным в своём роде. История сохранила немало других подобных случаев. Да и потом, столь же доблестными подвигами ещё в древние, средневековые и, особенно, новые времена отличались, отмечались также армянские герои-храбрецы, правда, они не нападали, а оборонялись в осаждённых крепостях и вырывались из кольца вражеского окружения.

Достоверной правдой и непреложным фактом остаётся то, что русские всегда били турков. Били их и до Суворова, и после Суворова. Но больше и больше других бил турков сам Суворов. При каждом упоминании имени Суворова у армян загораются от гордости глаза: ещё бы, у прославленного генералиссимуса русской армии мать была армянка, урождённая Манукова-Манукян.

В дом Кртенц Вардана вошли двое статных русских. Они вдвоём, сами того не ведая, фактически завоевали армянское село, расположенное всего в нескольких километрах южнее Эрзерума, без единого выстрела освободив его от вооружённого турецкого отряда. Это стало «бродячим сюжетом», притчей во языцех, рассказом-быльё.

– Ну, ребята, каким ветром вас сюда занесло? Вы едва не напоролесь на турецкий отряд. Вам что, жизнь надоела? – пошутил Вардан-эфенди.

– Бог в помощь, отец, – сказал один из них, Савелий. – Мы отстали от своих и заблудились. Наш отряд направляется в Карс.

– Значит, вам нужно было всё время идти на север. Вы едете в противоположном направлении. Наше село – к югу от Эрзерума. И здесь повсюду турецкие и курдские вооружённые отряды.

– А мы их не боимся. Пусть лучше они нас боятся, – улыбнулся Савелий. Это был крупный сорокалетний мужчина с живыми карими глазами и пышными усами – в духе того времени.

Погос усадил гостей за тот самый стол, за которым каких-нибудь десять минут назад весьма уютно и весело коротали вечер турки.

– Русский – кароший. Русский – карашо. – Это было всё, вернее, почти всё, что могла сказать на языке новоприбывших мать Погоса, в то время совсем ещё молодая хозяйка дома Тагуи-ханум.

– Вы ешьте, ешьте. Вы ведь с дороги. Да и домашней пищи давно, наверно, не пробовали, – староста Вардан-эфенди всех своих гостей считал божьими людьми и был искренне рад русским солдатам, хотя и понимал, что этот неожиданный визит совершенно не понравится местным турецким властям и может принести ему массу неприятностей.

– Да вы не беспокойтесь. Мы вовсе не хотим вас стеснять, – сказал второй солдат, Михаил. Он был худой, но высокий и крепкий голубоглазый парень лет двадцати. – Я никогда не ел ничего вкуснее этого мяса, – добавил он, указывая на каурму.

– Русские – Иваны, а армяне – Ованесы, – продолжала демонстрировать свои познания молодая хозяйка, Тагуи-ханум.

Было это в 1878-м году. Старостой села был отец Погоса, Вардан-эфенди, самый зажиточный человек на селе. Погос был тогда маленьким мальчиком, ему было восемь неполных лет.

Русско-турецкая война закончилась совсем недавно, Османская Турция потерпела сокрушительное поражение, русские дошли до самого Эрзерума, заняли город, но в окрестные сёла, в том числе и в село Погоса, почему-то решили не входить. Сёла эти были заняты турецкими регулярными войсками – янычарами и башибузуками*.

Англичане предъявили России ультиматум и, оказывая на неё сильное давление, вынудили просто так, за здорово живёшь сдать, вернуть побеждённым османам с большим трудом, ценой кровопролитных сражений отвоёванные армянские вилайеты.

В один из осенних вечеров в большом доме старосты Вардана-эфенди шумно пировали турецкие солдаты. Активные военные действия уже давно не велись, русские были довольно далеко отсюда, и к тому же были заняты приготовлениями к отступлению, так что можно было как следует отдохнуть, тем более, что в доме старосты недостатка съестных припасов и вина не ощущалось.

Погос играл со своими сверстниками в верхней, северной околице села, когда в дымке горизонта вырисовались силуэты двух всадников. Они медленным, спокойным шагом направлялись в сторону деревни. Это не могли быть армяне, поскольку армянам строжайшим образом возбранялось разъезжать на лошадях. И это не были турки-османы: османов мальчишки могли безошибочно вычислить и на более дальнем расстоянии – по их военным мундирам и головным уборам – фескам.

– Айрик, айрик, там русские на конях, там русские конники, они едут сюда! – вбежав в горницу, громко, возбужденно закричал маленький Погос, запыхавшись

* Башибузуки – отряды турецкой иррегулярной кавалерии Османской империи.

Для того, чтобы посмотреть на русских, сбежалось чуть ли не всё село.

– Ну, что ж, ребята, отдыхайте, жена постелит вам в одной из комнат. – То, что приезжие останутся ночевать, даже не обсуждалось, было чем-то заведомо решённым, само собой разумеющимся. Ну, куда они поедут, на ночь глядя? В округе рыщут турецкие сторожевые отряды, да и курдские разбойники вполне могут напасть на них, хотя, в принципе, два заблудившихся русских солдата не должны представлять для них никакого интереса. Курдов интересует имущество, а какое имущество может быть у русских солдат?

– Почему вы беспокоитесь, отец? Мы ведь не князя и не бояре какие-нибудь, мы простые солдаты и вполне бы смогли заночевать и на сеновале.

– Айрик, айрик, а вдруг турки вернутся? – маленькому Погосу, конечно, очень хотелось бы, чтобы эти глупые турки вернулись, и чтобы эти здоровенные русские солдаты перебили их всех, да так, чтобы им неповадно стало, чтобы после этого ни один турок не смел приходить в их село.

– Не вернутся. Я хорошо знаю их натуру. Они надолго забудут сюда дорогу, – ответил Вардан-эфенди.

Наутро гости встали ещё до рассвета и собрались в путь-дорогу. Они были приятно удивлены, когда увидели накрытый стол – и это в такую-то рань.

– Вы что, всегда так рано встаёте? – спросил Савелий.

– Мы – крестьяне, мы – люди земли. А земля любит тех, кто рано встаёт.

– А это вам на дорогу, – сказал староста Вардан и указал на две корзины внушительных размеров. – Если будете искать своих слишком долго, то хотя бы с голода не умрёте.

– Как нам отблагодарить тебя, отец? – спросил Савелий. – Ведь у нас ничего с собой нет.

– Меня благодарить не нужно, сынок. Я сам был солдатом. И мой сын будет солдатом. Я вам помог, потому что знаю, каково быть солдатом, как трудно находиться вдали от дома, от семьи, от родины...

– Возьми это ружьё, отец. Это старое ружьё, возможно даже, старше тебя. Но это – самое ценное, что у меня есть.

– Нет, сынок. Мне это ружьё ни к чему. Султан вынес закон, запрещающий армянам хранить и носить при себе оружие. Так что ничего, кроме неприятностей, оно мне не принесёт. А тебе оно пригодится. Да и у тебя могут быть неприятности – за утерю оружия.

– Не будет у меня неприятностей. Такого добра у нас навалом. Это ружьё устаревшего образца. Мне давно уже должны выдать новое ружьё, более современное. А вы это ружьё просто возьмите да повесьте на стену. Как память о нас с Михаилом. А давайте-ка, я сам его повешу – для чего ещё мне мой рост?

И Савелий повесил ружьё на стену, на один из многочисленных торчавших из досок гвоздей.

– Ну вот, готово, – переводя дыхание сказал он. – И пусть оно никогда не стреляет.

– Аминь, – сказал Вардан-эфенди.

– Аминь, – сказал Михаил.

– Аминь, – сказал маленький Погос, хотя и не понимал толком, что это означает...



ПРОЗА

Николай ТИМОХИН

Николай Николаевич Тимохин – родился в Семипалатинске. Окончил филологический факультет Семипалатинского пединститута. Работал учителем русского языка и литературы в школе. Автор сборника стихов «Мысли, навеянные жизнью» (2007), повести «Несбывшаяся мечта» (2010). Член Всемирной корпорации писателей, председатель казахстанского отделения Всемирной корпорации писателей. С новыми произведениями автора можно познакомиться на сайте: www.timohin63.narod.ru

Живёт в Семипалатинске.



Новый взгляд на сонеты Шекспира

Сонет №28

Когда смогу я обрести покой,
В котором мне отказано опять?
И почему ложусь я, чуть живой,
И что мешает до утра поспать?

Разбились сутки на две половины,
И по частям преследуют меня.
И обе сильно мучат, без причины,
Стремятся в дали, за собой маня.

Я день хочу увидеть в лучшем свете,
Чтоб тучи не затмили неба свод,
И смуглой ночи на привет ответить,
Сказав, что мне луна улыбки шлёт.

Хоть солнца луч усилит лишь, печаль,
Но на закате, с ним расстаться жаль.

Сонет №33

Я наблюдал немало за рассветом,
Что обнимает нежным взглядом горы,
Он гладит травы на лугах при этом,
И украшает водные просторы,

Чтоб вскоре тучи покорили дали,
А грозно над землею не висели,
И солнце бы собой не закрывали,
А плыли бы к своей далёкой цели,

Так утром озарил небесный лик,
Своим великолепием меня,
Ко мне он в душу лишь на час проник,
И растворился, за собой маня.

Моя любовь за это не в обиде,
Я пятна и на звёздах ярких видел.

Сонет №50

Как тяжела дорога, для меня,
Когда, добравшись, всё-таки, до цели,
Скажу себе, загнав в пути коня:
«А встретится, мы с другом не сумели!»

Скакун и тот, почувствовав печаль,
Везёт свой груз, степенно, не спеша,
Меня ему, как будто, очень жаль,
И к бегу не лежит его душа,

Животного не подгоняет шпора,
Которую, в сердцах, вонзаю в бок,
Боюсь, гневной от этой боли скоро
И от усталости начнёт валиться с ног,

Застрянет стон его в моей груди:
Удачи в прошлом, беды - впереди.

Сонет №126

Владей, любимый, Времени весами –
Серпом играя, зеркалом, часами.
Мгновенья жизни не приносят сладость
И старый друг тебе уже не в радость.
Природа может всё переломать,
Отправив путешественника вспять.
Но ты сумеешь справиться с судьбою.
Года не разлучат тебя с мечтою.
О, всё же опасайся наслажденья!
Ничто не вечно в мире, к сожаленью.

Придёт пора расплаты по счетам
И за долги ты пострадаешь сам.



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Надежда СТУПИНА

Россия в «певучем наречии» Виктора Бокова и Николая Тряпкина

*Песня русская – это исповедь.
Кто на исповеди? Народ!
Эта летопись пишется исстари,
В каждом русском она живет!*

В. Боков



Виктор Боков (1914–2009) и Николай Тряпкин (1918–1999) ... Современники, почти ровесники XX века, происхождением крестьяне, милостью Божьей поэты, славой не забытые. Оба упокоились на земле воспетой ими Москвией. Их музы, так несхожие между собой, в едином охвате впечатляют грандиозным полифоническим национальным звучанием. Язвницкий Лель и «лотошинский ведун» (Л. Аннинский) «пели» Русь каждый на свой лад. Воздать краю отчему – святое, хотя и пророка часто в нём нет. Но поэт в России без песни о ней не поэт. Не народный поэт. Чего никак не скажешь ни о Бокове, ни о Тряпкине. И главный аргумент, конечно, тот, что их стихи «запели».

*Мои стихи давно запели
Немалое число людей
Во мне чего-то рассмотрели
Поверили строке моей*
(В. Боков)

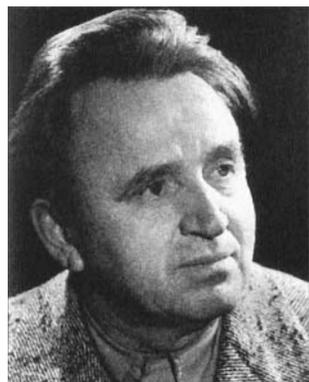
*Ой ты, власть моя – поле!
Коль виновен, – прости.
Дай хоть песенной долей
Для тебя процвести.*
(Н. Тряпкин)

Творческий век Виктора Фёдоровича и Николая Ивановича был велик и плодотворен, и «песенной долей» поэты могли быть довольны. «Я назову тебя зоренькой», «На побывку едет», «Ой снег, снежок», «Оренбургский платок», «Снег седины», «Лён, мой лён» и многие другие песни, написанные на слова В. Бокова талантливыми композиторами А. Аверкиным, Г. Пономаренко, Н. Кутузовым, стали народными. На 70-80-е годы приходится популярность песен на слова Н. Тряпкина: цикл В. Пьянкова «Величальные песни России», сюита Г. Белова «Сельские ночи», «Сцены-гуляния»

Надежда Алексеевна Ступина – родилась в 1960 году в Москве. В 1985 году окончила Московский государственный институт культуры (дирижёрско-хоровое отделение, специальность – народный хор), в 2000 году – Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова (филологический факультет), в 2010 – Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького. Член Союза писателей России, автор научных статей по современной русской литературе. Преподаёт русский язык и культуру речи в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Живёт в городе Реутов Московской области.





В. Боков



Н. Тряпкин

О. Галахова и другие. Любимой в народе стала поэма «Летела гагара». В разных музыкальных вариантах её исполняли и до сих пор исполняют самодельные и профессиональные певцы, хоры, ансамбли.

Виктор Фёдорович начал писать с девяти лет, крестьянским мальчишкой. Став профессиональным литератором, всю жизнь посвятил поэтической музе. О себе говорил: «Был песнями наполнен и музыку творил». Он «светил всегда, светил везде», оставаясь до преклонных лет оптимистом.

*Утром встану,
Музыкой стану,
Нежной свирелью,
Белой сиренью.
Приглядишь ко мне –
Я не такой,
Был из тела.
А стал из звука,
Прикоснись ко мне рукой,
Ну-ка!
Разольюсь
На пятнадцать ладов,
Прилечу к тебе из садов
В золотом оперенье,
Подарю тебе стихотворенье,
А еще золотое колечко – носи!
Так положено на Руси!*

Николай Иванович также рано стал заниматься литературным творчеством. Искал свою заветную тропу, с годами неуклонно совершенствуя мастерство. Его поэтической судьбы коснулась «волшебная влага» Провидения. Он признавался, что случилось это на далёком Севере, окуренном фимиамом старинных сказаний.

*Когда-то там, в лесах Устюги,
Я неприкаянно кружил.
Скрипела ель, стелились вьюги
У староверческих могил.*

*И на каком-нибудь починке
Я находил себе ночлег,
И припадал к молочной крынке,
Не протерев зальдевших век.*

*И в смутном свете повечерий,
Я погружался в древний быт,
В медвежий сумрак, в дым поверий,
В какой-то сон, в какой-то мыт.*

*И постигал я те столетья
И в том запечном уголке,
И в хламе старого веретя,
И в самодельном черпаке.*

*А за стеной скулила вьюга
И прямо в дверь ломился снег.
И стала ты, моя Устюга,
Моим пристанищем навек.*

*И в смутном свете повечерий
Я закрываюсь в тайный скит,
И несказанный дым поверий
В моих преданиях сквозит.*

*И на каком-нибудь починке
Я источу последний пыл,
И слягу в старой веретинке
У староверческих могил.*

Сквозь призму древнего быта и духа поэт «постигал» не только исторические «столетья», своё «пристанище» на земле, куда нужно потратить «пыл», но и свою причастность вечному Времени.

В старину жизнь сельского человека мерялась песней: от колыбельной до плача. Устная словесность хранила в своих недрах и величественные сказания о мужественных героях, и молодую удаль, и мудрую печаль. Обращение к фольклору, интерес к простому человеку, по-детски непосредственному, но в то же время умудренному житейским опытом, окрыляли художников слова. Лирика поэтов, вышедших, а на самом деле «никуда не выходивших» из крестьянского рода, органически впитала мелодику и образность обрядовых, лирических, игровых песен.

*Это я на белом свете
Прожил восемьдесят лет.
Признаюсь, что в этом свете
Лично мне замены нет.*

*Петь могу! А кто не может?
Весь вопрос, а что пою?
Что меня в душе тревожит,
На какой земле стою?*

*Ну, конечно, на российской,
Где песок и чернозём.
Где я по траве росистой
Тороплюсь с большим узлом.*

*Это я переезжаю
В подмосковный уголок.
Никому не угрожаю,
Не вытрашиваю в долг.*

По складу речи, по настроению лирический герой боковского стихотворения как есть коробейник – балагур, любимец публики. Каким, по воспоминаниям людей,

знавших поэта лично, он и сам был. Жил по законам народной, в сущности, христианской морали: по труду, по совести, родителей почитал, душой не унывал, на чужое не зарился, талант в землю не зарывал. Однажды Боков сравнил душу поэта с орнаментом. В своих стихах он яркими красками метафор «рисует» образ поэтического творчества.

*В моём цеху почёт стиху
И рифме самой звонкой.
Я к русской печке подхожу
Чело закрыть заслонкой.*

*Гудит огонь в печной трубе,
Пылают жаркие поленья.
Мне любо жить в простой избе,
Надёжней вдохновенье.*

*Анапест вышел на крыльцо.
Ямб, как петух, ярится.
Тружусь я! Так в конце концов
Рождается моя страница!*

Печка! Верное тепло и богатство русской избы, гармония русского мира. Коснись «челом», как благословение прими. И всего у тебя прибавится, прибавится душевного жара и вдохновения. Как это важно для поэта!

Тряпкин, говоря: «я – сам себе фольклор», с особенным удовольствием рассказывал о своих походах «то в телеге, то пешком» за новыми впечатлениями, за рожком, за гармошкой. А потом напевал сложенные им «песенки» – так он называл свои стихи.

*Начинаю первую, начальную,
Самую любимую пою.
И воссели бубны величальные
На мою широкую скамью.
.....
И вот кричит строка:
Да расточится дым!
А в сердце – песенка рожка,
Идущая к живым...*

Понимание тряпкинских природных картин порой требует повышенного сосредоточения, так как его поэтика отличается нагруженностью образов, развёрнутых метафор. Но это и дарит удивление самобытной словесной стихией.

*Со сторон заката и востока,
Захмелев от грома и воды,
Золотая ключница сорока
Отперла небесные сады.*

*Теньти-бреньти! Огненные вышки!
Голубой да синий кипарис!
Запускали змея ребятишки
И тянули небо прямо вниз.*

<...>

*Теньти-бреньти! Луковка-махалка!
Не галдите галки вразной!
Закрутись ты, солнечная прялка,
Засверкай над нашей избой!*

Сильно и точно передаётся «хмельная» свобода детства, дерзость и неистовость мальчишек: «тянули небо прямо вниз». «Теньти-бреньти!» – в деревенской жизни балалайка всегда под рукой. И опять переключка с Боковым. «Вся-то страсть моя – струна...», – писал поэт о себе, и писал правду. О чём только не поведала его верная трехструнка! Боковское многочасовое исполнение частушек и страданий под балалайку стало легендой. Песни по народному обычаю игрались, часто в них включались приговорки, диалоги. Бокову близка интонация разговорная, распевная. Он наследник «нежного певучего наречия» матери Софьи Алексеевны – запевалы, замечательной рассказчицы, настоящей русской женщины-труженицы: В сельской душе моей сохранились/Мамины мудрости, мамини песни.

*У меня сегодня лучший гость,
Лучший друг, испытанный годами.
Нежность всей земли собрал бы в горсть
И отдал маме!*

*Это от неё моё начало,
От неё мой первый путь в Москву.
Это ведь она качала
Каждую мою строку.*

Было и Тряпкину кому поклониться за подаренное ему в детстве тепло души, за «сказки родовые» и «вирши духовные», петые «у печного корабля», благословившие Судьбу поэта:

*Ах, ты, бабка Настасья!
Что бы было бы нынче со мною,
Если б в детстве своем
Я не ведал, старушка, тебя?
Вспоминаются долгие зимы,
Покрытые снежною мглою,
И твое воркованье
У печного того корабля.*

<...>

*Мы с тобой на печи.
И сладки нам любые морозы,
И любая метель за стеной
Навевает блаженные сны.
Да к тому ж ещё кот
Без единой крупиночки прозы
Между нами урчит
Про кошачьи свои старины.*

*Ну, а ты всё поёшь и поёшь,
То ли сказки свои родовые,
То ли вирши духовные,
Коем не видно конца.
И плывут на меня до сих пор
Грозовые столетья былые,
И в глаза мои смотрит Судьба,
Не скрывая лица.*

*И уж если теперь
Мои песни хоть что-нибудь значат,
И уж если теперь я и сам
Хоть на что-то гоюсь, –*

*Ах, всему тому корень
Тогда ещё, бабушка, начат –
Там, у нас на печи,
По которой и нынче томлюсь.*

Стихи Бокова и Тряпкина хочется читать вслух, они «просятся» на народ. Издавна повелось: и горюем, и празднуем миром. То грустную песню затынем («Славянская душа печальна исстари...» В. Боков):

*Душа у России скромная,
Отзывчивая, не тёмная,
Душа у России полынная,
Протяжней, чем песня старинная.*
(В. Боков)

То пляску заведём:

*Эх, пол-доска!
Пропадай, тоска!
Ну-ка, Федя-избачок,
Раскрывай-ка сундучок!
Чтобы песенки оттуда
Раздавались!
Чтобы цветики на сердце
Распускались!*

(Н.Тряпкин)

Коллективная песня, и душа в ней общинная, хоровая, многоголосная. Хотя и называл Тряпкин шутливо свои сочинения песенками, некоторые из них, скорее, миниатюрные оратории с эпически широкой темой, рефренами и кодами. «Рокочут гуслирные струны», говорят о доле поэта-певца, об истории страны, о «вселенских» бурях. Это песнь Времени.

*Старинные песни, забытые руны!
.....
И только лишь кто-то кричит и взывает:
«По Дону гуляет, по Дону гулет
Казак молодой».
И снова поёт пролетевшее Время –
И светится Время, как лунное стремя,
Над вечной Водой.
.....
И снятся мне травы, давно прожитые,
И наши предтечи, совсем молодые.
А Время поёт.
И рвутся над нами забытые страсти,
И гром раздирает вселенские снасти,
А колокол бьёт!*

В девяностые годы грянул гром «российских страстей»... Боков и Тряпкин тяжело переживали перемены в стране. Рушилось то, что казалось неизблемым: уважение к труду, доверие к человеку. И советское прошлое не было безмятежным (семья Тряпкиных пострадала во время коллективизации, Бокова не миновала участь ГУЛАГа – по ложному доносу). Однако СССР они считали своей Державой, в которой талант народного поэта почитался культурной ценностью, «кладом». Новая Россия стала чужой.

*Ах вы, люди мои! Ах вы, люди мои – человеки!
Почему вы такие? И с чем вы кончаете путь?*

В словах Тряпкина горечь и досада: в чём найти духовную опору? Со всей искренностью поэта он пишет другу:

*Для нас ли дым взаимной чепухи?
Поверь-ка слову друга и поэта:
Я заложил бы все свои стихи
За первый стих из Нового Завета...*

Жить по Новому Завету... За Россию православную радели Гоголь и Достоевский. Но это путь жертвенной Любви, не каждый его принимает, хотя он и открыт для всякого, в ком теплится хотя бы огонёк веры. «Усталому, омрачённому» человеку близко признание Бокова, «бегущего» в храм, как в своё «жилище».

*Не все в России забыли Бога,
Не все заколотили Божий храм.
Травой не заросла дорога
К часовенкам, к монастырям.*

*Идёшь усталый, омрачённый,
На горизонте крестик золочёный,
И ты прибавил шагу, побежал,
Как будто храм тебе принадлежал!*

*В каком-то смысле храм – моё жилище,
Мы в нём себя спасаем, Бога ищем.
А Он от нас того и ждёт.
И постоянно молится весь год.*

В чём спасение России? – по-сыновьи тревожится поэт. И не находя точного ответа, обращает к ней сердечное пожелание: «Россия, будь всегда собой!» За этим стоит: сохрани себя, не дай в обиду, пусть достанет сил дать отпор недругам, замахивающимся на твои святыни – веру, землю-матушку, культуру.

*Верю в тебя – ты выступишь,
Буря повалит – ты встанешь.
Праведная, неистовая,
Синего неба достанешь!*

Тряпкин не столь светел в своих раздумьях – не даёт покоя разрушенный «дедовский храм», кривые дороги и обиды. Молитвой звучат слова поэта: «Да святятся уроки, внушавшие радость и боль!» Как ни тяжелы «уроки» сомнений и сожалений, покаяния и прощения, но через них приходит побеждающая сила, а с ней всеобщая радость.

*Ради веры такой хорошей
Не запрёмся в своей избе
И любую крестную ношу
Понесём на своём горбе.*

Нельзя не признать, что Русь в самые тяжёлые времена своей истории побеждала духом. Боков и Тряпкин укрепляют русского человека Словом. В их песнях живет соборная душа России.





ПОЭЗИЯ

Сергей ЛЕБЕДЕВ

Сергей Александрович Лебедев – родился в 1949 году в Рязанской области в семье офицера. Окончил в 1972 году Куйбышевский политехнический институт по специальности химик-технолог. Впервые отдельные стихи были напечатаны в 2008 году в журналах «Книжный клуб» и «Предупреждение», с 2009 года стихи публикуются в тольяттинских газетах, в международном сетевом альманахе «Литературная губерния», сетевом литературно-историческом журнале «Великороссъ», межрегиональном литературно-художественном журнале «Приокские зори». Выпустил четыре сборника стихов «Кто измерит года», «Послевкусие», «Лесная дорога», « Попрошу у Бога строчку», повесть «Мой отец – офицер».

Живёт в Тольятти.



Неизвестный солдат. Триптих

Посвящается памяти моего дяди
Соловьева Ивана Михайловича,
погибшего в городе Барановичи
22 июня 1941 года в 6 часов утра.

1

Я погиб в карауле,
На июньской заре.
Жарко чмокали пули
По сосновой коре.
Мне б в речную прохладу,
На Ветлугу, домой!
Чтоб от боли и ада
Прыгнуть вниз головой!
В роднике бы умыться,
Утром маму обнять.
Только сердцу не биться,
И меня не поднять.
Я запахан за Брестом,
В белорусской стерне.
Не найти это место,
Всё сгорело в огне.
Выл, зверея, «лаптёжник»*,
Пыль от смерти столбом.
В городке, как заложник,
Был оставлен мой дом.
Хриплый голос главкома
Мне команды не даст.

* «лаптёжник» – так советские солдаты называли немецкий пикирующий бомбардировщик Ю-87.



Лишь воронка от дома,
Всё разрушил фугас.
Я запахан за Брестом,
Ни креста, ни звезды.
Много нас, что без вести
На краю борозды.
Нас засыпало плугом
Той военной страды.
И, обнявши друг друга,
Мы сомкнули ряды.
Наши строгие лица
Лишь на запад глядят.
И врагу не пробиться
Сквозь застывших солдат.
Здесь ни званий, ни старших,
Вы же, память храня,
Не забудьте всех павших!
Не забудьте меня.

2

И умолкли наши трубы...
Сквозь пожарища и дым,
Молча, сжав сухие губы,
Пробивались мы к своим.
Злость булатную ковали,
И, собравшись, напролом
Окружение прорвали
Мы приказом и штыком.
Но в земле, не чуя боли,
Ни своей и ни чужой,
Я лежу у края поля
Под заросшею межой.
В тишине над нами крылья,
Не тревожат бедный прах.
Здесь нас Родина укрыла
Рожью в синих васильках.

3

Над могилой день общей памяти светел,
Замирают сердца, видя Вечный Огонь.
И зовёт нас военного времени пепел,
Оттирает слезу ветерана ладонь.
Оживают мгновения давней атаки,
Когда вёл самолёт или танк на врага.
Защитил он в бою от нашествия мрака
Дом, где тихо течёт под угором река.
Как бы годы не жгли, над Землёй не летели,
Нам судьба всех погибших набатом весной.
В пепел сердца стучат метронома капли,
Звуки скорби плывут над затихшей страной!



Рассказы о художниках

Почерк Богом отмеченной творческой руки

На русском Севере в Ферапонтовом монастыре собор Рождества Богородицы расписал великий живописец Древней Руси Дионисий с сыновьями.

Огромная ценность, духовно пообщаться с которой стремятся паломники со всего света, и в гениальном творении художника, и в том, что каким-то чудом эта единственная роспись XV века не тронута ни временем, ни людьми, ни реставрацией, ни подновлением.

Дионисий прибыл в Ферапонтово для выполнения столь ответственной росписи, уже опытным и известным живописцем. Тема «Рождество Богородицы» была для него не новой. Вместе с мастером Митрофаном он расписывал церковь Рождества Богородицы в Пафнутаево-Боровском монастыре. И уже тогда о них было сказано, что они «пресловущие... паче всех в этом деле», а работы Дионисия «вельми чудны».

И всё же!

Роспись собора требовала особой подготовки. Особого творческого настроя.

Каждая новая работа, хотя бы и одной тематики, требует нового решения. И оно было найдено у подножья холма, на берегу озера.

Стройный, белоснежный монастырь под высоким голубым небом торжественно возвышается над небольшим Бородаевским озером, берега которого и поныне покрыты разноцветными камешками.

Созерцая природу Севера, художник не мог не вдохновиться этим божественным творением. Подражая Творцу, устремляясь духом к Небесной Истине, он оставил на века благолепие святого храма.

Цикл росписей собора посвящён прославлению праздника Рождества Богородицы, по христианским представлениям «возвестившего радость вселенной». Вот эта «радость вселенной» и должна быть разлита по всем стенам и куполам, чтобы всяк входящий сразу попадал в этот радостный и праздничный мир. Все купола и стены собора залиты необыкновенно нежным голубым цветом, словно взятым с небес или в тихом озере, отражающем небо.

А на фоне всей этой бездонной благодати – светлые, радостные, праздничные сцены из жизни Марии. Дионисий перенёс всю гамму озёрной голубизны в храм. Цветные камни с озёрных берегов собирались, перетирались в порошок и естественным цветом ложились

Кира ГАВРИЛОВА



Кира Тимофеевна Гаврилова – член Московского Союза художников. Участница многих выставок, в том числе в музеях Москвы, Куйбышева, Саратова, Казани. Автор произведений монументально-декоративного искусства (мозаика, фреска, витраж) для общественных зданий в городах России. Занимается станковой живописью и графикой. Автор сборника эссе о художниках «Единственные». Член Литературного объединения при Центральном Доме учёных РАН.

Живёт в Москве.



на стены. Мягкий, поразительно богатый оттенками колорит – зелёных, розовых, золотистых на нежно голубом фоне восхищает нас своей чистотой и праздничностью. Светлые краски усиливают торжественность, приподнятость настроения, передают светлую радость. Это почерк Богом отмеченной творческой руки.

Фрески: «Рождество Богородицы», сцены из детства Марии, «Знамение», «Покров», «Благовещение» – это радостный гимн во славу Марии.

Художник сурового стиля

В метро я часто делаю переход на станции «Крестьянская застава». Выйдя из вагона поезда на платформу, иду по залу, вспоминая, приветствуя художника Николая Ивановича Андропова.

Зал строгий, даже аскетичный и скорбный. Скупые изобразительные элементы-символы на колоннах: неподобранный осиротелый колосок на распаханной в треугольники и квадраты земле, оброненный кем-то серп, луна.

Луна – то месяцем, то полная. И, идя от колонны к колонне, начинаешь ощущать движение времени. Время идёт, и земля, с осиротелым колоском на ней, тоже в этом вечном движении. Это последняя работа художника.

Но почему луна? И уже садясь в вагон на «Пролетарской», я вспоминаю его персональную выставку в Академии художеств на Пречистенке.

Многие его работы – «Луна над озером», «Осенний вечер с лошадьми», «Вечер у нас на озере», «Весенняя ночь», «Рябина у озера», «Лодки» написаны у Бородаевского озера в Ферапонтово, на Русском Севере. И все они передают вечернее состояние.

Когда садится солнце, а луна ещё слаба, всё вокруг приобретает удивительно обобщённый колорит. Всё в вечернем голубом мареве, очертания смягчены, и всё подёрнуто мягким серебром лунного света. Небо как бы укрывает землю своей синевой.

Я представила, как Николай Андронов, стоя на берегу озера, ждёт выхода луны.

Она, как главная героиня сиюминутного акта, медленно выплывает из-за туч-кулис, заливая всё своим мистическим зеленовато-серебристым светом, падает отражением в озеро, бежит дорожкой к берегу, бросает загадочные силуэты теней, серебрист верхушки сосен.

В состоянии ли художник найти метод, найти способ, чтобы передать всё это?

Андронов писал работу за работой. Его мастерской стал берег озера. Природа ежеминутно меняет настроение, одна цветовая панорама сменяет другую, демонстрируя невиданные по красоте картины Русского Севера.

А передать нужно так, чтобы звучало: «Высоко, стройно, небесно, союзом любви связуемо». Всё это присутствует здесь, в этой скупой и торжественной красоте.

Завершая своё очередное полотно лунного озера, Андронов выстроил его только по своим, личным творческим законам, в только ему присущем колорите.

В искусстве остаётся лишь тот, кто нашёл себя, шёл своей дорогой, и это своё было новым, неповторимым, мощным. История не оставляет имён подражателей, продолжателей. Именами многих ярких личностей названы целые течения, школы, направления в искусстве. Время оставляет первых, которые силою своего таланта могут противопоставить своё всем течениям.

Уже в начале творческого пути Николай Андронов твёрдо уверовал в эту неотвратимую истину – в искусстве нужно говорить только своё, искать свои пути.

Это огромная, мучительная работа души. В ней, как в храме, столько совершено молитв, столько исповедей и покаяний. Сколько нужно пережить, перебороть в себе и вне себя, чтобы полотно «Луна над озером» стало гимном художнику и Вечности.

Когда перед тобой всё отчётливо видно, в руках кисти – сиди перед холстом и пиши! Но в том-то и дело, что в искусстве есть художники-созерцатели, спокойно наблюдающие и передающие виденное, а есть изобретатели, которые на полотнах создают свой личный, новый мир. Они дарят этот свой мир нам. Духовный мир, созданный художником, начинает жить в нашем реальном мире и питать нас своей духовностью.

Николай Андронов – изобретатель, у него свой метод живописи, свой колорит, своя философия искусства, свои найденные пластические приёмы, за которые он официально, в истории искусства, назван художником сурового стиля.

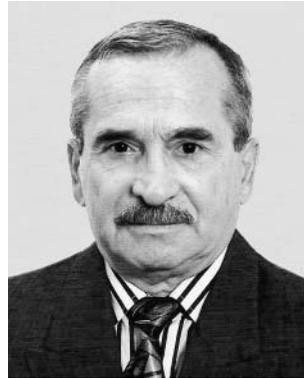


ПОЭЗИЯ

Пётр ГУЛДЕДАВА

Пётр Георгиевич – Гулдедава, член Союза писателей России, член литературного Клуба «Московский Парнас», автор четырёх сборников стихотворений: «Вечные темы», «Дым и пепел», «Песни старого шарманщика», «Горчит миндаль воспоминаний».

Живёт в Москве.



Строку к строке, зерно к зерну...

* * *

Не верь, что я в осенней стуже
Ещё «порхаю по верхам»,
Не слушай кумушек-подружек
И не ревнуй меня к стихам.

Иной язык острее лезвия
По сердцу может полоснуть:
Мне не любовница поэзия,
Она мне мать, и в этом суть.

Осень

По лужам на дорогах – не пройдёшь.
Лес нарядился, словно для парада.
Но моросью навис настырный дождь
Над мокрыми плащами листопада.

Отчётливо причины не видны,
Быть может, это просто дождь и слякоть.
Но в смутном осознании вины
Так муторно, что хочется заплакать.

Коньяк уже не лечит от тоски:
В нём истина мутней от дозы к дозе,
И прошлого печальные куски
Высвечивает память грустью прозы.

А ум и совесть начинают спор,
Уже не уживаясь, как когда-то:
Всё громче выступает «прокурор»,
Всё тише слабый голос «адвоката».



За старое перо своё берусь,
А прошлое бежит перед глазами.
И, с вымыслом не смешивая грусть,
Над горькой правдой обольюсь слезами!

Стихи

Голуби, голуби, голуби –
Лгали бы – не были голы бы –
Звёздами, искрами, блицами –
«Птицы» с любимыми лицами.
Дома, в лесу и на улице –
Сердце с душою рифмуются.
Я – оголёнными нервами
Слово нащупаю верное,
Преодолею препятствия,
И отразят эти странствия –
В стуже души моей проруби –
Голуби, голуби, голуби!

* * *

Мужчины! Мы с вами – веками,
Играя размахом десниц,
Швыряем жестокие камни
В доверчивых ласковых птиц.

Уходим, кто поздно, кто рано –
По срокам отпущенных дней,
Земле оставляя курганы
Разбросанных нами камней.

Всё чаще мне прошлое снится,
И я замираю во сне:
Любимая – стонущей птицей –
Взлетает из груды камней.

* * *

О мудрый август, месяц Льва,
Пора умеренного пыла!
Ещё кружится голова,
Хотя порядком поостыла.

Ещё стремишься по меже
Успеть за временем бегущим,
Но всё хорошее уже
Скорее в прошлом, чем в грядущем.

Земной кулик, дела верша,
Ещё поёт хвалу болоту,
Но, птицей-лебедем, душа
Уже готовится к отлёту.

Мне всё запомнилось, поскольку
Была за окнами война:
Разбил я банку, и осколки
Смешались с зёрнами пшена.

Во рту – ни маковой росинки,
И мама – кончиком пера –
Пшено при свете керосинки
Перебирала до утра.

С тех пор душой я обмираю,
Когда скупую жатву жну,
Слова пером перебирая –
Строку к строке, зерно к зерну.

Когда паду в бою неравном,
Мой череп с выжженным нутром
Друзья оправят серебром
И кубком сделают заздравным.

И кубок тот пойдёт по кругу
На щедром праздничном пиру.
И всё, что я вверял перу,
Войдёт в уста от друга к другу.

И в них по капельке вольётся
Моих стихов прощальный звон,
И всколыхнёт раздумья он,
И в душах эхом отзовётся.

Смывая прежнее веселье,
Когда совсем не ждут её,
Обрушит старость – шквалом селя –
Привычно ровное житьё.

И начинаем торопиться:
Скрипя суставами, спешим
В истоки истин углубиться
И птичек счастья сторожим.

У лукоморья скорбных знаний
Уткнулась в ил моя ладья –
Горчит миндаля воспоминаний
От терпкой соли бытия.



Песня реки

Отрывок из повести

– Ишь, как квакухи голосят! К дождю, – протянул старик с седой бородёнкой и длинным крючковатым носом.
– И комарьё озверело, – хлопнув себя по голой спине, пробурчал здоровенный, налысо бритый парень.

В котелке булькала уха, потрескивал костёр, и красные искры таяли мотыльками в ночи. Сутулый мужик, с перевязанной бабьим драным платком поясницей, принёс охапку сухих веток.

– Слышь, Миха, ты уху-то чамри! Хорош хлестать-то себя, – прокряхтел мужик, подбрасывая в костёр хворост.

Лысый недовольно хмыкнул, взял деревянную ложку и начал помешивать уху.

– Жрать будем сегодня или нет? – прорычал, поворачиваясь на другой бок, лежащий до этого спиной к костру старшой.

– Нонче Миха кухарит, потому скорого ужина не жди, – заулыбался старик.

– Да готово почти, – обиделся Миха.

– Почти, почти... – зло отозвался старшой, сел ближе к костру и начал помогать перевязанному с хворостом. – Вот как пошла с самого начала невезуха, так пятый день в пролове. Рыбы нет, мелочь да и только, ушла рыба... Говорил, раньше надо было выходить! – кипятился старшой, – Гаврилу скрючило, а от этого бугая, – старшой недовольно кивнул лохматой головой в сторону Михи, – проку никакого, убыток один!

Миха молчал, и лишь изредка глядя исподлобья, помешивал уху.

– Не причитай раньше времени, Андрей Григорич, – старик вынул из-за пазухи узелочек, и достав из него чёрный корешок, бросил корешок в котёл.

– По утренничку чуток ниже спустимся, и я вам место уловистое покажу. Должна там быть рыба.

– «Твои слова, да Богу б в уши». Хватит нам уж места на место передираться, – вздохнул перевязанный и глухо закашлял.

– Ты, Гаврила, траву-то мою пьёшь? – спросил перевязанного старик.

– Пью, – переводя дыхание, просипел Гаврила.

– Ить, работнички! – выругался старшой и вновь улёгся спиной к костру.

На реке раздался громкий всплеск.

– Во! А говорите, рыбы нет! Слышь, как колошматит?! – оживился Миха.

Наталья Владимировна Грунина – в 2007 году окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Служит в полиции. Во втором номере альманаха «Тверской бульвар, 25» была опубликована её повесть «Сучьи высылки», посвящённая судьбе женщин, в начале XX века сосланных за занятия проституцией на отдалённый остров в низовьях Волги.

Живёт в Астрахани.



– Дык, то не рыба, – загадочно улыбнулся старик.
 – А кто, русалка что ль? – весело засмеялся Миха. – Ух, мне б сейчас русалочку! – и он мечтательно зажмурил глаза.
 – Я вот Арине-то скажу! – погрозил пальцем Михе Гаврила. – Она у меня девка бойкая, оставшиеся-то волосёнки тебе повыдергат, – и, стараясь придать словам серьёзность, нахмурился.
 – Я-то чё? Энто вон дед! – смеялся Миха, и на поросших светлой щетиной щеках его проступили ямочки.
 – Ну, насчёт русалок не знаю, а что змий водяной тут водится – энто точно, – невозмутимо продолжал старик.
 – А большой змий-то? – подмигнул Гавриле Миха.
 – Четырёх аршин будет, – ответил старик, и, достав свою ложку, снял с ухи пробу.
 – Змейка что надо! – удивился Миха.
 – Нешто бывают такие? – недоверчиво посмотрел Гаврила.
 – Бывают. Только она не простая, а с волосами на голове, навроде чуба, – объяснял старик.
 – Энто как у меня, чтоль? – провёл рукой по лысой голове Миха и вновь засмеялся.
 – Смейся – не смейся, а только того змия люди видали. Он по воде плывёт, а голову высоко держит, и тело у него не вдоль а поперёк извивается, – снизив голос до шёпота, уточнил старик.
 В реке вновь что-то булькнуло. Миха вскочил на ноги и с азартом крикнул:
 – Дед, давай-ка энту змеюгу изловим, а шкуру я Арине привезу! Пушай визжит!
 – Гляди, как бы змий сам тебя не поймал. В прошлом годе Семёныч-белужник из Озёрного рассказывал, что видал, как змий быка уволок, – хитро прищурился старик.
 – Энто тот Семёныч, что поймал белугу в пять вёдер икры? – просипел Гаврила.
 – Не в пять, а в четыре, – не оборачиваясь, заметил старшой.
 – Брешет ваш Семёныч, – хмыкнул Миха.
 – Да я сам видал, как та белуга в сетях кутырялась! Сам её с Семёнычем тащил! – подскочил старшой, – Вот то была рыба! Вот то был лов! Не то что.... – старшой плюнул, и вновь отвернувшись, улёгся.
 – Ну, может, насчёт рыбы правда, а про быка, как пить дать – сбрежал! – настаивал Миха.
 На реке опять раздался громкий всплеск.
 – Эх! – глаза у Михи загорелись, он схватил здоровенную палку и опрометью кинулся к реке.
 – Миха, ты куда?! – окликнул Гаврила.
 – Нечё! Как змий – не знаю, а комарьё его точно сожрёт, – буркнул старшой, потом повернулся на спину, и, заложив руку за рыжую голову, грустно разглядывая звёзды, спросил:
 – Одного не пойму, чё ты, Гаврила, Арину за эндакого дурня отдаёшь?
 – Дык, она за другого не пойдёт, сам знашь, – виновато улыбнулся Гаврила.
 – Не пойдёт! – рассердился старшой. – А ты на что?! Девка слушаться должна, особливо отца!
 Гаврила махнул рукой и закашлялся.
 – Пойду за Михой схожу, ушица уж готова, – хлебнув из ложки, довольно крикнул старик.
 – Сиди, сам схожу! – встал старшой и затянул потуже широкий кожаный пояс.
 – Ты слышь, Андрей Григорич, фонарь с лодки возьми, да Клим с Антошкой позови ужинать, – кивнул старик.
 Старшой молча исчез в ночной темноте.
 – Слушаться должна... – размышлял вслух Гаврила и, морщась, потирал поясницу. – Дык она с малолетства настырная. Вся в мать, упокой Господь её душеньку. Всё по-своему сделает, и ничем ты её не своротишь.
 – А энто, видать, в них прародительницы говорят, – поучительным тоном заметил старик, поглаживая редкую бороду. – Ты думаешь, чего наши астраханские бабы

таки самовольные? А я тебе скажу. В древнее время на наших землях племя жило. Кочевали, навроде калмык или татар. Скот у них свой был, ну и разбойничали, не без того. Только племя энто было сплошь из баб-богатырш. Амазонтки назывались. Иной раз соберутся энти амазонтки, сабельки наточат, стрелы заострят, и идут соседские племена воевать. Мужиков они оченно не любили, как кого заловят, так враз и порешат.
 – Видно, обида у них на нас большая была, – понимающе развёл руками Гаврила. – Только как же они совсем-то без мужиков? Бабе без мужика нельзя. Бабе ребятишки нужны, и опять же по хозяйству что...
 – По хозяйству они сами справлялись, а насчёт ребятишек у них уговор был, что ежели бабе приспичит, то может она для энтого дела пленника какого позвать, но чтоб наутро обязательно его... – старик провёл ребром ладони по шее.
 – Вот, заразы! – покачал головой Гаврила и зашелся тяжёлым кашлем.
 – Оченно они волю ценили, непошто не хотели как нормальные бабы жить. Да только бабы, они и есть бабы, хоть и богатырши! Как бы сабельками не махали, а только у мужика силы поболе. Вот и разбили их племя бабское. Добро отобрали, а самих амазонток замуж поотдавали. Только сколько лет прошло, а нет-нет проснётся в наших астраханских бабах спесь их амазонтская, начинают они супротивничать навроде Арины твоей...
 – Что, дед, опять про амазонток своих брешешь? – выходя из высоких зарослей травы, насмешливо спросил худощавый усатый парень в суконной шапке, следом за ним шёл второй. Оба сели у костра и принялись греть руки.
 – Что, продрогли, брательнички? – не обращая внимания на насмешку, спросил старик. – Вот Андрей Григорич с Михой подойдут и трапезничать будем.
 Через несколько минут старшой вернулся, держа в руках ржавый фонарь.
 – А где Миха-то? – спросил усатый Клим, а похожий на него как две капли воды Антошка добавил:
 – Жрать охота. Завтри пусть Миха лодку сторожит, а я кухарить буду. Поужинаем хоть по-людски.
 – Нет его нигде. Звал – не откликается. Ну и чёрт с ним. Как дурь выветрится, сам придёт, – подсев к костру, старшой прочитал молитву, и ватажники принялась за уху.
 – Братки! Вставайте, братки!
 Едва коснувшуюся солнцем тишину, нарушил отчаянный крик Гаврилы.
 Из шалаша выглянула сонная голова старика. От лодки на крик бежали Клим и Антошка. Старшой вышел из шалаша спокойно, но в руках он крепко сжимал старое ружьё.
 Забыв про боль в пояснице, задыхаясь и давясь кашлем, через мокрую от росы, высокую траву пробирался к погасшему костру Гаврила.
 – Братки! Миха там... Мёртвый...
 Ватажники бросились, куда указывал рукой Гаврила.
 Среди остролистных камышей, на илестом берегу, широко раскинув руки, лежал Миха. Зелёные глаза его были широко раскрыты, а на голой шее синела широкая полоса. Золотая стрекоза, сидя на стриженном виске, медленно шевелила тонкими крыльшками.
 – Как же, братки? Я по нужде пошёл, думал заодно и Миху поищу, а он тут... Что ж я Арине-то скажу?
 Нижняя губа Гаврилы дрожала, он не отрывал испуганных глаз от бледного лица Михи.
 – Что энто у него? – спросил Антошка, и, наклонившись над телом, приподнял Михину руку.
 Из крепко сжатого кулака торчал клок рыжих волос.
 – Выдрал всё-таки чуб змию, – вздохнул старик, и, отогнав стрекозу, прикрыл Михе лицо листом лопуха? – потом провёл рукой по толстой борозде на шее Михи и повернувшись к старшому спросил: – Андрей Григорич, а поясок-то твой где?
 – Вчерась потерял, – старшой, с вызывом глядя на старика, пригладил рыжую бороду.

– Ну да, ну да... – старик отвёл взгляд.

Где-то неподалёку ударили колокола. Старик вздрогнул.

– «Никола Угодник» идёт, – прислушиваясь к звону, определил он.

– Вовремя, – перекрестился Клим. – Отпоют покойничка, – и покосился на старшего, а потом на синюю полосу, перерезавшую шею Миши.

Вдруг большая рыба, подплыв к самой кромке воды, звонко хлопнула хвостом, и тут же, словно повинувшись сигналу, то здесь, то там зашумела и задрожала река под ударами сотен рыбьих тел. Чем громче гудели колокола, тем сильнее билась рыба, тем бешенее вздымалась вода, и выше вылетали из неё извивающиеся сазаны, лещи, судаки, тарашки и окуни.

– Антошка, Клим, сети тащите, живо! – восторженно кричал старшой. – Пошла, родимая! Гаврила, дед, что встали?! Лодку сюда!.. Уйдёт, душу вашу!..

– А Миша? Миша как же?... – забормотал Гаврила.

– Не куды он не денется, а рыба, рыба уйти может... Чё жрать будешь? – кричал старшой, перепрыгивая через прибрежные коряги. – Глянь, мужики, рыбы-то сколько?! Страсть! Вот неведадь, как в бочке!

И он довольно хохотал, подгонял артельников и снова смеялся.

Удивлённые ватажники побежали к ялику. На берегу осталось лишь мёртвое тело Миши.

Мимо, звеня колоколами, по кипящей от рыбы воде, проплывала церковь, а рядом, за высокими камышами раздавалось торжествующее:

– Тащи, Гаврила! Тащи её! Раз, раз, раз...



ПОЭЗИЯ

Анатолий ПЯТОВ

Анатолий Иванович Пятков – член Союза писателей России. Член-корреспондент Академии поэзии. Кавалер ордена «В.В. Маяковский» и литературно-общественной премии «Светить всегда», Золотой Есенинской медали. Лауреат премии «Золотое перо Московии», премии имени А.П.Чехова и других литературных наград. Автор шести сборников стихотворений. В журнале представлены стихотворения из сборника «Розовый снег».

Живёт в Москве.



Вечные огни...

Ветеран Советского Союза

Мы никогда не виделись с тобой.
Судьба нам не дарила этой встречи.
Ты – ветеран Великой Мировой,
А я – лишь отголосок этой сечи.

Ты так похож на моего отца,
Который этой даты не дождался.
Он верил в этот праздник до конца,
Да навсегда у Бога «задержался».

Догнал он раньше срока журавлей,
Что над Россией-матушкой летают.
Они по зову памяти своей
Отставших в свою стаю собирают.

И нас всех соберут под их крыло.
Нам эта память вовсе не обуза.
Нам всем, конечно, очень повезло:
Мы – граждане Советского Союза.

И пусть кричат на разные лады,
Что жизни той обидней не бывало.
Но кто всех спас в те годы от беды,
Что за страна на их защиту встала?

Никто не позабудет подвиг твой.
Он ярче политического груза,
Что как заклятье реет над страной.
Ты – ветеран Советского Союза!

Вечные огни

Разговорить о прошлой жизни
 Не просто наших стариков,
 Но коль удастся – правда брызнет
 На всё и всех без дураков.

И нет тех слов страшней и краше,
 И тем желаннее они.
 Им, старикам, и чёрт не страшен.
 Слова – как вечные огни.

Однажды, пригласив к обеду,
 Я маму робко расспросил:
 А что ей дали за Победу,
 За труд, что отнял столько сил?

Не всё, сказала, гладко вышло.
 Судьба для жизни – приговор.
 Ждала медаль, а дали «дышло».
 С ним и живу вот до сих пор.

Была вдовой, мать – одиночка.
 Муж без вести пропал в войну.
 И без отца выросла дочка.
 Как только живы? Не пойму...

Но всё ж своё брала природа.
 Нашла себе я муженька.
 Он из крестьянского народа.
 Стал инвалидом на века.

Война его не пощадила.
 Калека, только и сказать.
 Но с ним я вас и народила.
 Всего детишек стало пять.

И с этой радостью я стала
 Замужней, а не той вдовой,
 Что руки до крови кусала.
 Гражданкой стала рядовой.

Как будто не было ни горя,
 С которым до сих пор в ладу,
 Ни слёз, ни голода... Что спорить
 И накликасть себе беду.

Жива ещё, и – слава Богу!
 Несправедливость, как удел,
 Мне подарили на дорогу
 К истокам всех победных дел.

За все военные невзгоды
 Прислали «тыщу». Верь не верь.
 Такая вот цена свободы... –
 Вся сжалась и ушла за дверь!

Снега забвения

На горе – Нагорье, за горой – Загорье.
 Между ними детства милая пора.
 А воспоминанья – для души подспорье,
 В час, когда метели кружат у окна.

Не узнать, пожалуй, мне друзей по школе.
 Все теперь мы стали на одно лицо.
 Заросло травой и льняное поле.
 И в саду тропинка на моё крыльцо.

От моей деревни три двора осталось,
 Да и те прогнулись в сторону земли.
 Не скажу, что жизнь мне грустная досталась,
 Но снега забвенья рано замели.

Полностью укрыли те снега сторонку:
 Чильчаги, Лытково, раньше Тархов Холм.
 Всех они сравняли под одну гребёнку.
 Всё пустили с горя с молотка на слом.

Сыплет снег на голову седую

Сыплет снег на голову седую,
 Да куда же мне ещё сесть.
 Испытал и радость, и беду я,
 Не пришлось лишь с «Богом посидеть».

Тучи заволакивали небо.
 Сутками лилась с небес вода.
 Где я только в этой жизни не был,
 Лишь у Бога не был никогда.

Я к нему стремлюсь на эту встречу,
 Зная, что назад дороги нет,
 Но не он ли ласково за плечи
 Не пускает в ангельский рассвет?

Россиюшка моя

Дождик к озеру уносит.
 Встал под крышу. Подождал.
 Оглянулся. Следом осень.
 Вот кого не ожидал!

Шапка рыжая над лесом,
Что лисица на снегу.
Пригляделся с интересом –
Оторваться не могу.

Клён, что был меня красивой,
Стал во много раз старей.
Осень, осень над Россией,
Над Россиюшкой моей.

Родина

Я люблю тебя, милая Родина –
Куст черёмухи, клён под окном.
В сенокос разлившая смородина
И малина с парным молоком.

А зимой колокольчика пение,
Вторя скрипу полозьев саней,
Пробуждает в душе вдохновение
И заботу к сторонке своей.

Кто бы что ни придумывал заново
Для смирения русской души,
Всё напрасно, и вольное зарево
Всю неправедность дней сокрушит.

Ветра последних разлук

Когда закружат меня
Ветра последних разлук,
Когда по мне зазвенят
Все колокольни вокруг,

Я покорюсь тем ветрам,
Скажу спасибо судьбе
И счастье людям отдам,
А зло оставлю себе.

Оставлю, чтоб навсегда
Избавить землю от бед,
И до страстного суда,
Я дам о счастье ответ.



ПАМЯТЬ

Татьяна ВАВИЛОВА

Пианино

В моём далеком пионерском детстве я мечтала о великих подвигах и, не чувствуя в себе никаких к этому способностей, очень хотела найти героев хотя бы среди своих родственников.

Увы! Мои родители не смогли вспомнить ни одного революционера или партизана, не было даже бедняков крестьян или просто верных делу коммунистов. Даже моя тётя, вернувшаяся с войны, была там всего-то врачом полевого госпиталя, а не разведчиком в тылу врага. А бабушка Оша, мамина мама, так отличалась от настоящих бабушек моих подружек, что даже у них вызвала подозрение в правильности своего происхождения.

Родилась она в городе, который я не могла найти на карте, – в Новом Маргелане. В этом чудесном городе, вспоминала бабушка, не было ташкентской жары и пыли, на улицах росли фруктовые деревья, между ними журчала по арыкам прозрачная студёная вода из горного сая*. А дом, где она жила с родителями и многочисленными сёстрами и братьями, окружал густой тенистый сад. Невзирая на солидный возраст, всегда красиво причёсанная, стройная, подтянутая, бабушка Оша не признавала платков, вязаных кофт, шлёпанцев и капотов. Она вставала рано утром, обтиралась холодной водой, называя это институтской привычкой, и только потом разжигала щепками маленькую железную печку и ставила чайник.

Иногда бабушка вынимала картонную коробку из-под обуви и доставала из неё старинные фотографии. Военные на них были, но не те, которых мне тогда хотелось увидеть. Все они, говорила бабушка, умерли задолго до революции, а потому героями быть не могли.

Но прекрасные дамы с талиями-рюмочками и нежные девушки в длинных пышных платьях, с высокими причёсками и цветочными корзинками в руках не могли не волновать моё воображение. Девочке нищих послевоенных лет они казались сказочными принцессами, а для бабушки были любимыми лицами давно потерянных родных.

Каждая фотография вызывала у неё целую череду воспоминаний. Загадочные принцессы оказывались подругами или сёстрами бабушки, а дама в закрытом шёлковом платье и в бриллиантовых серьгах – их матерью.

Теряя ощущение реальности, я подолгу слушала о мазурках и менуэтах на балах-маскарадах в



Татьяна Александровна Вавилова – родилась 22 февраля 1944 года в Ташкенте. Врач-фтизиатр, кандидат медицинских наук. После окончания Ташкентского Государственного медицинского института работала в сельском противотуберкулёзном диспансере в Сырдарьинской области Узбекистана. Вернувшись в Ташкент, прошла по конкурсу на должность ассистента кафедры туберкулёза во вновь образованный в 1972 году Среднеазиатский педиатрический институт, где преподавала около 30 лет. Автор очерков и эссе об истории Туркестана и заселения его выходцами из России и других стран.

Живёт в Ташкенте.



* Сай - горный ручей или небольшая речка. (уз.)

Николаевском институте благородных девиц. В учебном заведении с таким странным и непонятным для меня названием бабушка провела восемь лет. Находилось оно в Оренбурге, вдали от Нового Маргелана. Сначала нужно было ехать на тарантасе через горный перевал, потом несколько недель по степи до Каспийского моря, останавливаясь на ночлег в киргизской юрте. В Красноводске пересаживались на пароход и только на другом берегу Каспия достигали железной дороги.

Правда, ближе к выпуску через степь провели железную дорогу, и время пути значительно сократилось. И всё равно детей привозили домой лишь на летние каникулы. Долгая разлука с родными переносилась очень тяжело, но в Новом Маргелане в ту пору дать приличное образование было негде.

Вместе с бабушкой в институте учились знакомые мне её приятельницы. Так бабушка Оша называла пожилых дам, живших, подобно ей, в тесных маленьких комнатках ташкентских одноэтажных особняков, превращённых после революции в жактовские коммуналки. На фотографиях я с трудом узнавала среди юных благородных девиц этих чистеньких учительниц-пенсионерок в тёмных скромных платьях с белыми кружевными воротничками и с такими же белоснежными волосами.

После революции кто только не высмеивал институток: комсомольские и партийные деятели, советские писатели и журналисты... Их старались представить «кисейными» барышнями, глупыми и легкомысленными. Но женское образование в России, начатое Екатериной II в 1764 году, вполне соответствовало поставленным целям. Императрица хотела, чтобы дворянки и девушки из среднего сословия получили европейское образование, могли бы стать интересными, духовно богатыми собеседницами и воспитательницами своих детей.

Кроме общеобразовательных предметов, девочкам преподавали рисование, музыку, танцы, два или три иностранных языка, учили изысканным манерам. Много времени уделяли воспитанию добродетели и, как ни странно, физической закалке и умению переносить невзгоды и лишения.

Большую часть воспитанниц женских институтов составляли дочери военных. Военская служба была обязанностью дворянского сословия. Девочек готовили в офицерские жёны, и очень немногие из них становились светскими львицами. Основная часть отправлялась за молодыми прапорщиками и поручиками в отдалённые окраины громадной страны, в маленькие крепости в киргизских степях или кавказских горах. Вместе с мужьями они «обустраивали» новые российские земли, разделяя трудности и опасности воинской службы. Я думаю, именно сила духа помогла бывшим институткам, оставшимся и без отцов, и без мужей, выжить в революцию и в гражданскую войну.

Когда возникла необходимость в школьных учителях, новая власть объявила, что дипломы об окончании гимназий и женских институтов дают право работать педагогами. И они пошли, и учили нас всему, что знали сами, но манерами и убеждениями так отличались от основной массы, что чувствовали неуверенность и неприкаянность, вызывая и во мне ощущение непонятной неловкости.

Но к концу 1950-х годов потеплело, пролетарское презрение к «интеллигентам» постепенно преодолевалось, взгляды на вещи стали меняться. Родители вдруг вспомнили, что хорошо бы учить детей музыке и языкам, причём просто «для себя». Мама уговорила отца, и настал день, когда пошли покупать инструмент. На Алайском базаре папа нанял носильщиков в ватных полосатых халатах, и потом мы отправились на не существующую теперь Самаркандскую улицу. Пианино продавала старая дама, по-видимому, тоже из «бывших». Вид у фортепиано был весьма потрёпанный, но хозяйка клялась, что инструмент прекрасный, стоит недорого и называется «WALDEMAR». Скромная зарплата инженера никогда не позволила бы моему отцу купить новое пианино «Октябрь», поэтому он решил. Носильщики сложили свои халаты и привязали их на спины. Одни, согнувшись, выстроились в ряд, другие водрузили на них тяжелейшую ношу, и все побежали рысцой впереди нас, на ходу меняя друг друга.

Мы жили неблизко, в узбекской махалле у ворот обсерватории, носильщикам пришлось нелегко, но моё пианино было доставлено в сохранности и поставлено вдоль стены у окна. И вот тогда сомнение шевельнулось в душе моего родителя, хорош ли

инструмент, стоило ли тащить его через весь город и платить деньги. Проверить было некому, в семье никто не играл. Но мама сказала: «Беги за бабушкой!».

Я хорошо помню, как она вошла в прохладу нашей глиняной кибитки, робко, чуть бочком подошла к пианино, присела на краешек стула, осторожно подняла крышку и со страхом посмотрела на застуженные в нетопленных квартирах пальцы.

С тех пор, как бабушкин любимый «Беккер» остался в экспропрированном в революцию самаркандском доме, прошло 40 лет. В эти кошмарные годы лишений и катастроф, расстрелов близких, ужаса перед лагерями и войной ничто не располагало к игре на фортепиано.

Выпрямив спину, бабушка подняла руки над клавишами и словно оцепенела на минуту, а потом наша кибитка наполнилась дивными звуками живой музыки. Полонезы, вальсы, романсы и что-то ещё совсем незнакомое. Иногда бабушка сбивалась, но играла с таким упоением, что мы были околдованы.

Конечно, я и раньше слышала классическую музыку, причём в профессиональном исполнении. Телевизоры в наших домах ещё не появились, но радиоприемники и патефоны были. Но тут музыка рождалась в нашей убогой комнате, лилась из-под пальцев моей бабушки Оши, и неловкость, слегка примешанная к моей любви, вытеснялась гордостью за неё. А у моего отца улетучились все сомнения относительно пригодности инструмента.

Бабушка жила рядом, и после смерти деда каждый день приходила к нам на обед. Отобедав, она устраивала настоящие концерты, вспоминая всё новые вещи. Бывало, что музыка привлекала наших соседей, приходили мои одноклассницы, и число слушателей увеличивалось.

Учительницу музыки для меня тоже рекомендовала бабушка, поискав среди бывших оренбургских институток. Уроки стала давать Ольга Николаевна Малиновская, чудом сохранившая огромный чёрный рояль и пособия для игры на фортепиано. После урока она не могла удержаться от воспоминаний и часто ахала, вздыхая, каким красивым был мой дед, Шура Шутихин, в кадетские годы и как прекрасно танцевал с бабушкой мазурку на рождественском балу.

Ольга Николаевна ввела в наш дом удивительного человека, оставившего о себе добрую память, – чешского музыканта Бронислава Когоушека. Как судьба занесла его в Ташкент, я так и не знаю. На Родине Бронислав Когоушек работал в симфоническом оркестре. Он тосковал по своим друзьям, по оркестру, страстно желал вернуться в Чехословакию, но по каким-то причинам ему не удавалось оформить документы на выезд.

Когда мы познакомились, Когоушек был очень стар, и его единственной отградой оставалось сочинение музыки, но инструмента у него не было. Бронислав Когоушек жил с семьёй внучки, журналистки, в тесной квартире. Шум и суета мешали писать музыку, а маленькая правнучка, только начинающая ходить, находила ноты с сочинениями и с удовольствием рвала их. Поэтому Когоушек любил ходить в гости к людям, имеющим инструмент, и все свои ноты брал с собой.

Что за колоритная личность был музыкант Бронислав Когоушек! Высокий, грузный, с голубыми глазами и до плеч седыми волосами, в свободной блузе-толстовке, он говорил с большим акцентом, медленно подбирая русские слова. После яркого солнечного света Когоушек плохо ориентировался в нашей тёмной квартире. Между передней и комнатой у нас был высокий порог, и мы с мамой старались вовремя поймать гостя, если он забывал об этом.

Усаживались пить чай с вареньем и ждали бабушку. Когда Когоушек пришёл впервые и узнал, что бабушка в юности всерьёз занималась музыкой, он попросил её что-нибудь исполнить. После долгих уговоров бабушка согласилась, а потом сел за пианино и он сам, стали играть в четыре руки.

С тех пор Когоушек приходил чаще, чтобы играть вместе с бабушкой. Весной, когда зацветали сирень, ирисы и бульденежи, Когоушек предварительно заходил к Ольге Николаевне Малиновской и появлялся с огромным благоухающим букетом. Моя учительница музыки разводила цветы и раздавала букеты всем желающим.

Если бабушка встречала у нас Когоушека, обед откладывался, они с нетерпением усаживались за инструмент то вместе, то по очереди. Музыкант приносил ноты,

и бабушка играла с листа, почти не репетируя. Какие чудесные были дни! Звучала музыка Шопена, Огинского, Штрауса, Чайковского, Рахманинова. Стариков, доживающих свой полный трагическими событиями век, музыка уносила от всех бед и несчастий в прекрасный мир несбывшихся надежд.

Их настроение передавалось нам с мамой, и это время навсегда мне запомнилось как самое удивительное в моей жизни. Я перестала мечтать о ратных подвигах, и уж не подпольщицы и партизанки служили мне примером, я хотела играть, как бабушка, и очень гордилась ею. Но на мне природа решила передохнуть. Напрасно я подолгу просиживала над гаммами и сольфеджио и даже разучила романс Полины из «Пиковой дамы». Мои пальцы не могли извлечь из пианино тех волшебных звуков, которые я слышала, когда играли бабушка и Бронислав Когоушек.

Так продолжалось года два, пока не наступило 14 февраля 1958 года. В этот день бабушки не стало. Мы не знали адреса Бронислава Когоушека и не могли сообщить ему дату похорон. Оказалось, он заболел и поэтому не приходил некоторое время, а когда появился и узнал, очень горевал, долго играя в память о бабушке печальные мелодии.

Бронислава Когоушека мы видели ещё всего только раз. Он пришёл неожиданно и торжественно вручил мне ноты с эпиграфом: «Бабушка ушла, откуда нет возврата...» На двойном листке из школьной нотной тетради было написано: «Andante cantabile», Б.Д. Когоушек. Он сочинил грустную, но светлую мелодию в память об Ольге Викторовне Мединской-Шутихиной, моей бабушке. А мне сказал: «Учись, чтобы потом сыграть для мамы».

Я не научилась играть по-настоящему, но старое пианино и реквием Когоушека остались напоминанием о бабушке, о чешском музыканте, Ольге Николаевне Малиновской, обо всех, кто открыл для меня красоту и величие духа. Благодаря им, я усвоила свой главный жизненный урок: есть ценности, которые остаются с нами навсегда. В отличие от материальных приобретений их нельзя экспроприировать, сжечь или просто украсть.



ПОЭЗИЯ

Александр ГАНИН



Александр Ганин (Александр Васильевич Гниненко) – автор поэтических сборников «Не забывай и не прощайся...» (2005), «Нескончаемое прощанье, нескончаемая любовь...» (2007), «Ожидание» (2010), текстов и музыки, исполнитель авторских песен (компакт-диск «Песни для друзей»). Член Российского Авторского Общества и Союза писателей России. Имеет общественные награды.

Живёт в Москве.



За Россию, за Русь, за русскую волю...

Дорогая моя сторонка,
Среднерусская полоса,
Синеглазая ты девчонка,
Золотая твоя коса.

Распустилась солнечным светом,
Заиграла морем цветов,
Ты зимою сурова, а летом –
Жаркий запах спелых хлебов.

Вновь я еду к тебе на свиданье,
В город детства, счастливых снов.
Ожиданье моё и прощанье –
Тихий русский город Тамбов.

Дорогая моя сторонка,
Среднерусская полоса...
Замечтавшийся в поле мальчонка,
В дали смотрят его глаза.

Он мечтает о счастье и воле.
Как найти их в привольных степях?
Ветер тёплый гуляет по полю,
Кружит голову запахом трав.

Дорогая моя сторонка,
Стало мало России такой.
Кареглазая ты девчонка
С среднерусскою красотой.

Вновь я еду к тебе на свиданье,
Открываю страницы я вновь.
Нескончаемое прощанье,
Нескончаемая любовь...

За синей кромкой леса,
За золотистым полем –
Там ждёт меня невеста
В таком краю привольном.

И на холме зелёном,
Да в тереме красивом
Живёт моя любимая,
Зовут её – Россия.

Шатёр над нею звёздный,
Над нею солнце светит,
И ночью филин грозный
За сон её в ответе.

А в день выходит стража –
Три витязя былинных,
И сгинут силы вражьи
Не будет слёз безвинных.

За леса кромкой синей,
За золотистым полем
Там ждёт меня Россия
В таком краю раздольном.

Ах, Россия, Россия – вновь ты дикое поле!
Над тобой разыгрались лихие ветра!
Где ты, русская сила, где ты русская воля?
Неужели заснула ты вновь на века?

Словно витязь былинный, стоишь на распутье.
Выбор твой невелик, но дорогу найдешь.
Если только сумеешь народ разогнуть ты,
Мудрость предков и силу ты их обретёшь.

За Россию, за Русь, и за русскую волю
Вот уж тысячу лет продолжаешь ты бой.
На границах твоих, у русского поля
Новых псов-крестоносцев слышится вой.

Ах, Россия, Россия – вновь ты дикое поле.
Над тобой разыгрались лихие ветра.
Только в этом суровом, широком приволье
Хватит места в земле для любого врага.



Александра Александровна Бирюкова – автор сборников стихотворений «Ручейк» (2009), «Ищу спасения» (2011). Член Союза писателей России.

Живёт в селе Троицкое Чеховского района Московской области.



Вновь по России пойдём босиком...

Здесь родились и поныне живём,
Любим тебя и нисколько не тужим.
Вместе печалимся, вместе поём,
Верой и правдою Родине служим.

Радость и горе у нас пополам,
Иней морозный – стоишь, как невеста.
Ты улыбаешься верным друзьям,
Чудо планеты, земная принцесса.

Ландышей запахи помним зимой,
Хмурится небо, снега и метели.
Но возвращается каждой весной
Музыка солнца и песня капели.

Всё хорошо и сейчас, и потом,
Берег чужой нам с тобою не нужен.
Вновь по России пойдём босиком,
Светлой тропой, по ласковым лужам.

Дождь ночной порою моросит,
Каплями по крышам покатился.
Пьёт земля довольная, молчит:
«Он опять в трёх соснах заблудился».

Маревом окутал и исчез.
Утром руки поднимаю к небу –
Поле улыбается и лес,
Радуются – быть грибам и хлебу.

Солнце появилось над холмом,
Светом всё вокруг расколдовало.
Луч идёт по травам босиком,
Будто и тумана не бывало.

*Взялся за гуж,
Не говори, что не дюж.*

Народная мудрость.

Земля уже давно лежит в бурьяне,
Просторы наши поросли травой.
Растерзанная, как на поле брани,
Святая Русь с поникшей головой.

Глядит на всё с мольбою и укором.
Привычки нет бездельничать и спать.
Житейским, мудрым следуя законам,
Растить свой хлеб пора бы начинать.

Шумят на крышах скромные берёзки.
Заводы, фермы даже не узнать.
Без окон и дверей, как от бомбёжки.
Откуда здесь хозяйничала рать?

Нельзя зависеть от чужого дяди.
Теперь на нас он смотрит свысока.
Россию поднимите, Бога ради!
Взялись за гуж – в ответе на века!

Разбросала яблоня белый цвет,
Разлетелся по ветру, счастья нет.
Не вернулся милый с войны домой,
И притих соловушка за рекой.

В небесах нахмурились облака,
Загрустила вместе со мной река,
И умчалась песня за другом вслед,
Потускнел над домом моим рассвет.

Остаётся память для нас с тобой
И любовь бессмертная, дорогой.
Посвети мне звёздочкой с высоты,
Догадаюсь сразу, что это ты.

Рву и мечу, молюсь и тоскую,
Ранней звездой в небе горю.
Значит, тебя безумно ревную,
Лебедем падаю вниз на зарю.

Крылья слегка опалю – и снова
Душу свою отпускаю в небеса.
Пусть там научат не так сурово
Жизни смотреть на Земле в глаза.





Дневник

Рассказ

Близился конец второй четверти, все носились с зачётами и оценками, как подстреленные рыси. В общем, работы было невпроворот, а тут вдруг приглашение на пятидесятилетие родной школы. Ну как Альбина могла отказать себе в удовольствии побыть в старых стенах, где она проучилась 10 лет и где потом, после вуза, начала работать учителем?!

На празднике гостей было видимо-невидимо. Среди почётных гостей Альбина увидела первого директора школы Аллу Моисеевну – сухонькую маленькую женщину лет восьмидесяти. Совершенно седые волосы были аккуратно уложены, нарядное чёрное платье с красной окантовкой и красными пуговицами подчёркивало её стройную фигуру, на ногах были туфли на маленьких изящных каблукках. Смотреть на такую женщину, оставшуюся женщиной даже в столь преклонном возрасте, было очень приятно. Но в голове у Альбины крутилась совсем другая мысль: «Как не побоялась Алла Моисеевна сюда прийти? Неужели после стольких лет совесть её уже не мучает?» Об этом думала не только она. Но и, наверное, все, кто знал, почему Алла Моисеевна была вынуждена уйти с поста директора после пятнадцати лет работы в этой школе.

А дело было так. Сашка Петров рос обычным парнишкой. В семь лет пошёл в школу. Учился с удовольствием. Особенно любил математику. Считал её самым интересным предметом на свете и очень красивой наукой. Задачки ему давались легко. Решал он их быстро и даже успевал на контрольных по два варианта делать. Помогал другим, если им что-то было непонятно, а после школы гонял в футбол с друзьями.

В их микрорайоне был чудный парк. Если родители разрешали, мальчишки играли не во дворе, а в этом парке. А девчонки из класса приходили поболеть за них. Сашка нравился многим – умный, начитанный, вежливый и физически развитый. Но он, в отличие от своих одноклассников, ещё ни разу не влюблялся.

Девочки, как известно, развиваются быстрее мальчишек. Но когда закончилось лето и девятиклассники пришли в школу, девочки ахнули. После школьных каникул перед ними стояли красавцы – высокие, мускулистые парни. Сашка тоже не был исключением. Он поздоровался с друзьями и вдруг увидел... её.



Юлия Геннадиевна Александрова – родилась в 1965 году в Москве в семье служащих. В 1987 году окончила МГПИ им. В.И. Ленина по специальности «учитель английского и немецкого языков». В 2000 году было присвоено звание учителя высшей категории. С 2001 года Юлия Александрова работает старшим преподавателем кафедры английского языка на факультете экономистов-международников Всероссийской академии внешней торговли. Автор четырёх сборников лирических стихотворений – «Имя моё...» (2006), «Сретенье» (2007), «Воздушный шар» (2009), «Жизнь – река» (2010) и двух сборников прозы – «Букет ландышей» (2009), «Окно в сад» (2011). Член Союза писателей России.

Живёт в Москве.



Казалось, она не шла, а летела. Высокая, стройная девушка с карими глазами и чёрными слегка вьющимися волосами. Она приблизилась к Сашкиной классной руководительнице, стоявшей с табличкой «9 А», та кивнула и подвела к своим подопечным со словами:

– Девочки! Это наша новая ученица. Её зовут Вёсна. Она из Югославии. Возьмите, пожалуйста, над ней шефство, а то она очень плохо говорит по-русски.

Весь день девчонки таскали её по школе, а Сашка ничего не видел, не слышал. Он смотрел на Вёсню и не понимал, что с ним происходит. Ему не хотелось ни с кем разговаривать. Когда после уроков его позвали играть в футбол, отказался, чем сильно удивил своих друзей. Дома пытался делать уроки, читать, решать задачи, смотреть телевизор, но всё было бесполезно. Он – человек сильной воли – не мог заставить себя работать. И тогда он взял тетрадку, поставил дату и начал писать о том, что произошло в этот день, о своих переживаниях.

Когда мама вошла в комнату, он быстро спрятал тетрадь. Мама видела, что с сыном что-то не так, но, будучи человеком тактичным, никогда не лезла к сыну в душу. Она знала, что он сам всё ей расскажет, когда захочет. Потому пожелала ему спокойной ночи и вышла. А он ещё долго не мог уснуть – перед глазами стояла она.

Утром он принял решение заговорить с Вёсной. Весь день собирался с духом и вот решился. После уроков стоял у школы и ждал её. Она вышла не одна, а в окружении девочек из класса, но Сашка знал, что им не по пути. За воротами школы они расстались. Девочки пошли направо, а Вёсна налево. Сашка догнал её и молча пошёл рядом. Вёсна не удивилась. Так они и шли до посольства, где она жила.

– Дальше нельзя! – сказала Вёсна, с трудом подбирая русские слова. Сашка кивнул, повернулся и пошёл прочь с твёрдым намерением завоевать сердце югославской красавицы.

Вечером он вновь раскрыл тетрадь-дневник, куда записал и своё стихотворение, посвящённое ей. Маленькое, но очень красивое. Это было стихотворение о любви, такой чистой и бескорыстной, которая может быть только в шестнадцать лет.

На следующий день, провожая Вёсню, Сашка прочитал его ей. Она поняла, о чём он написал, ибо при прощании робко пожала ему руку и ... убежала. По дороге домой Сашка всё время сжимал руку в кулак. Наверное, боялся, что ветер унесёт ощущение её ладони. Придя домой, даже руки мыть не стал. А вечером снова всё записал в своей заветной тетрадке, которая стала его лучшим другом и советником.

Дневник знал его тайну и не мог предать. Он также мог подсказать, как себя вести, ибо, перечитав страницы, многое начинаешь понимать сам.

Пролетела осень, а за ней и зима. Наступил апрель. На улице заметно потеплело. После школьных занятий Сашка и Вёсна, взявшись за руки, вместе бежали в парк и, укрывшись от чужих глаз, долго и страстно целовались. Казалось, они растворялись в этом дурманящем воздухе весны.

Вёсна уже неплохо говорила по-русски. Поэтому влюблённые часто ходили в кино, где обязательно сидели на последнем ряду, чтобы смотреть не на экран, а друг на друга. Они были так счастливы, и им казалось, что это счастье будет длиться вечно.

Сашка продолжал вести дневник. Он всегда носил заветную тетрадку с собой, чтобы никто, даже Вёсна, случайно не увидел его записей. Обычно он всё записывал вечером, но иногда чувства настолько переполняли, что Сашка мог раскрыть тетрадь в троллейбусе или на уроке, чтобы черкнуть пару строк.

Вот и в этот день шёл обычный урок литературы. Русский язык и литературу преподавала в их классе директор школы Алла Моисеевна. Она вызвала Вёсню к доске. В своём форменном коричневом платье и чёрном фартуке та была для Сашки воплощением Красоты и Изящества. Алла Моисеевна задала ей вопрос. Вёсна ответила не сразу. Собираясь с мыслями, провела рукой по волосам. У Сашки в голове вдруг родилась строчка. Он вытащил из сумки дневник и записал её, чтобы не забыть. И уже было собрался убрать дневник обратно в сумку, как увидел протянутую руку Аллы Моисеевны.

– Почему посторонние предметы на столе? – спросила она. – Немедленно отдай мне эту тетрадь!

Сашка понял, что сопротивляться бесполезно, и молча протянул ей тетрадку, думая, что в конце урока Алла Моисеевна прочитает ему нравоучение и отдаст его дневник. Но он жестоко ошибся. Алла Моисеевна велела Вёсне сесть, раскрыла дневник на первой попавшейся странице и начала читать вслух, комментируя прочитанное с точки зрения стилистических и орфографических ошибок.

Ребята заржали. Саше казалось, что земля уходит у него из-под ног. Он с трудом досидел до конца урока и со звонком не ушёл, а убежал из школы.

Когда мама вернулась домой с работы, Сашка был уже мёртв. Он повесился на антресолях.

А Аллу Моисеевну просто перевели в другую школу ...



ПОЭЗИЯ

Геннадий ЖАРОВ

Геннадий Петрович Жаров – родился 23 августа 1936 года в Москве. В 1959 году окончил авиационный институт МАТИ. Работал инженером на заводе «Союз». Продолжает работать по специальности в ООО «АвиаМотор». С 1962 года и по настоящее время занимается спортивным водным туризмом, мастер спорта, в 2011 году ему присвоено звание «Заслуженный путешественник России». Был руководителем Люберецкого клуба туристов, Председателем Федерации туризма Московской области. Автор поэтических сборников «Стихотворения» (2000), «Остров блаженства» (2010). Член Союза писателей России.

Живёт в Люберцах Московской области.



СВЯТОЙ КНЯЗЬ

Отрывок из исторической поэмы

От автора

Поэма состоит из трёх частей. В публикации приводятся отрывки из второй части поэмы – «Александр», связанной с Невской битвой. В первой части поэмы – «Тайный груз» отражены события, связанные с историей Византии и получением Новгородом «Гроба Господня». Третья часть поэмы – «Жизнь после жизни». Все события в поэме максимально приближены к историческим и относятся к периоду с 6712–6771 гг. от сотворения мира в Звёздном храме, что соответствует 1204–1263 годам от РХ.

Часть II. Александр

XXXIII

Потянулись все к оплоту православья.
Архиепископ здесь «Антоний» – Бога славил.
(Был Добрыня избран в сан вселюдно вечем,
Имя в летопись вписав своё навечно).
Только Рим богатством с Новгородом сравним,
Ну, а главное, что Гроб Господень им храним.
Своих нунциев* в град присылал неугомный Рим,
– Мол, принять Вас в свою веру Мы хотим. –
(Но ответ был новгородцев – Папе в пику.
Милость-то твоя велика, да не стоит лыка!)

* Нунции – послы Папы

... XXXVI

Время трудное. Всем вечем порешили –
Александра княжить в город пригласили,
Ярослава^{*} сына, в самый свой рассвет –
Ему было лишь шестнадцать лет.
А отец ушёл на повышение
Во Владимир, на Великое княженье.
– Князю надо властвовать и страх внушать,
А для этого, что надо? – Сильным стать! –
(Так учил князь старший – молодого
– Будь смелее, действуй – вот основа!)

... XXXIX

Через год княжения с Востока вести.
Хан Батый, жестокостью известный,
Русь порушил, сжёг и растерзал,
И на Новгород дороги торные искал.
Александр готовился к сраженью.
На Торжок послал он ополченье.
Тридцать дней осады. Отступили
В Селигерский путь. У Игнача-креста^{**} татар остановили.
(Повернул Батый к Козельску, на юга,
Не коснулась Новгорода «кровавая рука»).

... XLI

К Александру Папа нунциев послал,
Чтоб отдал святыню, веру поменял –
Думал – не смышлён ещё юнец,
И смирится с папской просьбой, наконец.
Но суровым Александра был отказ.
– Нет! Учения не примем мы от Вас! –
И тогда приказ последовал: Вперёд
Крестоносцы все на Новгород, в поход!

... XLIV

Донесла во град морская стража:
– Шведский флот уже в заливе нашем
И ползёт вверх по Неве змеёю,
Покоряя берега без бою.
А за ним ещё один гонец:
– Предводитель с войском встали, наконец,
В самом устье, на реке Ижоре,
Золотой шатёр поставив вскоре. –

* *Князь Ярослав* – Ярослав Всеволодович – отец Александра Невского.

** *Игнач-крест* – каменный знак на Селигерском пути.

... XLVII

Отслужил «заутреню» Архиепископ.
Из Софии вышел к гридням, воям, близким:
– Осенит Христос Вас на победу,
Не оставьте от врагов и следа! –
И команду слушая, дружина
Чётким строем двинулась – едина.
По основным плахам-мостовым
За дружинным стягом боевым.

... LIII

Заиграл восход цветами богородицкой порфиры.
Лагерь спал, и было благолепно в мире.
Князь припал к земле, к траве «шептухе»,
Взял он её корни в свои руки,
Запах их вдохнул в себя глубоко
И безмерной силой налился потоком.
– Всем подъём. Без шума на подходе,
Примем супостатов на мечи и копьё! –

LIV

И, не дожидаясь ополченья,
Александр повёл дружину на сближенье.
Был удар внезапен, скоротечен.
Враг, зажатый в угол междуречья,
В воду сброшен и посечен страшно
Яростью и мужеством дружиной нашей.
Александр с отрядом к Биргеру^{*} пробился,
Когда саввинным мечом шатёр его свалился.

LV

В поединке Ярл^{**} был княжеским копьём замечен
И печатью на лице отмечен.
Стал он весь бледней, чем береста,
Стон пощады трепетал в его устах...
Воин Сбыслав бился топором,
Умножая рыцарский металлолом.
Воевода Миша, с группой вдоль Невы пройдя,
Три порушил шведских корабля.

* *Биргер* – Биргер Магнуссен – военначальник, зять шведского короля.

** *Ярл* – предводитель (шведск.)

LVI

А Олексичем Гаврилой на коне
Был устроен местный бой на корабле,
Воеводы знатного глава слетела с плеч,
Пал и католический епископ, взявший меч.
Двадцать русичей-героев жизнь отдали,
Зато всех почти что шведы потеряли.
Самых знатных уложили в корабли
И пустили по Неве – прочь от своей земли..
(Как при встрече новгородцы ликовали!
А на вече Александра «Невским» и прозвали...)



Владимир Ефимович Пустовитовский – родился в Москве. Стихи начал писать уже в зрелом возрасте. Обошёл многие московские литературные объединения. Выпустил несколько сборников. Член Союза писателей России.

Живёт в Москве



Я у судьбы прошу немного ...

За окнами шаманит осень
Сквозь щель балконную двери.
Со свистом ветер ливни носит
И надувает пузыри.

Держу от ветра оборону,
Он в стену бьёт как в бубенец.
И я шарфом, длинней питона,
Обматываюсь в семь колец.

Петь в женском хоре: «Аллилуйя»
Ушла подруга в Божий храм.
Она весной поцелуем
Меня будила по утрам.

Из досок строю баррикады –
Жить сорок дней в плену дождя,
В часы всемирного разлада
Покой и твердь не находя.

Я у судьбы прошу немного –
Земли, где закопали мать.
Бреду в московскую берлогу
Согреться, раны зализать.

В глухую осень нету силы
Пуститься от судьбы в бега.
Стоят у брошенной могилы
Берёзы на кривых ногах.

Проснулась тишина от всплеска,
Вдаль не торопится река.
Уснул рыбак. К нему на леске
Привязан день и облака.

Любовь

В вечернем выморочном свете
Тоска деревьев, блеск сурьмы.
Стучали дождь и мокрый ветер
В решётки выцветшей тюрьмы.

За год припомнятся едва ли
Таких дней пять, а может, шесть.
Три ангела мне открывали
Засов, несли благую весть.

Они вели по коридорам,
По полю с утренней росой,
В страну, где полюбила вора
Девчонка с рыжею косой.



Лариса Ивановна Назаренко – родилась в Москве. Серьёзно увлеклась поэзией с 1995 года. Член поэтического клуба имени Н.К. Рериха при Литературном институте имени Горького, Творческого клуба «Московский Парнас», а также ЛИТО «Отрада», где ведёт общественную работу по наставничеству начинающих поэтов. Выпустила два сборника стихов: «Осень лет» и «Пока держу связующую нить...». Готовит к выпуску третью книгу стихов. Член Союза Писателей России.

Живёт в Москве.



У неба одолжить ещё немного света...

Мои корни

Давно сучок бревна седого
Подслеповато наблюдал
За жизнью дома векового
И с ним тихонько доживал,
Храня на памяти: рожденья,
Поминки, свадьбы, мордобой
И тут же, Богу в услуженье,
Углов кропление водой.
И столько было, столько было
На длинном, путаном веку,
Что болью зримою застыло
На завалившемся боку.
И мне, покуда утром ранним
Кричит хозяином петух
И, вперемешку с ленной бранью,
Хлыстом орудует пастух, –
Хранить и глаз бревна седого,
И деда в валенках в жару,
И память дома векового...
Покамест корня родового
Со смертью враз не оборву!

Под старость

Последний день зимы!
Ну, наконец, дождалась!
И почему весны
Так ждуг всегда под старость?
Так хочется дожить
До солнечного лета,

У неба одолжить
Ещё немного света,
Неяркой красоты...
Своим трудом, заботой
Выращивать цветы
Пусть до седьмого пота.
И внукам приносить
От пенсии подарки,
И вещи доносить,
Чтоб выбросить не жалко...
Под старость, что ни день,
То ценится сильнее.
А ночи, будто тень,
Длиннее и длиннее...



Русский Гомер

Памяти друга –
военного журналиста,
полковника
Михаила Кириллина,
родственника
Ю. К. Авдеева (1918–1987)



Милость Божия

«Мой путь был определён и цель ясна ещё в юности... Живопись, и только это, – единственно правильная дорога, которую я определил для себя».

Так писал в одном из писем наш герой, который мечтал о том, что станет профессиональным художником, его работы будут экспонироваться на выставках.

Родился он в 1918 году в Серпухове. Его отец был директором школы, мать работала в театре. В Серпухове окончил среднюю и художественную школы, а в Краснодаре – художественное училище. С 1940-го его картины демонстрировались на выставках в Москве.

И вот – война. Красноармеец-связист и артиллерийский разведчик в истребительном противотанковом, а затем минометном дивизионе, фронтовой художник...

В результате контузии почти потерял зрение. Похоже, что после столь тяжёлого ранения и мечтать уже ему, инвалиду первой группы, лишённому возможности на любую трудовую деятельность, не о чем.

Так случилось, увы, со многими. Но только не с ним.

Тихо Ангел пролетел. Господь оказался милосердным к нему, дав не только дело благое, нужное людям, но и другое зрение – духовное.

Чем дальше, тем больше понимаешь: именно в таком, казалось бы, совершенно безнадежном и беспомощном состоянии он совершил свой незаметный подвиг, главный «солдатский подвиг» – возродил подмосковную чеховскую усадьбу. Благодаря этому и стал широко известен, нашего героя полюбили многие.

Однако директор Государственного музея – заповедника А.П. Чехова Мелихово Юрий Константинович Авдеев, а речь именно о нём, не считал подвигом то дело, чему посвятил почти 40 лет жизни.

Сегодня, в нынешней России, этих качеств – скромности, самоотверженности, бескорыстия – так не хватает всем нам, идущим вслед за фронтовиками. Увы...

Николай Алексеевич Головкин – поэт, эссеист, публицист. Член Союза писателей России. Член Международного клуба православных литераторов «Омилия» (Украина). Родился 4 ноября 1954 года в Ашхабаде (Туркмения) в семье потомственных москвичей. Литературной деятельностью занимается с 1968 года. В 1977 году окончил факультет русской филологии Туркменского государственного университета имени А.М. Горького. Автор книг: «Поэтическое излучение» (стихи, 1994), «Свет в конце тоннеля» (стихи, эссе, рассказы, 1999), «Иван-чай. Диалоги о России» (публицистика, эссе, рассказы, 2005), «Февральская лазурь» (стихи, 2010), «Троицкий иконописец» (эссе, рассказы, 2010).

Живёт в Москве.



«Грозный вид имели наши мосфильмовские гаубицы...»

В октябре 1941-го он ушёл добровольцем на фронт. Попал в 3-ю Московскую коммунистическую стрелковую дивизию, защищавшую столицу.

Из воспоминаний Юрия Константиновича:

«1941 год. Октябрь. Ленинградское шоссе, деревня Химки. Самолёты забросали Москву листовками, в которых говорилось, что фашисты войдут в Москву 10 октября. Собирается народное ополчение. Кажется, что на сегодня это последние резервы. Из общего строя отделили группу, назвали её первой батареей, выдали обмундирование и привезли на окраину Москвы, к Речному вокзалу на канале. Обмундирование – с бору по сосенке. На мне – кавалерийский казакин, буденовка времён гражданской войны. В руках – канадская винтовка. Никакие мы не красноармейцы: не умеем ни ходить, ни стрелять и пушки видим первый раз в жизни. Впрочем, те пушки, которые дали нам на батарею, получены из реквизита Мосфильма. Возможно, что мы их видели в кино. Меня зачислили во взвод управления, в связисты, и я срочно осваивал систему полевого телефона.

При каждом удобном случае командир учит нас строевой подготовке. Никто из нас кадровую не служил. Все мы люди разного возраста, и простое дело – ходить строем – не клеится. Хорошо бы ходить с песней, а мы их тоже не знаем. Да не только мы. Не было до войны маршевых песен, разве только «По долинам и по взгорьям». Младший сержант Гриша Данилочкин, бывалый солдат, запекает странную песню, с которой, наверное, ещё при Суворове ходили:

– Вы, не вейтесь, чёрные кудри,
Над моею больной головой... –

Он запекает, а мы вторим:

– Вы, не вейтесь, чёрные кудри...

И после этой фразы непременно надо выкрикнуть:

– Дунька!

Это ни к чему, но зато весело. Только в одном куплете «Дунька» звучит по делу:

– Из друзей моих верных, наверно,
Уж никто не пойдёт провожать.
Только ты лишь моя дорогая – Дунька!
Слёзно будешь над гробом рыдать...

Запевал Гриша и ещё более старую песню:

Под зелёною ракитой
Солдат раненый лежал,
Он к груди своей пронзённой
Крест свой медный прижимал...

Осваивались мы быстро и недели через две походили на что-то дельное.

А по Ленинградскому шоссе с утра до ночи шли в Москву беженцы. Шли они с севера, от Калинина и Клина, уже занятых немцами. Везли на телегах детей и какой-то самый нужный скраб. Гнали скотину целыми стадами. Наш ездовой и повар, стоявший в самой деревне, загнал двух коров, неделю доил их и поил нас молоком.

Затем потянулись одинокие красноармейцы и небольшие группы отступающих из разных частей. На Стромьинке их собирали и вновь отправляли на передовую. Везли в Москву побитую и искалеченную технику, а из Москвы к фронту шли английские танки, полученные от союзников. Строились они для войны в Африке, в Сахаре, с вентиляцией от африканской жары, а попали на русские морозы. «БМ-7» – звали их танкисты, что означало «Братская могила на семь человек». В них было много оружия и совсем слабая броня.

Артиллерийскую канонаду стало слышно из Химок. Приближалась наша очередь, а мы ещё не умели стрелять.

– Не бойтесь, ребята! – учил нас Гриша Данилочкин. В винтовке частей не больше чем у бабы. Сейчас мы быстро разберёмся...

На стрельбах моя канадская винтовка стреляла точно, но стрелять я мог только в положении лежа. Правый глаз не видел мишени, из-за этого я был годен только к нестроевой службе, а с левого плеча рука была не в силах держать винтовку на прицеле. Одним словом – «ополченец»... Зато все марки полевых телефонов я освоил досконально и азбуку Морзе принимал на слух.

На линии нашей батареи копали глубокий противотанковый ров, рядом с нами тренировались огнёмётчики. Грозный вид имели наши мосфильмовские гаубицы. Эти укрепления казались мне непреодолимыми, и я в полной уверенности писал домой, что в Москву немцы не пройдут. В те дни, когда тянулись беженцы, а московские учреждения опустели и эвакуировались, наши ребята, артиллеристы, принесли в мою землянку кучу книг из брошенной библиотеки. Командир взвода приказал, чтобы я ни на минуту не отлучался от телефона и всё время держал трубку возле уха, принимая команды без зуммера. Привязывая трубку к уху, можно было читать книжки. Среди них был иллюстрированный учебник по гинекологии. Изучая по картинкам женские болезни, я со страхом смотрел на девчонок, копавших противотанковый ров. Иногда они забегали в землянку попить воды, и я боялся заговорить с ними, представляя чудовища из гинекологического учебника.

Однажды вечером в конце ноября нас собрали по тревоге и построили на Ленинградском шоссе весь дивизион. Первая батарея стояла первой, но командиры посоветовались и пропустили вперёд вторую батарею. Они ушли, а мы разошлись по своим землянкам. На другой день прибежал фельдшер из второй батареи и рассказал, что, не доехав до Солнечногорска, они наткнулись на немецкий десант. Наша пехота была далеко впереди, и появление десанта было неожиданным. Артиллеристы успели развернуться и дать несколько выстрелов. Они подбили три немецкие бронемашины и несколько десятков фашистов, но и сами все погибли. В живых остались только фельдшер и политрук. Я знал всех ребят, и добрые отношения связывали меня с колбатом, лейтенантом Вентскевичем. В своём альбоме я сделал за это время всего один рисунок – портрет этого лейтенанта. Теперь их никого не осталось. Так появились наши первые потери.

В декабре неожиданно мне дали отпуск на один день в Москву. Съездить к матери в Серпухов было невозможно, и я просто бродил по знакомым московским улицам. На Кузнецком мосту, совсем как в мирное время, была открыта художественная выставка «Пейзажи нашей Родины». На стенах висели маленькие идилические пейзажи с голубыми небесами, тихими речками и полями, залитыми тёплым сияющим солнечным светом. Никакая война в эти места ещё не заглянула. Вспомнилось, что и сам я ещё в июне-июле писал то же самое, не задумываясь о том, что где-то горит земля, рушатся города, гибнут люди. Об этом нельзя писать, если сам не пережил, если жизнь воспринимается плавно, спокойно, без нерва. Вспомнилось, как Чехов писал о Левитане: «Это лучший русский пейзажист, но, представьте себе, уже нет молодости. Пишет не молодо, а бравурно... Пейзаж невозможно писать без пафоса, без восторга, а восторг невозможен, если человек обожрался. Если бы я был художником-пейзажистом, то вёл бы жизнь почти аскетическую». Эти слова я вспоминал и потом, когда на выставке увидел портрет Алексея Толстого, написанный Кончаловским в 1942 году. Толстая масляная физиономия за столом, заваленном окороками. Дата – 1942 год – звучала кощунственно. Какая уж тут аскетическая жизнь, да ещё в пору, когда люди умирали с голоду.

Впрочем, тогда, на Кузнецком мосту, я запомнил два пейзажа Ясной Поляны, написанные незнакомым мне художником Шолоховым. Мрачные, чёрные, написанные с нервом, они передавали время и заставляли думать о том, что знаменитая усадьба находится в оккупации. Посещение выставки разбудило во мне желание писать, и я купил там же в магазине альбом и акварельные краски, надеясь, что они пригодятся мне в новой военной службе/.../».

На Северо-Западном фронте

Когда враг был отброшен от Москвы, их воинскую часть реорганизовали в кадровую 130-ю стрелковую дивизию и направили на Северо-Западный фронт.

Из воспоминаний Юрия Константиновича:

«/.../ Дивизию переводили на Северо-Западный фронт и, доехав до Осташкова, мы шли пешком по направлению к Старой Руссе. За прошедшие месяцы мы закалились, могли спать где угодно – в самых неподходящих условиях. В этом первом походе, когда останавливались в уцелевших крестьянских избах, я сразу забивался под стол: в единственное место, где можно было спокойно провести ночь. Проходили мы за день в полной выкладке не меньше двадцати вёрст. Питание на нашем фронте ухудшалось с каждым днём, и при большой физической нагрузке нам приходилось нелегко. Гриша Данилочкин наставлял нас:

– Помните три солдатских заповеди. Первая – не отставай от кухни, вторая – не попадайся на глаза начальству, третья – при неясной обстановке ложись спать...

Переход закончился 22 февраля в деревне Липье. На завтра, в день Красной Армии, вступали в бой. Впервые, с того дня, как вышли из Москвы, помылись в деревенской бане. Оделись чисто, выдали новое бельё. Кто-то буркнул про себя – «смертное». Это было очень похоже на правду. Не было ни малейшей уверенности в завтрашнем дне. Была отрешённость. Все молчали. Каждый думал о своём. Я прощался с прошлым. Позади школа, художественное училище, планы, надежды, розовый туман. Ещё не было любимой девушки, не успел... Впереди страшная реальность, встреча с глазу на глаз со смертью. Спасти от неё мог только счастливый билет в лотерее, где выигрывает один номер на тысячу. В деревне оставил всё лишнее, краски, альбом и сапоги. Зачем тащить, если в пути иголка – пуд весит...

Вышли на рассвете. Первая неожиданность – вдоль дороги стоят в снегу голые человеческие фигуры. Кто они? Говорят, что это убитые немцы, а потому успели их раздеть. Затем – силуэт большого села со следами затухающего пожара. А перед селом, уткнувшись носами в снег, лежат пехотинцы в новеньких шинелях с вещмешками за спиной. Они не дошли до села, и война для них закончилась.

Пехотинцы взяли село. На улицах везде лежали трупы немцев. Некоторых немцев смерть настигла, когда они, не успев одеться и натянуть штаны, выходили на улицу. У обгоревшей колокольни трупы прикованы к пулемёту. Это наши штрафники. Местные жители прятались в домах. Мы остановились в центре села, на развилке дороги. На другом краю – стрельба, оттуда бьют по селу пушки. Совсем рядом со мной снаряд попал в избу, и передняя стена вывалилась, обнаружив совсем невредимых хозяев дома. В другой избе, большой и крепко срубленной, лежат убитые старик и старуха.

Время остановилось, неизвестно, проходят ли минуты или часы, пока мы ждём команду. У нас уже есть потери. Убиты и лошади. Зимний день короток, и мы в сумерках начинаем вновь двигаться.

/.../ Батарее нужно развернуться в лесу, а нам, двум связистам, наладить связь от батареи до ближайшей избы, где расположился штаб. С катушкой еду на лыжах от избы под горку к лесу. Кто-то кричит в след:

– Куда тебя понесло? Там минное поле!

Но я проскочил. В след за мной отправился миномётчик. Ему оторвало ступню, и он был отправлен в санбат. Парень был из здешних краёв. Однажды я составлял список миномётного расчёта, и он по всем правилам армейской дисциплины откозырял:

– Товарищ помощник писаря, разрешите обратиться!

Это присвоенное мне звание насмешило и запомнилось.

Впервые мы ночевали на снегу в тридцатиградусный мороз, нарубили под себя еловый лапник...».

Новая «боевая» задача – рисовать портреты героев

Из 130-й стрелковой дивизии освобождала Новгородскую и Ленинградскую области, Прибалтику. Авдеев сначала был связистом, а потом артиллерийским разведчиком в истребительном противотанковом, а затем минометном дивизионе. Награждён солдатской медалью «За отвагу». Её он очень ценил.

Когда выдавалась свободная минута, Авдеев рисовал.

Из воспоминаний Юрия Константиновича:

«...когда я услышал свою фамилию в невнятном разговоре на линии штабного телефона, то первой мыслью было – это не к добру.

Скоро в трубке послышался строгий голос комбата:

– Красноармейца Авдеева вызывают в политотдел дивизии.

– За что? – спросил я, не скрывая тревоги.

– Там скажут, – с ехидством прозвучал ответ.

...Этот хмурый сентябрьский день был необычайно трудным.

На рассвете нас послали перетаскивать мины. С ними нужно было идти по колёно в болотной жиже несколько верст. Тащили по две, по пуду в каждой. А сам я весил тогда не два, но и не три пуда – 44 килограмма.

Потом отчаянная перестрелка. Я принимал по телефону команды с НП и передавал их командирам орудий. В горячке боя закопченные и оглохшие минометчики не сразу поняли, что немцы их засекли и тоже стали обстреливать. Одним ближним разрывом был убит заряжающий Васильев и контужен мой напарник связист Евстафьев. Он ходил ошалелый, пытался что-то объяснить, но не мог, и лицо его становилось виноватым. В этот момент я и получил непонятный приказ явиться в политотдел...

– Товарищ старший... батальонный комиссар! Красноармейцу

Авдеев явился... по вашему вызову, – доложил я, запинаясь, когда еле разглядел в полутьме землянки одутловатое лицо человека и три его шпалы в петлицах.

Он кивком показал на табуретку у стола, порылся в бумагах и

положил передо мной две открытки.

– Это Вы рисовали?

На столе лежали мои рисунки.

...Всем нам как-то выдавали подарки, присланные москвичами.

В стандартных посылках каждому приходилось по чекушке водки, флакону одеколона, по носовому платку, катушке ниток с иголкой, по карандашу и десятку почтовых открыток, которым я был рад особенно...

Зимой сорок второго, в день Красной армии, перед первым своим боем я никак не рассчитывал протянуть до осени. Поэтому, помывшись в какой-то деревенской баньке, я оставил там и краски, и альбом, и даже сапоги, чтобы не тащить ничего лишнего на тот свет. И на следующий день убедился, что поступил правильно, когда на окраине деревни, взятой нами, увидел уткнувшихся в снег лицом ребят в новеньких шинелях, с сидорами за спиной...

Получив открытки из плотной, чуть желтоватой бумаги, я снова до боли захотел рисовать...

– Да, это я наших ребят рисовал. Просили, чтобы домой послать, вместо фотографии, – ответил я комиссару.

– Ну вот, мы решили использовать вас для рисования портретов отличившихся бойцов и командиров.

...До войны по окончании художественного училища я много работал в жанре портрета, ставя перед собой чисто живописные задачи.

А здесь я рисовал разведчицу Соню Кулешову, притаившуюся в мешке через линию фронта здорового немца, нужного командованию языка. Рисовал минометчицу Лизу Валяеву, спайпера Машу Поливанову, вскоре посмертно ставшую Героём Советского Союза. Но портреты не удовлетворяли меня, потому что за стандартной гимнастёркой и пилоткой, при мимолетной встрече за час я не успевал

приглядеться к натуре, понять ее. Первое время я, наверное, не отличался от парикмахера, добросовестно выполнявшего свои обязанности.

Однажды, когда я «остриг» очередную партию героев дня и собирался идти на свою базу, меня задержали у штабной землянки. Комиссар порка пригласил к себе, угостил блинами, а потом попросил:

– Нарисуйте нас с командиром. А то фотографию некому сделать...

/.../С этих пор исчезла скованность, и даже рисунки стали получаться лучше. Приветливого комиссара полка я рисовал несколько раз. Портреты получались похожими, но не было в них изюминки. Он напоминал шолоховского Григория Мелехова – стройный, подтянутый, с кудрявым чубом, орлиным носом, словом, внешность, вполне соответствующая облику героя.

Бывало так: человек отличился в бою, я по свежим впечатлениям рисую его портрет, а у него лицо бухгалтера из заготконторы. Да и мои возможности художника, только что со студенческой скамьи, были невелики. Мне хотелось изобразить настоящего героя войны, влюбившись в него, нарисовать так, чтобы на бумаге чувствовалось мое, совсем неравнодушное отношение.

Однажды я мимоходом заглянул в политчасть полка. Комиссар был свободен, сидел в хорошем настроении, блиндаж был залит ярким радостным светом... Я попросил комиссара попозировать. Наконец, и для меня пришла минута удачи, которую называют громким словом «вдохновение».

Когда портрет был закончен, изумленный комиссар бережно взял рисунок и побежал показывать его своим друзьям:

– Смотрите, как получилось!..

А через полчаса комиссара не стало. Шальной снаряд угодил в него прямым попаданием. Что-то мистическое было в моей творческой удаче. Гибель комиссара совпала с началом немецкого наступления.

Делать рисунки в стрелковых полках становилось всё труднее. Как-то раз во время сеанса мы попали под обстрел и едва успели спрыгнуть в окоп, оставив наверху шинель и планшет. Когда стрельба утихла, оказалось, что планшет с рисунками был весь в дырках, а шинель изорвана в клочья...

В политотделе, посмотрев на мой «живописный» вид, сказали:

– Отправляйтесь в арtpолк. Там, должно быть, потише...

Артиллеристы меня встретили радушно, устроили в пустом

блиндаже и обещали с утра организовать работу. Но утром оказалось, что я совсем один в лесу. Не было ни людей, ни орудий, ни указателей. За ночь арtpолк куда-то ушёл, а обо мне забыли.

Лес был глухим, дорожные колеи неизвестными. Я брёл, куда глаза глядят, пока не встретил трёх связистов, тащивших рации. Подозрительно оглядев меня, они проверили документы. Потом лаконично сообщили, что немцы прорвали линию фронта, и дивизия, чтобы не попасть в окружение, отошла на новые рубежи. Нам пробраться к своим можно лишь по обрывистому берегу Ловати. День и ночь мы шли, ползли, карабкались по кустам, переходили вброд притоки реки. В одном месте Ловать делала крутой поворот, и перед нами расстилался широкий луг. Перебежали поодиночке. Круживший в небе «Мессершмидт» гонялся за каждым из нас и бросал, не жалея, по несколько бомб. Наша группа распалась, и дальше пришлось добираться одному.

К счастью, скоро встретились старые знакомые из противотанкового дивизиона, накормили, обогрели меня, объяснили обстановку.

Я и раньше любил заглядывать к ним. В этой части в сорок первом году для меня началась война под Москвой. И недавно, накануне немецкого прорыва, я ночевал у них.

/.../Все дороги, переправы были забиты искореженными повозками и орудиями, трупами людей и лошадей.

Опустел и штаб дивизии. Начальник политотдела лежал в медсанбате, и мне посоветовали идти к нему, во второй эшелон. Он, кажется, даже обрадовался моему появлению – за короткое время он привязался ко мне, уже не отдавал приказы,

а обсуждал мои творческие замыслы, высоко ценя удачу. Зная это, политрук Малинин вынес из окружения мои рисунки вместе с партийными документами.

– Поработайте пока здесь, во втором эшелоне, – сказал начальник политотдела, – идите в клуб, к музыкантам...

Целый год я пробыл на передовой и ни разу не слышал звука оркестра, даже не знал о его существовании.

По штатному расписанию дивизии полагается духовой оркестр в двенадцать человек, но редко уважающая себя часть ограничивалась этим количеством. Наш оркестр был вдвое больше положенного. Были здесь и скрипачи, и саксофонисты, и не какие-нибудь, а из оркестра Большого театра, из Радиокomiteта, из джаза Утесова. Капельмейстером был известный еще до войны Виктор Николаевич Кнушевицкий.

По утрам, после завтрака Кнушевицкий собирал свою команду в каком-нибудь заброшенном сарае, и начиналось священнодействие. Из сарая доносилось кваканье, уханье – как из сказочного болота, их перекрывали протяжные трубные звуки, то высокие, то низкие, передразнивающие друг друга. Затем звуки сливались, становились стройнее и превращались в бетховенского Эмонта. Внезапно они обрывались, а после недолгой паузы возникали снова, с большой уверенностью и стройностью.

Но бывало это не часто. На войне все музы могли жить по совместительству. Один музыкант был шофером и водил киномашину, другой был парикмахером, третий чинил часы, четвертый плясал в агитбригаде. При необходимости все работали на погрузке снарядов, но, главное, во время наступления – в медсанбате. Санитары из них получались первоклассные. Они помогали врачам при операциях, таскали раненых, делали перевязки.

/.../Фактически во втором эшелоне музыканты были единственным регулярным воинским подразделением. Медсанбат почти целиком состоял из женщин, автоторота всегда в разездах, почта и хлебопекарня слишком малы. Поэтому иногда совсем не воинственным музыкантам приходилось отражать внезапные проникновения немцев в тыл дивизии.

Как-то второй эшелон тянулся по лесной просеке за продвигающимися вперед частями. А невдалеке, по параллельным просекам, двигались немцы. Заметив отставших благодушных тыловиков, немцы с воздуха стали бомбить их, а на земле завязалась перестрелка. Только расторопность и смелость музыкантов и агитбригады спасли дивизию от большой беды».

Ежедневно Авдеев рисовал по несколько портретов бойцов. Рисовал на обрывках бумаги, на тряпках. Краски, которые мать однажды чудом смогла прислать ему, разводил керосином. Иногда ему удавалось находить время, чтобы писать этюды.

Среди писем с фронта сохранилось и его удостоверение:

«Выдано настоящее гвардии сержанту товарищу Авдееву Георгию Константиновичу в том, что он в настоящее время работает художником при клубе 53 Гвардейской Краснознаменной Стрелковой Дивизии. Товарищу Авдееву разрешается производить зарисовки с натуры во фронтовой полосе. Действительно по 31 декабря 1943 года. Начальник клуба 53 ГКСД Гвардии старший лейтенант М. Алексеева».

Из воспоминаний Юрия Константиновича:

«...Я ходил по полкам, занимаясь своим делом, и в клубе бывал не часто. Если случалось застревать, то меня по самую завязку загружали, может быть, очень нужной, но непривычной работой. Срочное задание – в одну ночь изготовить флаги с надписями «За Родину», «За Сталина», «Вперед на Запад», и сделать это нужно при полном отсутствии красной материи и каких-либо красок. Приходилось изобретать покраску медсанбатовской простыни красным стрептоцидом, а надписи делать зубным порошком на каком-то медицинском клее. Расписывал фургон киномашины, ширму для агитбригады, красил грузовик или писал очередной портрет Сталина /.../. Помня, как меня забыли при отступлении, я старался на марше непременно быть со своим клубом».

Дороги Северо-Западного фронта прокладывались в лесах по непроходимым болотам. Делались они из бревенчатого наката, и в лучшем случае на накат клались еще два ряда досок для проезда автомашин. На перекрестках стояли столбы, на которые прибивались многочисленные стрелки. Стрелки указывали путь к Нестеренко, Пономареву, Чернусскому или к кому другому, фамилию которого знали только свои бойцы. Потом стали прибивать указатели «До Риги – 400 км», «До Мелея – 600 км», «До Берлина...».

На пригорках и в сухих местах когда-то стояли деревни. Еще в древней Руси располагались здесь вотчины Великого Новгорода. Ни тевтонские рыцари-завоеватели, ни татаро-монгольские набеги не доходили сюда. И стояли деревни много веков нерушимо, защищенные со всех сторон болотами и лесами. А теперь на месте этих деревень остались только дорожные знаки с названием, которое определялось по карте. Разве что когда-нибудь археологи определят признаки былой жизни, но сейчас везде, где проходила линия фронта, была пустыня. Только таблички с надписью: «Веревкино», «Козлово», «Сутоки», «Медведево», «Пинаевы Горки», – и никаких следов строений, ни печей, ни фундаментов, ни жителей. Деревни остались лишь в названиях на старых топографических картах. Было ясно – их некому восстанавливать.

На поле у бывшей деревни Веревкино стояли сорок восемь разбитых танков, и все поле усеяно трупами. Чтобы поставить там пушки нашей противотанковой батареи, нужно было сначала стащить трупы в воронки. Кто-то сказал, что здесь погибла целая дивизия, переброшенная со Сталинградского фронта...

Стоят после войны памятники воинам-победителям, но нет памятника солдатам, погибшим ни за понюшку табаку, никто не вспомнит мирных жителей, удобивших кровью родную землю...

Всю жизнь не стирается в памяти, проходит во сне страшным кошмаром первый для меня бой за село Новая Русса. Потом все ощущения притупились, глаза привыкли к трупам, слух – к разрывам снарядов, в сознании главным стало представление о неизбежности. Друзья нарекли меня «Факиром» за мое равнодушие к фронтовым опасностям. Но и теперь еще, много лет спустя, стоит в глазах трагическая картина первого боя: на окраине села лежит убитая девушка, мы проходим мимо, освещая фонариком ее застывшее, строгое лицо. Позади, на дороге, сотни, может быть, тысячи убитых, но в память врезалась только эта девушка, только она, как символ величайшей жестокости войны.

Летом сорок третьего года, когда мы вернулись в места первых боев на отдых, мне довелось делать памятник на могиле этой девушки. Ее звали Анна Жидкова, была она кандидатом исторических наук.

...Землянки в валдайских болотах нельзя было копать, скорее они напоминали сараи с плоской крышей. Делали их на склоне оврагов, чтобы одна сторона была в земле, и по привычке звали такие убежища все-таки землянками.

Жизнь была суровой. Виш заедали нас. Они появились после первых боев. На батарее мы раздевались донага и складывали одежду в большой котел, заливали его водой и кипятили на костре, пока сварившиеся насекомые не всплывали толстым слоем белой кашицы. Но на другой день виши появлялись в прежнем количестве. Стали устраивать жарилки: в маленькой землянке вешали белье и докрасна топили печку. Распаренные виши лопались от жары, но все-таки не пропадали. Когда во втором эшелоне поставили специальный автобус баню, мы стали мыться регулярно, но и тогда почесывались. Ночью я вставал, снимал рубаху и гладил ее о раскаленную печь. После такой процедуры несколько часов можно было поспать спокойно. Не брал проклятых «бемолей» (так называли вшей музыканты) даже прославленный дуст. А пропали они так же внезапно, как и появились. Когда после долгой, изнурительной обороны дивизия перешла в успешное и быстрое наступление. Недаром солдаты говорили: «Виши появляются от забот и огорчений».

В ноябрьскую стын 43-го года дивизия двигалась в лесах около Старой Руссы, вдоль берегов Ловати. На ночлег облюбовали себе одну большую землянку с длинными нарами из нетёсаных жердей, покрытых лапником. Места хватало всем: лежали

вместе, тесно прижавшись друг к другу. Засветло сумели поставить железную пещурку, и вскоре прорези в печной дверце замигали веселыми огоньками, а железные стенки покраснели, и стали пригревать солдатские сапоги...

Неожиданно из самого дальнего угла донесся голос Пети Петрова. Это был скромный альтист, никогда не вступавший в споры. Мастеровой парень, он все свободное время занимался починкой музыкальных инструментов.

Ох, летят утки, – запел Петя, –
Летят утки, – подхватили соседи, –
И два гуся!
Кого люблю, кого люблю, – загремело в землянке, –
Не дождуся...

Перед наступлением к нам прислали нового командира дивизии, генерала, участника гражданской войны. Разрабатывая план операции, он решил блеснуть – применить психическую атаку. Впереди пехоты должны были идти музыканты парадным строем и играть воодушевляющий марш.

В условиях валдайских лесных болот, да еще в местах, где немцы более двух лет строили укрепления, план генерала не мог увенчаться успехом. Мне пришлось потом познакомиться с немецкой линией обороны. Это был многокилометровый крепостной вал. Две бревенчатых стены в пять метров высотой и в метре друг от друга были заполнены землей. Перед валом метров триста были заминированы. Между обгорелыми стволами деревьев, на которых осколками снарядов были сбиты все суки и верхушки, стояли сгоревшие танки, навечно остались лежать шедшие в наступление солдаты.

Нет, там нужны были не музыканты, а танки, авиация и артиллерия. Начальник политотдела отстоял музыкантов, но с тех пор начался у него конфликт с комдивом. Вскоре начальника политотдела отозвали в Москву.

Мой непосредственный командир, начальница клуба, при знакомстве с генералом предложила, чтобы дивизионный художник нарисовал его портрет для будущего музея боевого пути дивизии.

– А какое звание у художника, – поинтересовался генерал.
– Сержант...

– Сами понимаете, не могу же я сидеть и позировать перед сержантом...

Перед наступлением пришло указание отчислить сержанта Авдеева для прохождения дальнейшей службы в истребительном противотанковом дивизионе.

Через месяц, в госпитале, в глубоком тылу, совсем ослепший, я получал много писем почти от всех музыкантов. Каждый по-своему старался поддержать...

Война продолжалась. Жизнь шла своим чередом...

«...донести свой крест до конца»

Когда читаешь воспоминания и фронтовые письма Юрия Константиновича, то поражаешься тому, как они отличаются от того стереотипа, который сложился под влиянием книг и фильмов о Великой Отечественной. Во взгляде Авдеева на войну нет ничего героического.

... Адресат его писем – мать Мария Ивановна Авдеева. В начале войны она осталась одна в прифронтовом Серпухове, под ежедневной бомбёжкой – без мужа и трёх взрослых сыновей. Один из них Владимир погиб в первые месяцы войны.

Мария Ивановна не смогла сохранить письма сына Юрия с передовой. Те, что остались, рассказывают о следующем этапе его военной биографии, когда Авдеев был направлен командованием в дивизионный клуб. Вот несколько отрывков из писем Юрия Константиновича к матери:

17.12.42. «/.../ Дал я вам неудачный адрес, в то место, где бываю довольно редко. И вот не был месяц, а тут за это время целая куча писем накопилась. Посылка тоже

пришла очень давно, но я её еще не получил, вышло так, что пришел сюда за ней, а ее только что переслали мне туда, где я был; так что я теперь ее получу не раньше, чем дней через десять, как раз к новому году. За посылку большое спасибо, чтобы там ни было – все это дорого, потому что это из дома. Память о доме, – о нем мы вспоминаем каждый день. Но вообще вы насчет этого не беспокоитесь. Мне сейчас ничего не нужно. Но вот, если вы сможете устроить посылку из моих материалов, то сделайте это, пожалуйста, и поскорей, потому что посылки будут принимать, кажется, только до нового года.

Посмотрите там кисти, особенно акварельные, мягкие, круглые и плоские, и несколько щетинных, мелких и средних. Это мне очень нужно, а их достать невозможно здесь. Очень нужны акварельные кисти, но их, кажется, у меня дома не было. Если там где-нибудь найдется, клей столярный или казеиновый. Такие вещи мне нужны в первую очередь. А там, если <зачеркнуто> успеете, то положите из масляных красок – белила, яркие желтые – кадмий, хром, стронциановая, охра, сиена натуральная. Что-нибудь из зеленых, красных и ультрамарин. Также альбом мой, там, кажется, только один с желтой бумагой, и если найдутся, то кусочки грунтового холста и картона, хоть маленькие, даже записанные старые, все равно.

Я вообще живу хорошо, пользуюсь авторитетом у начальства, но если у меня будет материал, то можно будет развернуться и показать, на что способен. Тогда авторитет еще больше увеличится /.../».

Можешь поздравить. Я теперь гвардеец, звание нам присвоили 9 декабря в центральных газетах. Подал я в партию. Неудобно работать в политотделе и быть беспартийным. После чуть ли не целого года на передовой, мне сейчас о большем и мечтать нечего. Еще летом был представлен к награде, но потом мы перешли на другой участок фронта, и так это дело затерялось. Но об этом тужить нечего. Лучшая награда это принести домой свою голову целой /.../».

29.05.43. «/.../Посылаю сейчас тебе свою фотографию последнюю и статью обо мне /.../».

08.07.43. «/.../Можешь меня поздравить. Получил правительственную награду – медаль за «Отвагу». От вас я очень давно не получал писем, стал беспокоиться /.../».

05.10.43. «/.../Ты просишь меня писать подробней. Но что? Ведь день изо дня – одно и то же.

...Ездить я люблю. Сколько впечатлений получаешь на дорогах, особенно сейчас, на фронтовых дорогах – «на дорогах войны»!

Один мой альбомчик – дневник в рисунках – я так и назвал. Машина идет по ровному, бревенчатому настилу. В этих местах грунтовых дорог нет – кругом непроходимые болота. Вся дорога – гигантский мост. Кругом избитый, поломанный, пораненный осколками лес. Сворачиваем на настоящую довоенную булыжную дорогу. По этой дороге вообще машины не ездят. Она не так давно отбита у немцев, и сейчас они находятся неподалеку. Дорога простреливается. Мы едем лишь потому, что у нас всего три машины, едем в виде разведки, а этой дорогой мы проедем вдвое ближе. Основные колонны идут обходом. Воронки кругом, и вдоль шоссе, и на шоссе. Посреди дороги дзоты, их трудно объезжать тяжелогруженым машинам, да ещё с прицепленными пушками. Кругом следы недавних боев, подбитые и сгоревшие танки. Наших больше. Лес настолько сильно иссечен, что деревья стоят как телеграфные столбы, одни совершенно голые стволы. Подъезжаем к мосту. Здесь схватка была особенно жаркой. Один наш танк пересек реку, взобрался на берег и уперся в дзот, и, наверное, подорвался. Дальше дорога уже совершенно заросла, по ней уже совсем не ездят. Здесь немец от нее не больше, чем в 1,5 км. Кругом мелкий кустарник, вдали лес, там – немцы. С дороги свернуть нельзя ни на шаг – там минные поля. Машина рвет так, что вода кипит в радиаторе. Проехали. Начались неполадки – то пушка отвязалась, то машина ерундит. Добрались к вечеру. Когда-то тут был

крупный населенный пункт, сейчас от него нет и следа. Лишь голые, обгоревшие деревья, посаженные вдоль дороги аллеей, говорят о том, что здесь было село. Останавливаемся в лесу. Здесь до нас стояла часть, с которой мы обменялись местами. Они здесь отдыхали, но солдатский отдых, это отдых от пуль и снарядов, а в остальном это усиленная, напряжённая работа. Видно, что люди поработали здорово. В лесу – целый городок. Везде, тут и там в кустах, прячутся маленькие домики. Мы их занимаем. Устраиваться будем, когда придет основная колонна – завтра, после завтрака. А пока закутываемся в шинели, забираемся в палатку, сумку под голову и спать. День кончился. А завтра? Завтра немного иначе, но в основном – то же, война, жизнь солдатская. Все в руках судьбы. Как она повернет, предугадать нельзя /.../».

02.11.43. «/.../ Наконец удалось выполнить твоё желание, сфотографировался, и получил – очень жаль, что только единственную фотографию, которую и посылаю тебе. Распоряжайся ей на своё усмотрение, хочешь – оставь себе или в музей. Эта фотография в известной степени польстила мне, ибо вид я имею более ободранный.

Сейчас я опять пока в клубе, но временно. Делаю всякое оформление. Праздник, да ещё бестолковщина создают массу работы. Вчера, например, приказали все оформление из офицерского клуба снять. А ночь темная, за два шага даже силуэта не видно. Кое-как добрали до него с керосиновым фонарём, сняли. На обратном пути фонарь потух. Насилу дошли по колено в грязи. Но раз сняли, то, мы думали, что, наверное, снова переезд. Поэтому утром собрались идти на бывшую немецкую оборону этюды писать. Я уже написал там несколько этюдов – характернейший пейзаж фронта. А утром приказ: повесить всё снова. Весь день был занят этим. А работы и кроме этого масса. Погода же так и тянет к краскам. Прекраснейшая осень, даже здесь на севере и то вторично набухли почки. Всё покрыто легким туманом и лишь последние чёрные листья траурным знаменем развиваются по ветру. Никогда раньше мне не приходилось писать осень в полной мере, а сейчас она настолько отвечает моему настроению, что больно терпеть без пользы даже один день. Но, впрочем, это уже область искусства /.../».

04.11.43. «/.../ Послал тебе вчера письмо и фотографию, а сегодня получил от тебя. И ещё раз прошу тебя – не беспокойся, не трать нервов. Ведь этим ничему не поможешь, а в известной степени твои страхи напрасны. Если ты будешь так реагировать на письма, то придётся и мне писать так же, как отец:

– «Жив, здоров, Иван Козлов».

То, что тебе рассказывал Трофим, правда, но это прошедшее, пережитое, и сейчас всё уже по-другому. 42-ой год и 43 – две вещи разные. Приходится, конечно, всего хлебнуть, но уже не в такой степени. Условия стали несравненно лучше, и если мы в прошлом году считали свой фронт паршивым, то сейчас наоборот: для нас будет хуже, если попадём на другой. Да и за 2 года здесь уже все места сроднились. Несмотря на тяжёлый груз пережитого, я, пожалуй, чувствовал бы себя обездоленным, если бы пришлось пройти мимо этого. Война отняла у меня много, но много и дала. Она помогла мне понять себя, установить мирозерцание, очистила душу от всякой накипи, заставила понять в жизни главное. Она обогатила меня как художника /.../».

05.11.43. «/.../Какие огромные средства вкладываются в войну. И что? Сейчас у нас успех только потому, что страна сказочно богата. И как противоположность – в столь богатой стране – народ всегда был нищий /.../».

22.01.44. «/.../Когда же это все кончится? Действительно большая сила нужна, чтобы донести свой крест до конца. Крепись! – говорю я себе /.../».

06.02.44. «/.../Сегодня наш фотограф поехал в Москву. Я передал с ним свои этюды, он должен их передать жене Петра Ивановича. Жалею, что очень спешил, не успел написать никакого объяснения к этюдам, как хотел раньше /.../».

16.03.44. «/.../Пока остановились, и стою на том же месте, где писал последнее письмо, недалеко <зачеркнуто цензором>. Но со дня на день начнутся опять бои и, конечно, опять предстоит движение. Опять в дни перерыва между боями занимаюсь портретами. В такие дни всегда весь наш клуб работает, несмотря ни на какую обстановку. А обстановка для нас в последнее время была тревожная. <...> Наша часть единственная, имеющая такой коллектив. Сегодня, например, давали ребята концерт – большой успех и благодарность от генерала всему составу. А я с Петром Ивановичем тоже составная часть их программы, – наши декорации и портреты героев, с которыми они выступают в литмонтаже. <...> О творческой работе, конечно, думать не приходится. Все время радуюсь, что хоть те этюды отослал, а то бы здесь пропали. Кстате о них. Повез их наш фотограф – Семен Кириллович Галадж. Но у него было столько поручений, что к жене Петра Ив<ановича> он их снести не успел, и они остались на квартире у его матери. Живет она в Москве, Софийская набережная, д. 28, кв. 9. (вход со двора, направо), но для того, чтобы застать ее, надо прежде договориться по телефону К-4-30-30, доб. финотдел. Спросить Галадж Марию Артемьевну.

/.../сейчас, несмотря на блестящие успехи, на материальное благосостояние армии, прекрасное питание и пр., все просыпаются и ложатся с одним вопросом, – когда же? Всякой веревочке конец бывает, а эта, сделавшись петлей для миллионов людей, всё ещё тянется /.../».

04.04.44. «/.../Работы столько, что и спать некогда. Начались действия, а в такое время мы все работаем санитарями в санбате. Работаем почти по 20 часов в сутки, придешь оттуда, не успеешь сесть, как заснул. Да и сон-то удивительно крепкий – что там поговорка: «хоть из пушки стреляй». Такие выстрелы меня вообще не будят, а тут недавно где-то рядом разорвался снаряд очень сильный, даже в землянках все попадало и стекла вылетели, все проснулись, и лишь я один спал сном праведника. Обстановка тяжелая, но пока все благополучно. Может быть, дай Бог, скоро из этой каши выберемся и вздохнем спокойней. От судьбы не уйдешь, и живи так, как судьба распорядится. Пока она меня не подводила /.../».

14.04.44. «/.../Нам дан буквально приказ – участвовать на выставке художников-фронтовиков в Ленинграде. Некоторые из отосланных этюдов могли бы с успехом быть использованы, но, может быть, лучше, что их нет, это дает толчок извне к творческой работе. <...> Живу не плохо, хоть в паршивом, но доме, и даже давно забытая роскошь – подушка – под головами имеется. Удивительна сила привычек. Привык вместо подушки класть шапку под голову, и сейчас даже на подушке без шапки спать неудобно /.../».

18.04.44. «/.../Ты меня очень обеспокоила своим предложением выставки. Этюды эти – материал для будущих работ, как самостоятельные единицы из них могут фигурировать только два-три. А потом, что они могут представлять без моей личной обработки, – ведь даже и названия им дать без меня правильно никто не сможет /.../».

22.04.44. «/.../Я сделал эскиз картины «Возвращение» – солдат вернулся с фронта домой, и не нашел ничего. Разрушен дом, ни семьи, ни друзей, и стоит он на фоне безотрадного пейзажа, у черной, как могила, ямы на месте бывшего дома. Впечатлений для этого больше чем достаточно, и зрительных, и внутренних. Каждый из нас похоронил в какой-то могиле часть своего прошлого, и пока еще надеяться не на что. Выхода еще нет, и хотя показался на горизонте лоскуток светлой зари, но тучи еще не очистили небо. <...>

В доме обстановка для работы мало подходящая, у хозяев большая семья, куча детей, весь день крик, плач, суета. Нравы здесь достойны удивления, страшно режет уши мат, принятый за обычное в домашнем обиходе, ругаются и мужчины, и женщины, не считаясь ни с посторонними, ни с детьми. Но в то же время, несмотря

на всю свою бедность, они гостеприимны, и в материальном отношении живем мы неплохо, впервые за три года хоть пожили в человеческих условиях /.../».

25.04.44. «/.../Отвечаю на твои доводы в пользу выставки. Все это совпало для меня с моментом душевного разлада, когда я, как никогда, переосмысливаю все – в том числе, и себя. Для того, чтобы видеть изображение, нужно расстояние. Поэтому я уверен в том, что моему поколению не суждено создать «Войны и мира». Этот Толстой еще не родился... Мое поколение подобно ущербной луне /.../».

В Михайловском, у Пушкина

В июле 1944-го Юрий Константинович с горечью увидел, как фашисты испоганили заповедник Александра Сергеевича Пушкина в Михайловском.

...Пушкинский край был захвачен врагом в июле сорок первого. В начале войны, отступая к Новоржеву, наши части оставили Пушкинские горы без боя, чтобы не нанести урона заповеднику. Там не оставалось ни вооружённых сил, ни военных сооружений.

Однако фашисты бомбили заповедник. Были сброшены бомбы и на Святогорский монастырь. Одна легла неподалёку от пушкинского надгробия, оставив глубокую воронку. Несомненно, целили в могилу поэта.

В музее-усадебке Пушкина поселился карательный отряд. Немцы варварски уничтожали величайшие ценности. Библиотека поэта служила карателям для растопки печей. В Германию были вывезены мебель и картины, другие экспонаты.

В феврале сорок четвёртого с территории Пушкинского заповедника, превращённой немецкой армией в укрепленный район, были выселены практически все русские. Михайловское немцы превратили в минное поле. В окнах дома великого поэта торчали пулемёты.

Во время боевой операции по освобождению Пушкиногорья наше командование дало строгий приказ ни в коем случае не стрелять по Михайловскому, чтобы не повредить и не уничтожить его памятники.

Святогорский монастырь (1569) в годы Великой Отечественной войны был полностью уничтожен. При отступлении фашисты и здесь заложили почти 4 тысячи мин. Они также намеревались взорвать могилу поэта.

Потом в заповеднике и монастыре почти пять лет работали сапёры.

...Времени было немного, но Авдеев успел сделать рисунок заминированной могилы поэта.

На ней была табличка с надписью: «Могила Пушкина заминирована. Входить нельзя. Ст. лейтенант Старчеус».

Когда рисовал, Юрий Авдеев вспомнил фразу Л.Н.Толстого:

«Чехов – это Пушкин в прозе».

Спустя годы Юрий Константинович стал для чеховского Мелихова таким же ревностным хранителем, как другой бывший фронтовик – Семён Степанович Гейченко для пушкинского Михайловского. Авдеев и Гейченко переписывались.



Основатель музея заповедника А.П. Чехова «Мелихово» – Ю.К. Авдеев

Слепота

Последнее, третье, ранение, полученное Юрием Константиновичем в Латвии осенью 1944-го, было самым страшным.

Как-то на берегу Рижского залива рядом разорвалась мина. Авдеев очнулся в госпитале и понял, что стал слепым.

Из воспоминаний Юрия Константиновича:

«/.../Годы войны и фронта, изломившие душу и тело, в то же время дали большой жизненный и творческий опыт. И вот в момент, когда, собрав весь нужный этюдный материал, я уже приступил к осуществлению своих замыслов, вдруг катастрофа – ослеп /.../».

Жажда жизни была настолько сильной, что ему помогали даже те методы, в которые не верили сами врачи.

После пяти лет лечения в госпиталях (1944-1949) зрение частично и ненадолго вернулось. Восстановилась точка в центре левого глаза, которая, по словам Юрия Константиновича, позволяла ему четко различать в книге две-три буквы.

Зная, что улучшение носит временный характер, он использует это время для чтения книг, в основном А.П. Чехова.

Пытался писать рассказы. Было вроде бы и не плохо, но до конца не доводил.

В «госпитальные» годы боковым зрением правого глаза он стал видеть цвет почти так же, как прежде. Цветом он и стал насыщать свои новые картины.

«Подвижники нужны, как солнце...»

Чеховская усадьба заросла бурьяном. В полуразрушенном флигеле, где была написана «Чайка», висел портрет Сталина да несколько фотокопий. От столь любимого Левитаном сада уцелели лишь несколько лип и тополей.



Мелихово. Флигель в котором была написана «Чайка»

Ещё в 1929 году обрушился усадебный дом. Он был разобран на хозяйственные нужды колхоза. На месте чеховского дома, где так любили гостить многочисленные друзья писателя, проходила дорога...

Грустные руины, какие Авдеев видел на дорогах войны. Но здесь был тыл. И это притом, что ещё в 1944 году правительством было принято решение о восстановлении мелиховской усадьбы.

Из воспоминаний Юрия Константиновича:

«/.../ Перед войной я писал портрет Чехова для только что организованного в Мелихове филиала Серпуховского музея. Тогда мне всерьез предложили поехать в новый музей директором. Но я испугался деревни, отрыва от художественной жизни, одиночества.»

Теперь бы такое предложение было желанным. В самом деле, музейный работник должен понимать искусство, иметь развитый художественный вкус /.../».

В 1951 году он пешком пришёл в Мелихово и стал работать директором музея.

В 50–70-е годы прошлого столетия в СССР возрождались многие мемориальные музеи-заповедники: А. С. Пушкина в Михайловском, Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, И. С. Тургенева в Спаском-Лутовинове, М. Ю. Лермонтова в Тарханах, А. П. Чехова в Мелихове...

Одни обретали жизнь после легкомысленного забвения и опустошения, другие восстанавливались после разрушений в годы войны. Ни раньше, ни позднее столь массового возвращения к жизни музеев-заповедников отечественная история не знала.

Из воспоминаний Юрия Константиновича:

«/.../А люди шли и шли, спрашивали, почему от усадьбы великого писателя так мало осталось, спрашивали требовательно, как будто именно мы и виноваты в этом.»

Много лет спустя, когда все было восстановлено, когда /.../ посаженный нами молодой сад успел постареть, я пришел к мысли, что люди шли не за тем, чтобы посмотреть фотографии и книги или даже рукописи, /.../ а шли, чтобы поклониться земле гения, заглянуть в зеркала прудов, которые он видел, подышать тем же воздухом /.../».

Именно Антона Павловича Л. Н. Толстой когда-то назвал «несравненным художником жизни» и добавил:

«/.../ Достоинство его творчества в том, что оно понятно и близко не только каждому русскому, но и всякому человеку вообще /.../».

Век минувший подтвердил эти слова. Чехов – самый читаемый, самый переводимый русский классик в мире.

В Мелихово писатель провел семь плодотворных лет жизни (с 1892 по 1899), создав более 40 литературных произведений, среди них «Палата № 6», «Дом с мезонином», «Мужики», «Человек в футляре», «Черный монах», «Моя жизнь», «В овраге», «Ионыч», «Чайка», «Дядя Ваня»...

Но кто тогда, в трудные послевоенные годы, мог поверить, что Юрию Константиновичу и его жене – главному хранителю музея Любови Яковлевне Лазаренко, которая на многие годы стала глазами Авдеева, удастся не только возродить чеховское Мелихово, но и сделать его всемирно известным?

Нужно было провести огромную работу: изучить письма, дневники и записные книжки Чехова, собрать воспоминания современников, найти экспонаты для музея, создать экспозицию. Чеховские реликвии поступали в мелиховский музей отовсюду – от родных, друзей и знакомых.

Многие детали и подробности мелиховского быта сообщила сестра писателя Мария Павловна. Благодаря ей удалось собрать немало вещей, вывезенных из Мелихова: письменный стол, за которым работал здесь Антон Павлович, его кровать...

Полную обстановку столовой, от обеденного стола до посуды и салфеток, а также фотографии и документы передал музею племянник писателя Сергей Михайлович Чехов.



Мелихово. А.П. Чехов. Фотография 1897 года.



Мелихово. Рабочий кабинет А.П. Чехова

Мария Павловна и Сергей Михайлович обнаружили также в семейном архиве план имения.

Выдающаяся русская советская актриса, вдова А.П.Чехова Ольга Леонардовна Книппер-Чехова в письме, присланном к открытию в 1951 году памятника Антону Павловичу в Мелихове, писала:

«/.../ Мелихово, которое оставило большой неизгладимый след в жизни писателя, которое он так любил и был привязан всей своей большой поэтической душой. В его повестях, рассказах и письмах много раз возникает дорогое сердцу Мелихово, которое было предметом его самых сердечных забот и беспокойств, касался ли вопрос воспитания деревенских ребятшек или медицинской помощи, он сам сердечно и скромно помогал созданию первой школы в Мелихове и сам заботливо лечил всех приходящих к нему больных.

Как писатель он нашел в Мелихове богатый источник огромных жизненных наблюдений. Здесь в Мелихове он вновь хорошо узнавал русскую жизнь, русскую природу, русских людей, которых он бесконечно любил /.../».

В 1954 году, к пятидесятилетию со дня смерти А. П. Чехова, усадьба приняла опрятный вид. Восстанавливались флигель и сад. В служебном здании была открыта литературная экспозиция. Стали проходить экскурсии по территории заповедника и по местам, связанным с жизнью Чехова в Мелихове.

Мелиховский дом возводили вновь на старом фундаменте. И вот в январе 1960 года, когда отмечалось 100-летие со дня рождения А. П. Чехова, в нём наконец-то зажгли огоньки. Восстановительные работы в усадьбе полностью закончились.

Именно о таких самоотверженных людях, как Авдеев, Антон Павлович Чехов писал: *«В наше большое время... подвижники нужны, как солнце... Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что... есть ещё... люди подвига, веры и ясной сознанный цели... Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав».*

Талант Авдеева, как свидетельствуют очевидцы, ярко проявился в том, что он стремился «незамузеевать музей», одухотворял предметную экспозицию, оживлял в ней дух чеховского времени.

В 1961 году Мелиховский музей был реорганизован в Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова.

Узнавал по голосам...

Юрий Константинович не мог самостоятельно читать. Но как дар судьбы у него – феноменальная память. Помнил наизусть все рассказы Чехова, 12 томов его писем, всю бухгалтерию музея, телефоны.

Авдеев – автор первого путеводителя по музею-заповеднику «В чеховском Мелихове». Возможно, именно тогда, во время работы над путеводителем, впервые проявились его незаурядные литературные способности. Член Союза писателей СССР, он написал 12 книг о Мелихове и других чеховских местах Подмосковья, воспоминания и о Великой Отечественной, и о возрождении музея-усадьбы.

В воспоминаниях он признаётся, чего ему стоил писательский труд:

« /.../ Процесс письма вслепую мучителен до головной боли /.../».

Но на конференциях Юрий Константинович, который ходил в больших толстых очках, всегда очень уверенно держался, замечательно говорил.

И мало кто подозревал, что этот удивительно скромный человек практически ничего не видел. Он старался, чтобы не замечали его слепоты.

Лишь немногие ведали: Юрий Константинович узнает их только по голосам...

Музей-театр

1982 год в истории Мелиховского музея отмечен рождением новой традиции. В естественных декорациях чеховской усадьбы актёры Липецкого театра драмы поставили спектакль по пьесе А. П. Чехова «Чайка». Получила реальное воплощение совершенно новая идея Авдеева – соединение музея с театром.

С тех пор театральные фестивали в Мелихове проводятся ежегодно, обрёл популярность в стране и за рубежом.



Мелихово. А.П. Чехов и Д.М. Мусина-Пушкина. Фотография 1897 года

Известный театровед, друг Авдеева и мелиховского музея Татьяна Константиновна Шах-Азизова, вспоминала о Ю.К. Авдееве:

«Тихий, неторопливый человек, с палочкой, негромко говорящий на изумительно вкусном русском языке, который уже и не сохранился (разве что у эмигрантов). Он принимал всех, кто приезжал в Мелихово, как родных. И обаяние Мелихова было в этой дивной патриархальности, которая теперь уходит из нашей жизни и из Мелихова тоже».

«Обрывки этой тёплой жизни становятся дорогим воспоминанием, – рассказывала Татьяна Константиновна. – Приехал из Москвы автобус, переполненный мхатовцами. Помню Олега Ефремова в авдеевской избушке, который говорил, что он никуда отсюда не поедет, ни на какую конференцию, он хочет жить тут. Они удивительно сдружились с Ю. К. Авдеевым».

«Знаменитая страница жизни Мелихова связана с Липецким театром, – вспоминала Шах-Азизова. – Приехали провинциальные актёры, немножко с апломбом. В ту пору, может быть, даже не слишком культурные. И что-то Авдеев с ними сделал. Зрительно помню этот тёмный вечер, непогоду. Все набились в избу. Авдеев тихо о чём-то говорил с актёрами. Потом Владимир Пахомов плакал. Что называется, «человека перевернуло»: что-то с ним случилось. С той встречи началась огромная полоса в русской культуре, когда провинциальный Липецк стал чеховской столицей России. И с тех пор каждый год, без перерыва, они приезжали в Мелихово к Авдееву, а потом в память о нём».

Т.К. Шах-Азизова считает, что нуждается в анализе тема «Авдеев и Чехов», потому что «Авдеев много сделал для Чехова»:

«Их встреча – не случайна. Авдеев принадлежал к типу людей, любимых Чеховым, – к подвижникам».

Символ Родины

Характерная особенность творчества Авдеева-художника: писал ли он про войну или совершенно мирные сюжеты, он старался повсюду изобразить цветущий иван-чай.

Это видим и на этюде с иван-чаем и солдатскими касками, и на большом полотне «Иван-чай», над которым Юрий Константинович работал долгие годы. Отгремела война. Художник знал, сколько в лесах и болотах под Старой Руссой и Ленинградом осталось не похороненных однополчан. По словам его близких, часто говорил об этом.

Об этом и картина «Иван-чай». На поляне – сгоревший танк, поколеченные деревья, рядом с землянкой лежит забытый всеми солдат. Место его гибели заросло полыхающими цветами иван-чая. Всё тленно, но природа вечна.

Авдеев вспоминал, что иван-чай сопровождал их всю войну. Его сиренево-розовые цветы первыми появлялись на развалинах и пожарищах. Скромное это соцветие у Юрия Авдеева стало символом упорства и целеустремленности, скорбной фронтовой памяти и страстной жажды жизни, символом её возрождения.

Да, у каждого из нас – свой образ Отечества.

И для меня, как и для фронтовика Авдеева, иван-чай, простой цветок, который в нашей стране так широко распространён, символизирует Россию, её жизнестойкость, красоту.

Ощущением «с чего начинается Родина» (моё послевоенное поколение любило эту песню!) ненавязчиво одарила меня сама природа. Оно возникло ещё в детстве и, к счастью, осталось с годами неизменным.

Сколько раз горела Россия – и в огне отечественных войн, и в огне междоусобных распрей!

Но Бог милостив: никакие враги никогда не смогут сжечь Россию дотла. Она – бессмертна! В это я твердо верю.

Россия спасается и возрождается из века в век. И из века в век одним из первых на горячих, руинах вырастает иван-чай, заживляя раны Русской Земли.

Иван-чай – живой и вечный символ. Он олицетворяет многовековую историю Отечества.

В огне пожаров одного из самых трагических для Отчизны лихолетий – Великой Отечественной войны нередко гибли и леса. Казалось, что никогда не вырастет тут, на этой чёрной, страшной земле, ни кустика, ни травинки...

Но там, где ещё недавно всё было выжжено, почти сразу вырос иван-чай. Широко разливался вокруг, обживая вчерашнее пепелище, нежный малиновый цвет. Как свидетельствуют очевидцы, не успел оглянуться, а иван-чай и вырос...

Спасибо ветру! Семена цветка-новосела на пушистых парашютиках приземлялись то на одном, то на другом пепелище.

Однако недолго лилово-розовые цветы иван-чая были в одиночестве на выжженной земле. Под их защитой поднялись, затем зашумели листьями на ветру березы, осины, сосны. Иван-чай проложил дорогу новому лесу.

Не случайно Константин Георгиевич Паустовский, произведениями которого зачитывается не одно поколение читателей во многих странах мира, назвал иван-чай самоотверженным цветком, цветком-защитником.

Не только на селе, но нередко и в городе иван-чай подступает к самым окнам наших домов.

Что же он хочет пожелать нам, живущим в России, обустроившейся на пепелище 90-х годов прошлого, XX века?

Наверное, видеть в окружающем нас мире побольше доброго, светлого и не опускать руки перед трудностями.

Жертвуя собой, иван-чай служит нам, как и нашим предкам, прекрасным целебным напитком. Он вновь и вновь напоминает:

«Люди, берегите Россию, родную природу, и они защитят не только вас, но и ваших потомков!»

Сегодня разрушаются отечественная культура, образование, наука, медицина, социальная сфера, сельское хозяйство. То и дело горят леса. Нашей стране грозит демографическая катастрофа.

Враги России потирают руки.

А что мы? Кто-то в бессилии их опускает, кто-то протестует... А кто-то тихо жертвует собой, как иван-чай, чтобы людям стало немного теплее. Тем, кто пытается возродить Россию.

Это – делатели. Как и всегда, их немного. Но ведь и каждый из нас, кем бы он ни был, может приносить в нашу жизнь что-то доброе для города, села, где он родился или живет, а значит, и для всей России.

Живи вечно, иван-чай! Живи вечно, Россия!

Художник, открывающий нам мир

Несколько лет назад мне довелось познакомиться и побывать в доме дочери Ю.К. Авдеева – литературоведа Ольги Юрьевны Авдеевой-Усковой, которая живет в подмосковном городе Чехове. Она показала мне фотографии, воспоминания, книги, документы отца, его фронтовые письма, этюды и наброски, картины, посвященные Великой Отечественной.

В семейном архиве сохранилось несколько военных этюдов и два десятка рисунков.

Из воспоминаний Юрия Константиновича:

«/.../ Думал ли я тогда, что фронтовые этюды будут подсобным материалом для дальнейшей творческой работы?!»

Но судьба распорядилась иначе – они стали самостоятельными, как документы эпохи /.../».

Самые лучшие из военных этюдов Авдеева были взяты на выставку художников Северо-Западного фронта и не вернулись. Целый ящик из-под снарядов, набитый этюдами и рисунками, погиб под обстрелом.

В домашнем собрании и в музеях сохранилось лишь полсотни этюдов, которые в 1943 году вывез в Москву его друг-кинооператор Семен Кириллович Галадж. После войны их много раз показывали на выставках.

Сейчас большая часть фронтовых работ Авдеева находится в Государственном историческом музее, много этюдов – в Новгородском историческом музее. Тусклые, потемневшие от времени, они приближают к нам суровые военные годы.

– Искусствоведы говорили мне, – рассказала Ольга Юрьевна, – о том, что в довоенном автопортрете Авдеева, в глазах художника – предчувствие трагедии. Это верно. Он будто предвидел, что придётся пережить нечто более страшное, чем даже смерть.

О цене нашей Победы Авдеев размышляет и в послевоенных работах – например, в картине-фантазии «Георгий Победоносец», столь не характерной для атеистических советских лет. В удивительно ярких, чистых красках ликует полнозвучие цвета, поёт любовь и... чувствуется горечь потерь.

По словам Ольги Юрьевны, музей-заповедник, по которому Авдеев так любил водить экскурсии, забирал у него много душевных сил и времени.

Но при всей занятости Юрий Константинович в первую очередь всегда оставался художником. Несмотря на недуг, с каждым годом он писал всё больше – оставил почти триста картин.

Особенно часто рождались пейзажи Мелихова, где Авдеев знал каждый уголок. Но этими границами его творчество не замыкалось – жизненные впечатления фильтровались и являлись на холстах сложившимися образами. Одна из причин: тяжёлая контузия, необычайно обострившая внутреннее зрение, направившая волю художника на выражение этической и эстетической сущности, а не на внешнее обличие созерцаемого. Другая причина – приятие Авдеевым существа художественного метода Чехова.

– В среде искусствоведов нет единого мнения о творческой манере отца, – говорит Ольга Юрьевна. – На мой взгляд, правильно поняла суть эволюции, произошедшей в его живописи Е.В. Орлова: от академической манеры к своей, найденной в мучительных поисках. Чем старше он становился, тем смелее писал, опираясь только на свет и цвет.

Авдеев-художник – замечательный художник-философ, безгранично влюбленный в Чехова и природу родного Подмосковья, – явление ещё в полной мере не оценённое: ведь при жизни у него не было ни одной персональной выставки в столице. Да и вообще о том, что Юрий Константинович – профессиональный художник, знали лишь самые близкие люди. Он мало кому показывал свои работы.

Видение духовного смысла, а не цветовая красивость – вот задача художника. Философский подход, экспрессивность языка делают неповторимыми, самобытными многие работы Юрия Константиновича, как в выражении, казалось бы, импрессионистических мотивов («Дождь», «Цветет сирень», «Весна», «Хоровод»), так и в трактовке православных образов и сюжетов.

Поэтому-то он часто пишет храмы как символ духовности. Строгостью цветовой гаммы и композиции отличаются авдеевские картины «Мелиховская церковь» (1967), «Храм Рождества Христова» (1970).

Наиболее полно, глубоко эти мотивы ощущаются в «Прощании». На этом полотне, законченном в 1986-м, за год до кончины Юрия Константиновича, на фоне тревожного заката изображён мелиховский храм, который отражается в тёмных водах озера.

Какие мысли рождались у художника, когда он давал картине такое название? Печальные они были или светлые? Это осталось тайной.

...Ряд его послевоенных картин приобретён Гуманитарным центром «Преодоление» имени Николая Островского (Тверская улица, д. 16). Этот необычный музей,

выживший в самом центре Москвы, дважды – в 2004 и 2008 годах – устраивал выставки мелиховских пейзажей и фронтовых рисунков Юрия Авдеева.

В 2005 году музей издал альбом «Опалённые войной» (в серии «Богатыри духа»), одним из героев которого стал Ю.К.Авдеев. Когда была учреждена медаль Николая Островского, Ю. К. Авдеева (посмертно) наградили ею одним из первых.

«...с нового года я начну аккуратно отвечать на письма»

В 1987-м, после кончины Юрия Константиновича, фонды Мелиховского музея-заповедника насчитывали 17 тысяч единиц хранения.

Авдееву удалось не только восстановить чеховский дом, флигель-кухню, сад, но и отреставрировать церковь и две школы, построенные Чеховым, организовать четыре филиала музея.

В здании школы, построенной Чеховым в Мелихове, при Авдееве разместились экспозиция «Земская школа конца XIX столетия». На стене классной комнаты можно было видеть выданный ученику Ивану Стопкину похвальный лист, на котором стоит подпись попечителя школы А. П. Чехова.

Готовясь к 150-летию А.П.Чехова, реставраторы раскрыли обшивку, более 100 лет защищавшую школьное здание в Мелихове. Как, увы, у нас водится, они ... бросили, не довели дело до конца. Сейчас там полная катастрофа: подлинная чеховская школа разваливается.

В здании другой бывшей школы одной из окрестных деревень – Новоселки при Авдееве создан ещё один филиал музея-заповедника, где экспонируются картины Николая Павловича Чехова, брата писателя. Этому филиалу повезло больше. К юбилею Антона Павловича его отремонтировали, правда, только поверхностно, но открыли здесь новую, неплохую литературную экспозицию.

В деревне Крюково, куда А. П. Чехов часто выезжал к больным, при Авдееве появился филиал музея – «Медицинский пункт доктора Чехова». Сейчас этот филиал вообще закрыт. Экспозицию из Крюкова перенесли в Мелихове, где открыли якобы чеховскую амбулаторию, которой прежде не было. Теперь посетители думают, что у Антона Павловича было отдельное здание для приёма больных.

Обозреватель одного из телеканалов в дни юбилея тоже выражал прямо в эфир своё недоумение: мол, как это Павлу Егоровичу, отцу Чехова, могли мешать больные, если амбулатория находится так далеко от дома.

На самом деле Чехов принимал больных в своем кабинете в усадебном доме, а потом и во флигеле. Больные ждали приёма в усадьбе с пяти утра и, конечно, мешали...

В 2001 году в подмосковном Чехове – бывшей Лопасне – в рамках Дня города состоялось открытие памятной доски, посвященной Юрию Константиновичу Авдееву. Скромную, но благородную доску из белого мрамора повесили на стене здания «Музея почты» – филиале Мелиховского музея-заповедника.

Этот музей находится в здании где, 2 января 1896 года, по инициативе А.П. Чехова было открыто Лопасненское почтовое отделение.

«/.../ С нового года у нас открывается почтовое отделение (Лопасня, Моск. Губернии) с ежедневной выдачей корреспонденции; стало быть с нового года я начну аккуратно отвечать на письма», – писал А. П. Чехов редактору журнала «Нива» А. А. Тихонову 28 декабря 1895 года.

В мелиховские годы (1892–1899) у Чехова было около 400 корреспондентов. Им было написано более 2 тысяч писем (известных и опубликованных), в основном доставленных через Лопасненскую почту.

– Этот деревянный дом, которому перевалило за сто лет, – рассказывает Ольга Юрьевна, – стал последним музейным детищем отца. Смертельно больной, Юрий Константинович сумел сохранить для отечественной культуры этот памятник городского быта и реалию чеховской биографии – добился отселения жильцов, провел реставрационные работы, создал мемориальную экспозицию.

Отечество Небесное

Авдеев возглавлял музей до последнего дня своей жизни. Он похоронен с супругой Любовью Яковлевной у левого придела храма Рождества Христова в Мелихово.

...Храм был построен из ели в 1757 году и 16 марта 1759 года освящён в честь Рождества Христова.

К концу XIX века храм пришёл в ветхость. В 1892 году в Мелихово поселяется Антон Павлович Чехов с семьёй. Писатель принял деятельное участие в обновлении храма. В 1896 году, по просьбе крестьян, Чехов его расширил: были обновлены два придела, построена колокольня с «зеркальным крестом, видимым за восемь вёрст».

Антон Павлович здесь пел на клиросе вместе с отцом и родственниками, жертвовал значительные средства, часто упоминал храм в переписке с друзьями.

В 1930-е годы храм и чеховские постройки в усадьбе были разрушены, брёвна растащены... От храма сохранилась лишь старая часть.

Новейшая история храма началась в 60-е годы XX века, когда усердием Авдеева, внучатого племянника А.П. Чехова художника Сергея Сергеевича Чехова храм был отреставрирован.

В 1994 году шла очередная реставрация. Но под праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы храм сгорел.

В 1999 году на старом фундаменте по старым обмерам он был вновь построен. Основным материалом, как и для прежнего храма, была взята ель.

26 августа 2007 года Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской епархии, совершил великое освящение возрожденного Христорождественского храма в селе Мелихово. Архипастырь передал в дар храму образ Божией Матери «Неопалимая Купина».

Затем митрополит Ювеналий направился на приходское кладбище, где возложил цветы к надгробиям С.С.Чехова и других родственников писателя и Ю.К. Авдеева. Владыка пропел им «Вечную память».

27 января 2010 года в Мелихово прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию юбилейного года, на котором присутствовали губернатор Московской области Б.В.Громов, члены организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения А.П. Чехова, Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, руководители чеховских музеев, исследователи творчества писателя.

Гости возложили цветы к памятнику А.П.Чехова, на могилы потомков писателя, Ю.К.Авдеева, присутствовали на литие в храме Рождества Христова.

Перед богослужением Владыка обратился с кратким словом к собравшимся:

«Церковь по-своему отмечает даты людей: в первую очередь – молитвой. Это святое место неразрывно связано с жизнью Антона Павловича Чехова, его благочестивым отцом. Здесь, на клиросе, вместе с отцом Антон Павлович Чехов молился, здесь рядом похоронены близкие Антона Павловича и те, которые создавали этот музей. Поэтому сегодня для нас радостный, светлый день со-работничества Церкви и культуры. И благодарим Господа, что он дает нам радость совместной молитвы». Митрополит Ювеналий свою речь закончил словами Чехова: «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать её места шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своей совестью». И ещё: «Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек».

И когда пели «Вечную память», Отечество земное и Небесное незримо становились ближе друг к другу. Голоса Чеховых словно присоединялись к поющим.

Летописец великой эпохи

Каждый век рождает своих биографов, сказителей, летописцев, скромно обрабатывающих свою «ниву», не гонящихся за славой.

Такие самоотверженные, безкорыстные энтузиасты всегда были, есть и будут и в нашем земном Отечестве.

Вот и Юрий Константинович Авдеев, подобно легендарному слепому греческому поэту Гомеру, автору дошедших до нас эпических поэм «Илиада и Одиссея» об одной из великих войн древности – Троянской, до сих пор остаётся в сознании посетителей мелиховского музея, зрителей, читателей пламенным борцом за сохранение исторической памяти и культуры, певцом русской природы. Одним из рядовых участников эпохального подвига нашего народа, суровых боевых будней, прошедших через души людей. Свидетелем, ставшим в своих воспоминаниях и картинах летописцем великой военной эпопеи XX века.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный гражданин города Чехова – так оценён вклад Юрия Авдеева. Да и без этих высоких званий ясно: его заслуги перед нашей культурой огромны.

Как же похож Юрий Авдеев и на парижского мусорщика Жанна Шамета из «Золотой розы» Константина Паустовского, где есть, между прочим, глава о Чехове.

Оба они, Шамет и Авдеев (в прошлом волею судьбы – солдаты), нашли в повседневной реальности красоту и гармонию, которую не видели другие.

Шамет собирал годами золотую пыль. Он надеялся, что роза, выкованная из собранного с таким трудом слитка, принесёт счастье его воспитаннице Сюзанне.

Авдеев же разыскивал повсюду расплывённое революцией и войнами чеховское наследие.

Юрий Константинович воспринимал Чехова как близкого ему человека, современника. Он сверял по нему каждый шаг.

Поэт-фронтвик М.И. Камшилин посвятил Ю.К. Авдееву такое стихотворение:

*Я написал о Чехове поэму,
О благородном чеховском пути.
Мне эту нестареющую тему
Пришлось в трудах Авдеева найти.
Я рад, что довелось соприкоснуться
С ним, чудом не убитым на войне.
Ведь он когда-то побудил проснуться
Стихи, давно дремавшие во мне.*

Чеховский музей, живопись и литература – три призвания, в которых проявился талант Юрия Константиновича. О них, как о любимых детях, сказал он в заключительной фразе последней редакции книги «В чеховском Мелихово»:

«/.../Прошли годы. Я сижу за столом у большого окна. За окном беспрерывно вереницы людей движутся в музей. На столе рукопись последней книги. Может быть, я её увижу. На стенах мастерской – картины. Это мои любимые дети. Пока они при мне, но как-то они заживут самостоятельно. Это меня тревожит, но никому не дано предвидеть будущее. Я верю, что они должны жить/.../».

Дай-то Бог, чтобы Мелихово пощадили надвигающиеся сегодня со всех сторон безвкусные, помпезные особняки. Под угрозой уже охранные зоны, которые при Юрии Авдееве были расширены и законодательно закреплены за музеем-заповедником.

Пусть очарование этих мест, «мелиховский колорит», сохранится не только в музее-усадьбе и окрест, на картинах, в воспоминаниях, книгах Русского Гомера, но и в жизни, в наших душах, останется потомкам.





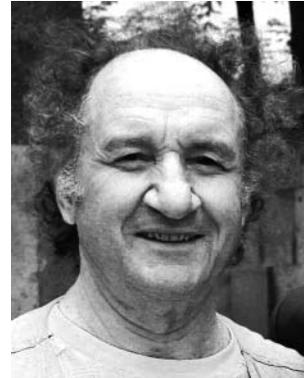
ПОЭЗИЯ

Крикор МАЗЛУМЯН

КРИКОР МАЗЛУМЯН



Крикор Саакович Мазлумян (1940–2011) – родился 5 марта 1940 года на хуторе Островская Щель Туапсинского района в семье амшенских армян. В 1960–1965 годах учился на историко-филологическом факультете Армавирского педагогического института. По инициативе Крикора Мазлумяна в 1992 году был создан Лазаревский районный Центр национальных культур, удостоенный в 1993 году международной премии «За содействие миру на Кавказе» Ассоциации городов Юга России. Заслуженный деятель культуры Российской Федерации. Почётный гражданин Лазаревского района г. Сочи. Крикор Мазлумян – один из героев выходящей в свет Энциклопедии «Лучшие люди России». В 2007 году Крикор Мазлумян был принят в Союз писателей России и Союз писателей Армении.



Говорите на русском - он понятен и прост...

Когда твой купол звёздами расцветен,
Иль светлую навевает утро грусть,
Я о тебе, о страждущей, молюсь...
И пусть во всех церквах зажгутся свечи
Во здравие твоё, Святая Русь.

Куда бы ни вели твои дороги,
Пусть тернии на них или цветы,
Но всё равно, они приводят к Богу,
И потому необорима ты.

Глаза твои - что чистые колодцы,
Их глубине в любви моей клянусь
Пусть голос мой одной строкой вольётся
В могучий гимн тебе, Святая Русь.

Говорите на русском –
Он понятен и прост...
Ещё встанет Россия
В свой немислимый рост.

От Чукотки до Луцка
Наш проходит редут...
Говорите по-русски,
Вас, как братьев, поймут.

В дни печали и грусти
Или в радости миг
Говорите по-русски –
Богом дан нам язык.

И не верьте, что поздно
Камни де собирать...
Мы единая грозная
Мы – российская рать

С нами русское слово
(Осетин иль калмык),
Нас связует любовью
Наш могучий язык.

Вот опять над опушкой
Свет разлился окрест.
Это солнце и Пушкин –
Наш язык и наш крест.

Только так во Вселенной,
В чистом пламени звёзд,
На великом, на русском,
Нас услышит Христос!

Не встало солнце в небе сером
И не видать конца беды.
Но молится святитель Сергей
Без сна, без пищи, без воды.

Так тихо с губ слетает слово
Но в небесах и на земли
Слова до поля Куликова
До слуха Дмитрия Донского,
До сердца ратников дошли.

И час настал. Рождённый словом
Победный завершился бой.
И стало поле Куликово
Великой русскою судьбой.

У храма Христа Спасителя

Стою. Как - будто у Подножья...
Пронизывает свет Горы.
И невозможное возможно,
И солнце встало до поры.

Пройдут года. И вечной битвы
Сердца людей покинет груз...
И возвращением к молитве
Восстанет праведная Русь.

Журавлиный клин

Нет ничего тревожней и красивей
Тебя, мой журавлиный клин,
Ты каждый раз, взлетая над Россией,
Раскальваешь неба синь.

И так же пролетаешь над чужбиной,
Где синь озёр и леса полоса,
Но только сердце русское за клином
В печали светлой рвётся в небеса.

